

Юр. СОБОЛЕВ

ЧЕХОВ

ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

1934

СЕРИЯ БИОГРАФИЙ

ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

ПОД РЕДАКЦИЕЙ:
М. ГОРЬКОГО
Л. КАМЕНЕВА
М. КОЛЬЦОВА
А. ТИХОНОВА

МОСКВА 1934

ВЫПУСК XV-XVI

Юр. СОБОЛЕВ

ЧЕХОВ

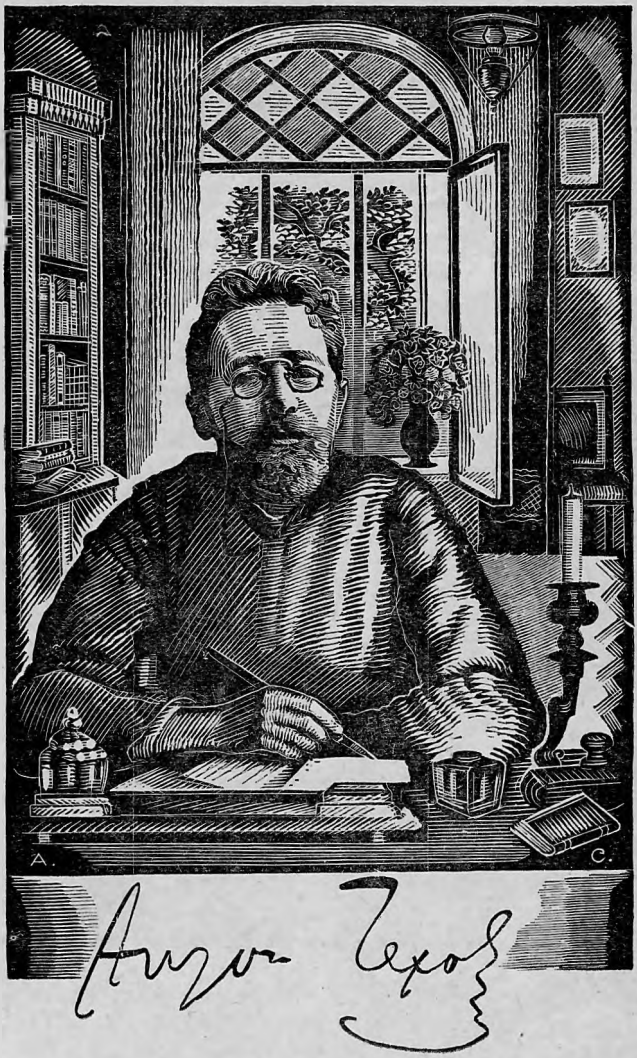
ЖУРНАЛЬНО-ГАЗЕТНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ

Обложка Н. В. ИЛЬИНА

Техредактор А. М. Иглицкий. Корректор Р. Я. Антокольский
Издатель Журнально-газетное объединение. Изд. № 247.
Уполномоч. Главлита В—96070 Тираж 50000. Заказ т. 817.
Сдано в набор 8/VIII-1934 г. Подписано к печати 26/IX-1934 г.
Статформ. $Б_8$—125×176 мм. $5^3/_4$ бум. лист. Число зн. в 1 печ. л. 55.488.
Типотр. и цинкогр. „Жургазобъединения" Москва, 1-й пер., Самотечный, 17.

„...Напишите-ка рассказ о том, как молодой человек, сын крепостного, бывший лавочник, певчий, гимназист и студент, воспитанный на чинопочитании, целовании поповских рук, поклонении чужим мыслям, благодаривший за каждый кусок хлеба, много раз сеченный, ходивший по урокам без галош, дравшийся, мучивший животных, любивший обедать у богатых родственников, лицемеривший и богу и людям без всякой надобности,—только из сознания своего ничтожества, напишите как этот молодой человек выдавливает из себя по каплям раба и как он, проснувшись в одно прекрасное утро, чувствует, что в его жилах течет уже не рабская кровь, а настоящая, человеческая".

Из письма А. П. Чехова
А. С. Суворину 7 января 1889 г.
Письма Чехова, том II


А.
С.
Антон Чехов

В ТАГАНРОГЕ

Род Чеховых

Род Чеховых ведет свое начало из воронежских недр, из Острогожского уезда. Семейная хронология Чеховых застает Егора Михайловича, по прозванию «Чеха» — деда писателя — в селе Ольховатке, женатым, имеющим трех сыновей и дочь. Все семейство — крепостные помещика Черткова. Но еще задолго до об'явления «воли» Егор Михайлович выкупился. Он заплатил за себя и за сыновей — Михаила, Павла и Митрофана — 3500 рублей. Денег на выкуп дочери Александры нехватило. Помещик в ответ на просьбу Егора Михайловича не продавать дочь на сторону, а обождать, пока он наберет денег и на нее, подумал, махнул рукой и сказал: «Так уж и быть, бери ее в придачу».

Егор Михайлович был человек незаурядных способностей — самый выход его на волю свидетельствует

об этом. Много труда нужно было положить простому крестьянину, чтобы скопить такую крупную сумму, как 3500 рублей. И очевидно, что Егор Михайлович не крестьянствовал, а занимался чем-то иным. Чем, — об этом в семейных преданиях ничего не известно. По некоторым же данным можно предположить, что был он прасол. Выйдя на волю, Егор Михайлович тотчас же поступил на службу к графу Платову — в слободы Крепкую и Княжую Донской области. Здесь он занял вскоре место управляющего.

Старшего своего сына — Михаила, отдал он в Калугу — учиться переплетному мастерству. Митрофан поступил к купцу Байдалакову в Ростове-на-Дону, а Павел стал приказчиком таганрогского купца Кобылина. Их сестра Александра осталась навсегда в Ольховатке, где и была выдана замуж.

Пройдя суровую приказчичью учебу, Павел Егорович Чехов открыл в Таганроге собственную лавку и женился на Евгении Яковлевне Морозовой. Ее отец, Яков Герасимович Морозов, вел крупную торговлю сукнами и жил в Моршанске Тамбовской губернии. По торговым делам он много ездил по России и бывал в Таганроге — тогдашнем торговом центре Азовско-Донского края.

Яков Морозов в одну из таких поездок заболел холерой и умер в Новочеркасске. Его жена, Александра Ивановна, забрав с собой детей — Феничку, Евочку и Ваню — отправилась с ними на тарантасе в длинный путь — через всю Россию — отыскивать могилу мужа, его товары и деньги. Ни могилы, ни товаров, ни денег в Новочеркасске она не нашла и поехала дальше — в Таганрог, через Ростов-на-Дону, где она пристроила сына Ивана на службу — по

торговой части к купцу Байдалакову. Здесь Иван Морозов встретился с Митрофаном Чеховым и очень с ним подружился. Александра же Ивановна добралась до Таганрога и поселилась в том же доме, в котором когда-то гостил во время своих наездов в Таганрог и ее муж — Яков Герасимович.

Шли годы. Евочка и Феничка подрастали. В Таганрог переселился Митрофан Чехов, а вслед за ним и Иван Морозов. Они познакомили Павла Чехова с семейством Морозовых и он женился на Евочке — Евгении Яковлевне Морозовой — 26 октября 1854 года.

Шла Севастопольская война и первенец Чеховых — Александр [1] родился буквально под гром пушек. Англичане бомбардировали в 1855 году Таганрог, и многие таганрогские жители бежали из города. Бежала и беременная Евгения Яковлевна. Она доехала до слободы Крепкой в 60 верстах от Таганрога и остановилась у местного священника, где и разрешилась от бремени — 10 августа 1855 года.

В мае 1857 года родился второй сын Николай [2], в январе 1860 года появился на свет божий Антон, через год — Иван [3], за ним — единственная дочь Мария [4] и самый младший Михаил [5].

Детские годы Антоши

В выписи из метрической книги города Таганрога Соборной Успенской церкви значится, что «Тысяча восемьсот шестидесятого года, месяца генваря, 17 дня рожден, а 27-го крещен Антоний. Родители его, таганрогской третьей гильдии купец Павел Георгиевич Чехов и законная жена его Евгения Яковлевна, оба православного исповедания. Восприемники

были: таганрогский купеческий брат Спиридон Федорович Титов и таганрогского третьей гильдии купца Дмитрия Кирикова Сафьянопуло жена. Таинство крещения совершал священник собора Михаил Орловский с дьяконом Моисеем Егоровым. Что утверждается...» и т. д.

Антоний — Антон.

Антон Чехов — внук и сын крепостных. Но уже дед занимался торговым делом. Купцом стал отец. Мать — дочь продавца сукон. Дядя — Митрофан — тоже купец. И другой дядя — калужский Чохов (калужские — в отличие от таганрогских Чеховых — назывались Чоховыми) занимается коммерцией. Даже у купели — таганрогский купеческий брат Титов и жена купца Сафьянопуло.

И все же было бы неверно определить социальное происхождение Чехова как купеческое. Таганрогские купцы Чеховы в сущности маленькие люди в коммерческом мире богатого Таганрога. Таганрог в годы детства и юности Антона Чехова был шумным и оживленным городом. Для соседних Мариуполя, Ейска, Бердянска, Феодосии, Керчи он стал коммерческим, умственным и эстетическим центром. Таганрог считал себя, по своему значению для края, едва ли не равным с Одессой. Таганрог жил торговлей. Через его порт проходили сотни тысяч четвертей зерна. Город пестрел хлебными экспортными конторами, в которых орудовали богатые греки-миллионеры — Вальяно, Канделаки, Алфераки... В гавани теснились русские и иностранные грузовые пароходы и парусные суда; рейд представлял собой густой лес мачт; на набережной тянулись в несколько рядов хлебные дороги; пакгаузы были загружены за-

граничным вином и всевозможными фруктами. Таможня работала днем и ночью.

На городе лежал иностранный отпечаток. В нем русских столько же, сколько греков, турок и даже англичан и итальянцев. И это сказалось в названиях улиц: Католическая, Иерусалимская. Театр был отдан под итальянскую оперу. Лучшие здания принадлежали грекам. В их руках была едва ли не вся экспортная торговля.

И наряду с пышным богатством Вальяно, Алфераки и иных, предки которых были славные корсары, как например, Варваци, российской службы действительный статский советник, побывавший в плену у турок, о чем свидетельствовало изуродованное его ухо, — наряду с их великолепными торговыми конторами и европейскими магазинами какой жалкой должна была казаться колониальная торговлишка таких «купцов», какими были те же Чеховы!

Сказать, что у Павла Егоровича Чехова «магазин» — значило бы приписать его бакалее черты, которых вовсе у нее не было. Павел Егорович Чехов жил в доме Моисеева на углу Монастырской улицы и Ярмарочного переулка — почти на краю города, в двухэтажном доме. Внизу «магазин» и тут же кухня, столовая, еще две комнаты, наверху расположилось все семейство и жильцы. А вывеска обозначала:

Чай, сахар, кофе, мыло, колбаса
и другие колониальные товары.

Список этих «других» товаров был разнообразен: сальные и стеариновые свечи, сельди, корица, деревянное масло, гвоздика, веники, соль, жестянки для керосина, лавровый лист, конверты, макароны, ли-

моны, керосин, маслины, французские булки, вакса; перочинные ножи, нитки, пуговицы, ламповые стекла; крупа, пшено, касторка, духи, помада, александрийский лист, гребешки, подсолнечное масло, мятные пряники, галеты, перец, чернила, ножницы, шафран; камфора и столько еще разных разностей, что всего не перечислить. И каждого товара — на несколько рублей. Дневной оборот ничтожный, грошевый. А заняты торговлей и сам Павел Егорович, и «два мальчика» — Андрюшка и Гаврюшка, и старшие дети — Александр, Николай и Антон. Эти дежурят по очереди, в отсутствие отца заменяя «хозяйский глаз».

Павел Егорович Чехов коммерсант, но в душе он художник. Играет на скрипке, пишет красками. Главная же его страсть — церковное пение. Он регент соборного хора. Хор поет только нотное и так затягивает службы, что вызывает ропот возмущения среди прихожан. Кажется, это было поводом к его ссоре с причтом. Из собора пришлось уйти и набрать новый хор. Он составился из кузнецов. Трудно досталось беднягам. Нелегко им было научиться читать ноты. И всеж-таки добился Павел Егорович того, что его хор стали приглашать то в одну, то в другую церковь. Он был тщеславен, как истинный артист, и добивался получать приглашения от богатых греков на их церковные торжества. Здесь «угощал» он хозяев искусством своих певцов.

Партии дискантов исполняли маленькие его сыновья. С этого началось их религиозное воспитание. Когда Антон и два младших его брата — Иван и Михаил — пели среди церкви трио «Да исправится...» или же «Архангельский глас», на них все смотрели с умилением, а маленькие певцы в то же время чувствовали себя маленькими каторжниками.

И вообще, особенность семьи Чехова составляло церковное пение и домашние богослужения. Всей семьей по субботам шли ко всенощной, а, возвратившись, пели и у себя дома каноны. Утром к ранней обедне, от обедни домой — и снова хором акафисты. Маленький Антон читал кафизмы в церкви, помогал в алтаре, звонил на колокольне.

Павел Егорович не прощал отступлений от заведенных правил, касающихся посещения церкви и домашнего богомолия. Он был начитан в библии и считал себя знатоком всех церковных обрядов. Деяния апостолов и жития святых были его неизменными книгами, множество цитат из которых знал он наизусть.

И в доме дяди Митрофана — те же порядки, тот же религиозный дух. Там попы, монахи и обязательное целование их рук.

Антоша-лавочник

А сколько мучений доставляла лавка! Впрочем, маленький Антоша проявлял некоторые способности к торговле: он великолепно щелкал на счетах и Павлу Егоровичу казалось, что сын «станет человеком» — пойдет по коммерческой части. И не потому ли вместо того, чтобы отдать Антона в гимназию, его поместили в греческую школу некоего Вуцины? Это посоветовали Павлу Егоровичу знакомые греки. Павел Егорович поверил им, что только греческая школа откроет сыновьям путь к богатству. И вот Николай и Антоша в обучении у грека.

В школе было пять классов и все они помещались в одной комнате. В ней было расставлено пять рядов парт и каждый ряд — целый класс. В первом про-



Семейная группа

Сидят (слева направо): Мих. П. Чехов, Мария Павл. Чехова, П. Е. Чехов (отец), Е. Я. Чехова (мать) и тетка Людмила Павловна с сыном Георгием Митрофановичем

Стоят (слева направо): Ив. П. Чехов, Антон Павлович Чехов, Н. П. Чехов, Ал. П. Чехов и Митрофан Егорович (дядя писателя). 1895 год

Из собр. Лит. музея при б-ке СССР им. Ленина

вроде, например, описания подвешивания на оконном ставне одного ученика и проведения другого «сквозь строй». Или еще: подозреваемый в дерзком поступке был поставлен на стул перед кафедрой. Каждый из учеников должен был обозвать его мерзавцем и плюнуть ему в лицо. В этом ритуале принимал участие и Антоша, который «долго потом помнил его, хотя и не любил вспоминать о нем, как о гнусном надругательстве над человеком».

Но если и не было подвешивания, проведения сквозь строй и плевания товарищу в лицо всем классом, то наличие телесных наказаний, как приема совершенно обычного и естественного, неоспоримо. Линейка и, вероятно, розги были постоянно в ходу у Вуцины, и не удивительно, что Антоша и Коля Чеховы так и не осилили греческой азбуки.

Затея кончилась плачевно. Весь учебный год Антоша и Коля приносили домой очень хорошие отметки и даже наградные листки — Коля с надписью: «Эвсквис», т.-е. благочестивый, а Антоша — «Эпимелис» — прилежный. Но когда Павлу Егоровичу однажды захотелось похвастаться познаниями сыновей то оказалось, что ни «благочестивый», ни «прилежный» не смогли прочесть по-гречески ни слова.

Пришлось взять их от Вуцины.

Воспитание

Телесное наказание было вообще обычным в той среде, в которой рос и воспитывался Чехов. Нравы были грубые. Контрасты между внешним великолепием и блестящей нарядностью города в кварталах, населенных греками и итальянцами, и обывательскими «развлечениями», были резкими. В театре блистали

итальянцы и публика, разделявшаяся на две партии— поклонников примадонн Зангери и Белати — распевала страстные арии. В городском саду играл чудесный оркестр, а по улицам бегали собаки с привязанными к хвостам жестянками, ополоумевшие от страха. За ними охотились, и дрягиля (извозчики) насмерть заколачивали их палками. Везли на позорных колесницах преступников для совершения публичных, так называемых, торговых казней, наказывали арестантов на плацу плетьми, а битье детей в обывательских домах было явлением таким заурядным, что на это никто решительно не обращал внимания.

Павел Егорович в своей лавке таскал за волосы или драл Андрюшку и Гаврюшку и эти расправы доводили до нервной дрожи впечатлительного Антошу, хотя оплеухи, подзатыльники и порка в качестве «исправительных мер» применялись и к нему самому и к братьям.

Это, однако, не говорит об исключительной жестокости Павла Егоровича. Человек старого закала, он прошел суровую школу, в которой телесное наказание было обычным. И из описания детских лет Антона Чехова нельзя выкинуть этих подробностей, рисующих нравы мещанской среды, в которой он рос. Он сам говорил, что его детство было страданием. Несомненно, автобиографическое есть и в воспоминаниях Алексея Лаптева в чеховской повести «Три года»: «Я помню, отец начал учить меня, или попросту говоря, бить, когда мне не было еще и пяти лет. Он сек меня розгами, драл за уши, бил по голове, и я, просыпаясь, каждое утро думал, прежде всего, будут ли сегодня драть меня? Играть и шалить мне и Федору запрещалось. Мы должны были ходить к утрене и ранней обедне, целовать попам и монахам руки, читать

дома акафист...». Здесь даже отдельные подробности совпадают с тем, что мы знаем о детстве Чехова: хождение к утрене и ранней обедне, целование попам и монахам рук, чтение акафистов.

Чеховы искренне желали своим детям добра. Евгения Яковлевна была человеком любящего сердца; вся ее жизнь заключалась в детях. Она защищала их от гнева отца и делала такие поблажки, за которые сурово ворчал Павел Егорович, считавший, что дети не могут сидеть сложа руки и бить баклуши, поэтому он неукоснительно посылал «господ дворян» в лавку, а на рассвете будил к заутрене.

В 1874 году Чеховы переехали в собственный дом — на глухую Елизаветинскую улицу. Дом был выстроен на клочке земли, подаренным дедом Егором Михайловичем. Дом был неуклюжий и тесный. Он дорого обошелся Павлу Егоровичу. Пришлось занимать денег под векселя. Семья ютилась в четырех комнатах. В подвальном этаже обитала тетушка, Федосья Яковлевна с сыном Алешей, флигель был сдан жильцам — вдове Савич.

В доме вставали рано. Все должны были трудиться. Александр устраивал электрические батареи, Николай рисовал, Иван переплетал. Вечером возвращался из лавки отец, начиналось разучивание церковных песнопений.

Детям старались дать образование и «приличное» воспитание, их сравнительно рано стали учить языкам. Коля и Саша уже свободно говорили по-французски. Появился и учитель музыки. Словом, жизнь семьи текла так, как подобало в тогдашней средней семье, стремившейся, по выражению биографа А. П. Чехова, его брата Михаила, стать лучше, чем она была на самом деле.

Не следует, однако, рисовать детство Чехова сплошь черной краской. Если и нельзя выбросить из рассказов о нем ни лавки, ни клироса, ни подзатыльников и прочих мер отеческого внушения, то это вовсе не значит, что маленький Антоша не резвился, не шалил, не испытывал всех радостей, которые наполняют жизнь каждого ребенка.

Антоша был очень подвижным, здоровым мальчиком, неистощимым на затеи. Он был азартен. Его товарищ рассказывает об увлечении ловлей щеглов, чижей и прочих пернатых.

На большом пустыре, за двором дома Чеховых, производилась довольно жестокая ловля птиц. Охотники скрывались за рогожной «принадою», поджидая момента, когда стая щеглов или чижей, привлеченных призывными криками птиц, заключенных в вывешенную перед «принадою» клетку, опустится с веселым чириканьем на пучки конопли и репейника, растыканные впереди этого сооружения. С затаенным дыханием, с сильно бьющимся сердцем старался ловец дрожащей рукой сквозь дыру, проделанную в рогоже, осторожно навести волосяную петлю, прикрепленную к длинной камышине, на голову птички. С торжеством тащили через отверстие полузадушенную птичку и, освободив ее от петли, сейчас же заключали в заранее приготовленную для нее клетку.

А как гордился Антоша, если ему удавалось поймать щегла, отмеченного какими-то точками на зобу, а на хвосте двенадцатью перышками! Такой экземпляр ценился дорого. Пойманных птичек или выменивали, или продавали товарищам. Занимался такой торговлей и Антоша — совсем как герой «Моей жиз-

ни» Полознев, продавший щегла за копейку — «все-таки маленькая польза».

Азартный птицелов, Антоша стал столь же страстным рыболовом, просиживая целыми днями в гавани с удочками. Вообще, море доставляло много радости. Купаться ходили каждый день большими компаниями. Однажды Антоша бросился с берега в воду и сильно рассек себе об острый камень лоб. Так и остался у него на всю жизнь шрам на левой стороне лба.

Была и еще забава — прогулки в Елизаветинский парк (или «Карантин»), расположенный в трех верстах от города на обрывистом берегу моря. Это называлось «охота за черепами». И действительно, бродя по склонам обрыва и роя землю, мальчики нередко наталкивались на кости человеческих скелетов или на черепа, что приводило их в неописуемый восторг.

Зимой, конечно, было скучнее, — ни птичьей, ни рыбной ловли, ни излюбленной лапты. И зимой особенно томительно было дежурить в лавке или петь на клиросе.

За город — погостить в деревне во время летних каникул—Антоша выезжал редко. Однажды его вместе с братом Николаем послали в Княжую — к дедушке Егору Михайловичу, управляющему имением графа Платова. Здесь была заброшенная барская усадьба с большим фруктовым садом при реке. Братья Чеховы попали как раз на молотьбу. Егор Михайлович, чтобы внуки «не били баклуши», сейчас же пристроил их к делу — посадил у молотилки и заставил записывать пуды и фунты вымолоченного зерна. Свистки, шипение и басовой волчкообразный звук, который издается паровиком в разгар работы, скрип колес, ленивая походка волов, облака пыли, черные потные лица, все это врезалось в память Антоши, как «отче наш».

Целыми днями томился Антоша у молотилки и вернулся из Княжой в Таганрог без всякого сожаления о деревенских «развлечениях». Такие развлечения были ему, к сожалению, слишком хорошо знакомы и в отцовской лавке.

И еще довелось ему побывать в Княжой. На этот раз поехали втроем: Николай, Александр, Антон. Не было конца шуткам и забавам. Странный был вид у юных путешественников. У одного выклеена из сахарной бумаги шляпа с необыкновенно широкими полями — это затея Александра, у другого еще более смешное сооружение на голове — старинный цилиндр — шапо-кляк, откуда-то добытый Николаем. И досталось же за этот цилиндр Коле от Антоши! Он не только дразнил его всю дорогу, но и попытался уничтожить «шапо-кляк», сбив его с головы брата под колесо подводы. Но и это не смутило Николая. Он снова водрузил цилиндр, хотя и торчали из него пружины.

Время в Княжой провели весело. Кузница, клуня, голуби, сад, — все интересовало горожан Чеховых. Докучного присмотра не было, можно было делать все, что угодно. В конце лета разыгрался и последний эпизод с цилиндром. Николай так привык к своему «шапо-кляк», что не расставался с ним и во время купанья. Однажды Антоша незаметно подплыл к Коле и сбросил искалеченный цилиндр в воду. Цилиндр хлебнул воды и утонул.

Памятна еще одна поездка Антоши в деревню: в 1875 году нахлебник Чеховых, чиновник коммерческого суда, Гавриил Парфентьич, познакомил Чеховых со своим братом Иваном — владельцем в Донецком бассейне большой усадьбы в несколько сот десятин. Иван Парфентьич пригласил Антошу. По-

ездка удалась. Каникулы пролетели незаметно. Наступила осень. Нужно было возвращаться домой. А на обратном пути Антоша выкупался в холодной реке и тяжко заболел. Его спутник Иван Парфентьич был в отчаянии: что делать с мальчиком, который лежал в жару и бредил? Заехали в первый попавшийся постоялый двор. Еврей-корчмарь и вся его семья трогательно начали ухаживать за Антошей. Как только стало ему немного легче — привезли в Таганрог. Долго проболел Антоша. И на всю жизнь запомнил он эти дни своей первой серьезной болезни. А хозяева корчмы описаны в «Степи» — в лице суетливого Моисея Моисеевича, его жены и брата Соломона, этого чудака, который, считая богатство грехом, спалил свои деньги.

Антошу выходил гимназический доктор Штремпф, воспитанник дерптского университета. Его рассказы о Дерпте очень интересовали Антошу и тогда же зародилась у него мысль поступить по окончании гимназии на медицинский факультет.

В Антоше был неистощимый запас юмора, вкус к которому проснулся в нем чрезвычайно рано. Он устраивал смехотворные лекции, всегда кого-нибудь представляя и кому-нибудь подражая. Одним из его номеров была пародия на лекцию старика-профессора. Разыгрывалась также с братьями сценка «у зубного врача». Антоша «рвал» зубы у Александра или Николая, причем разыгрывалось нечто напоминающее знаменитую чеховскую «Хирургию». Устраивались и домашние спектакли. Играли «Ревизора» и «Москаля-Чаривника» Котляревского. Был также сольный номер в репертуаре Антоши — пародия на градоначальника, приезжающего в собор на парад в табельный день. Происходил и «экзамен на диакона». Антоша

изображал дьячка, а старший брат-архиерея. Антоша, изменив до неузнаваемости лицо, старческим дребезжащим голосом, как настоящий деревенский дьячок, пел перед братом «архиереем» все кондаки и богородичные ирмосы на все восемь голосов, задыхаясь при этом от страха. Наконец он удостаивался архиерейской фразы: «Во диаконах еси».

Антоша научился даже гримироваться и достиг в этом деле такого мастерства, что пошел однажды под видом нищего через весь город к дяде Митрофану с просительным письмом. Дядя не узнал его и подал три копейки.

Домашние спектакли и сценки-импровизации говорят и о том раннем увлечении театром, которое прошло через все детские и юношеские годы Антоши. Он был неизменным посетителем галерки таганрогского театра.

Первое, что он здесь увидел, была оперетка «Прекрасная Елена».

В гимназии

В 1868 году Антона, после неудачной затеи с греческой школой, отдали в приготовительный класс классической гимназии. В гимназии он просидел два лишних года — оставаясь в третьем и пятом классах на второй год.

В гимназию он поступил в эпоху так называемой «толстовской» реформы, насаждавшей классицизм. Почти половина всех уроков падала на древние языки — латинский и греческий.

О том, как учился Антоша, свидетельствуют его бальники.

ОТМЕТКИ

за I четверть 1876 года

Ученика V класса Чехова Антона	Успехи	Вниман.	Прилеж.	Повед.	Число пропущенн. уроков
Закон божий	4	4	4	5	
Русский и славянский язык	3	3	3	5	
Латинский язык	3	4	3	5	
Греческий язык	3	5	5	5	
Арифметика	—	—	—	—	5 уроков
Алгебра	2	3	4	5	
Геометрия и тригонометрия	4	4	5	5	
История	3	3	4	5	
География	—	—	—	—	
Французский язык	—	—	—	—	
Немецкий язык	4	5	5	5	
Физика	—	—	—	—	
Чистописание	—	—	—	—	
Рисование	—	—	—	—	

Определение Педагогического Совета: Внушение

Без разряда — 27

Классный наставник *Ю. Бушар*

Двадцать седьмой ученик в первую четверть, он становится десятым в четвертой. Очевидно, подействовало «внушение»: отметки за вторую и третью четверти повысились, исчезла и двойка по алгебре.

В 1873 г. при Таганрогском уездном училище открывались бесплатные ремесленные классы, обучаться в которых могли и гимназисты. Павел Егорович Чехов решил, что таким делом пренебрегать нельзя: еще неизвестно, кончат ли сыновья гимназию, а ремесла всегда дадут верный кусок хлеба. И вот братья Чеховы — второго класса Иван и четвертого класса

Николай и Антон — подают его «высокородию директору таганрогской гимназии» прошение:

> «Желая обучаться в ремесленном классе при Таганрогском уездном училище по ремеслам, из нас: Иван — переплетному и Николай и Антон — сапожно-портняжному, имеем честь просить покорнейше ваше высокородие сделать распоряжение о допущении нас к изучению вышеозначенных ремеслов».

Прошение писано рукой Николая Чехова — Антон и Иван к сему «руки приложили». Не очень грамотно, как видим, писал гимназист четвертого класса — зато форма была соблюдена. И «его высокородие» и «покорнейше», и «к сему прошению», словом, все как надлежало быть в казенной бумаге.

Из «Копии ведомости о работе учеников ремесленного училища за 1874 год узнаем об успехах братьев Чеховых за второй год их обучения. Антон за исполнение получил четверку, за поведение ту же отметку, а в графе «небытие», указывающей о непосещении классов, против его имени поставлена цифра восемь. У Николая — тройка за работу, четверка за поведение при двенадцати пропущенных уроках. Иван — четверки и за работу и за поведение, одиннадцать пропусков.

Из этой же «Ведомости» явствует, что за февраль было ими сделано «на один рубль восемьдесят копеек — изготовлены каблучки и носки, а также две пары туфель. Затем сшит «жакет вольный» и Николаю брюки. Об этих брюках несколько смешных подробностей в воспоминаниях М. П. Чехова: брюки кроил Антоша, которому отдал Николай строгий приказ — кроить поуже, так как «теперь носят узкие брюки». Антон постарался. Но брюки были сверх-

модные — только после долгих усилий мог Николай натянуть их на ноги. Вышли не брюки, а трико, что и не замедлило вызвать радостное улюлюкание мальчишек во время прогулки франта Николая по городскому саду:

— Братцы, глянь! Сапоги — корабли, а штаны — макароны!

Это обучение сапожно-портняжному мастерству, не давшее видимых результатов, все же оказалось полезным — в рассказах Антона Чехова, в которых фигурируют сапожники и портные, термины профессий необычайно точны — это мог сделать только на практике изучавший ремесла.

Учителя

Гимназия — целая полоса в десять длинных лет жизни. И на гимназических годах Антона Чехова следует остановиться.

В чеховском рассказе «Человек в футляре» Иван Иванович отзывается о гимназии, в которой он учительствует, так: «Это не храм науки, а управа благочиния, где кислятиной воняет, как в полицейской будке».

Конечно, управой благочиния могла быть та гимназия, о которой ее официальный историк П. И. Филевский в своих очерках «Из прошлого Таганрогской гимназии», с похвалой отзываясь о директоре Рейтлингере, говорит, что этот «человек общественный, обходительный» установил добрые отношения преподавателей между собой, что дало им возможность «вместо доносов, устраивать литературные, вокальные и музыкальные вечера и другие собрания для дела и развлечения». Но ведь очевидно не сразу исчезли

доносы в качестве любимого занятия преподавателей, и сколько, спрашивается, нужно было организовать «вокальных и музыкальных вечеров» для полного их изгнания из гимназического обихода?

Эдмунд Рудольфович Рейтлингер считал себя знатоком латинского языка. Но он преподавал не только латынь, но в старших классах читал о Великой французской революции, причем ее оценку давал на основе трудов сподвижника Каткова — Леонтьева. Что же касается латыни, то он любил щеголять некоторыми цитатами и поговорками. Человек он был добродушный, незлобивый. Весь еще в патриархальных традициях. Приближается, например, день его именин. И идут в классах подписки — сбор денег на торт директору. Наконец, наступает высокоторжественный день. Гимназисты несут гору тортов и пирогов прямо на квартиру господина директора. К двенадцати часам вся гимназия собирается на площадке и на лестнице перед его квартирой. Появляется именинник. Несется громоподобное «ура». Объявляется конец занятий по случаю «такого дня». Общее ликование. Через несколько дней назначается шоколад, на который приглашаются — в порядке очереди — гимназисты, подносившие пироги и торты.

Он любил читать наставления, проповедывать истины, укладывающиеся в выразительные формулы. Совсем как «наш директор», о котором вспоминает Кулыгин в чеховских «Трех сестрах». «Наш директор говорит, — главное во всякой жизни — это ее форма. Что теряет свою форму, то кончается — и в нашей обыденной жизни то же самое».

А вот красочный эпизод и с Рейтлингером, который, конечно, вспомнился Чехову, когда он писал своих «Трех сестер». «Прибыв в 1873 году в гимна-

зию и встретив учеников старших классов в довольно непринужденном виде, он отрекомендовался, заметил, что у них длинные волосы, усы не сбриты и мундиры расстегнуты, и сказал: «Гимназисты с первого взгляда должны обращать на себя внимание привлекательностью, строгостью своей внешности. Мне неприятно в молодом человеке щегольство, но неряшливость и растрепанность еще более противны, а потому, чтобы сохранить середину, вы должны быть приличны. Я вас уверяю, это имеет большее значение, чем вы думаете».

Ну, конечно, «что теряет свою форму, то кончается!»

Об этом же Рейтлингере вспоминает и школьный товарищ Чехова — В. Г. Тан-Богораз [6]: «Эдмунд Рудольфович Рейтлингер, немец из истинно-русских, строго консервативных взглядов. В 1876 году он получил чин действительного статского советника. После этого с ним стало легче ладить. Стоило только в трудную минуту ловко ввернуть: «Ваше превосходительство».

Рейтлингер относился, надо заметить, чрезвычайно внимательно к Антону Чехову, а его брат Александр, учеником последних классов, жил у директора на квартире.

Среди педагогов Таганрогской гимназии колоритную фигуру представлял инспектор Дьяконов. Строгий службист, строгий к самому себе и другим людям. Молодых учителей поучал и даже распекал с большей смелостью, чем директор. Очень не любил молодых либералов. Из его изречений можно было бы составить огромный кодекс морали. Каждый его поступок, самый ординарный, каждое его слово было согласно выработанному им правилу, которым он

руководствовался и которому не изменял. Он всегда говорил поучениями и наставлениями: «Коль скоро вы не в силах создать нового, не разрушайте старого». «Прежде узнайте жизнь, а потом отрицайте устои, а то узнаете, да поздно». Или: «Коль скоро копейка общественная, она должна быть на счету». Эти изречения пародированы Чеховым в рассказе «Учитель словесности»: преподаватель географии Ипполит Ипполитыч изрекает здесь такие истины: «Волга впадает в Каспийское море». «Лошади кушают овес и сено». «Спать в одежде не гигиенично» и т. д.

В похвалу Дьяконову сказано у историка гимназии Филевского, что он ни одного доноса не написал, хотя, занимая должность инспектора, мог сделать это легче, чем кто-нибудь. Был он человеком с хорошими средствами, избирался гласным городской думы и отличался большой придирчивостью, контролируя действия управы. Состоял Дьяконов и старшиной клуба. На этом поприще у него произошел инцидент, чрезвычайно выразительный для нравов провинциального города. «Во время балов в дамскую уборную ставилось много пудры, булавок, шпилек, мыла и других мелочей для дамского туалета и все это в изобилии. Случилось так, что во время одного бала дежурным старшиной был Дьяконов. Он подсчитал, сколько, примерно, бывает на балах дам, и отпустил на это высчитанное количество парфюмерии, приказав прислуге, чтобы все остатки были ему сданы, и чтобы не позволяли дамам забирать с собой домой шпильки, булавки и прочее». Это вызвало целую революцию: «дамы подняли протест и правление клуба уже старалось устраивать так, чтобы дежурство Дьяконова не падало на вечера с танцами».

Дьяконов завещал свои дома под начальные училища, а капитал — в размере семидесяти тысяч рублей — на ежегодную выдачу пособий учителям школ.

А вот в галерее портретов чеховских учителей — чудак из дореформенного поколения педагогов — Иван Федорович Крамсаков, о котором часто вспоминает в письмах А. П. Чехов. Личность вполне архаическая. Его лексикон состоял из эпитетов — дурак, осел, скотина. Он преподавал географию, а в младших классах арифметику. Арифметике обучал он так: ученики вызывались к доске решать задачи в порядке алфавита, а задачи шли по одному и тому же учебнику, в порядке нумерации, и каждый ученик, зная, какая задача ему придется, был уже заранее готов к ответу. Крамсаков был чем-то похож на китайца и прозвище у него было «китайский мандарин».

Чудак за чудаком! Вот Павел Иванович Вуков — классный наставник Таганрогской гимназии, прослуживший в ней пятьдесят лет и переживший А. П. Чехова. У него были две слабости, которыми умело пользовались ученики: считал себя неотразимым покорителем дамских сердец и любил «к былям небылицы без счета прилыгать». Его часто можно было видеть гуляющим в коридорах гимназии, окруженным толпою гимназистов, с которыми он делился своими «победами». Он очень хорошо сохранил в памяти образ юного Чехова и рассказывал, что не раз приходилось ему отбирать у Антоши какие-то тетрадки, которые он читал вслух, вызывая хохот всего класса.

— Ну, и отберешь такую тетрадку, принесешь ее в классную — и там смеются.

Но что было в этих тетрадках — Вуков не помнит.

Директор Рейтлингер боролся с доносами, но

смотрел сквозь пальцы на взяточничество, а оно несомненно существовало среди учителей. Правда, оно было прикрыто одним, казалось бы, вполне безобидным обычаем — принимать в качестве жильцов к себе на квартиру неуспевающих учеников. Квартирант понимал, в чем дело. Комната обходилась ему довольно дорого, а экзамен сходил совсем легко. Таков был преподаватель греческого языка — Зико — великий знаток классиков, острослов и шутник. С учениками держался по-приятельски: то хлопнет журналом ниже спины, то ладонью по животу и тут же съострит. На улице подкрадется к ученику с палкой и вышибет ранец, а сам пройдет мимо, как будто ничего не случилось. Нажив хорошие деньги, он уехал к себе на родину.

Выделяется в этом пестром мирке «людей в футлярах» преподаватель латинского и греческого языка В. Д. Старов. Он пользовался большой любовью учеников старших классов и со многими был в чисто дружеских отношениях. Старов пережил тяжелую личную драму. Он женился на падчерице учителя русского языка Мальцева — Ариадне Черец, очень красивой девушке. Удовлетворяя капризы «Рурочки», не считавшейся с материальным положением мужа, впал он в долги, потом запил с горя. Жена его бросила. Переведенный в другой город, Старов спился и умер в больнице. Судьба «Рурочки» (чертами которой воспользовался А. П. Чехов в рассказе «Ариадна») была несколько необычной в условиях тогдашнего быта. Разорив и бросив Старова, она пошла на сцену, увлеченная известным актером Н. Н. Соловцовым, и стала впоследствии опереточной антрепренершей Дагмаровой.

Личность Старова была, видимо, чрезвычайно сим-

патична Чехову и несомненно кое-какими подробностями его биографии он воспользовался для своего «Учителя словесности».

В заключение о протоиерее Ф. Покровском — законоучителе Таганрогской гимназии. Ему Чехов обязан происхождением псевдонима — «Антоша Чехонте»: Покровский не иначе вызывал Чехова, как «Че-хон-те». Это была его выдумка — он любил давать ученикам смешные прозвища. Отец Покровский был большой практик, дипломат, политик и ловкий человек. Он был скептик и в его «правоверии» легко можно было усумниться. Выписывал — единственный среди преподавателей — самый радикальный журнал эпохи — «Отечественные записки», любил на уроках пофилософствовать и охотно рассуждал о Гете, Пушкине, Лермонтове. Он оставался равнодушным, если ученик плел вздор по его предмету, но искренне возмущался, когда на вопрос — читал ли ученик Шекспира, получал отрицательный ответ. Он хорошо знал Антона и его братьев и был постоянным гостем у Митрофана Егоровича Чехова.

Чехов, уже будучи писателем, не прерывал с ним отношений. Протоиерей Покровский оказался поклонником А. П. Чехова и просил своего бывшего ученика высылать ему его книги. А. П. Чехов выхлопотал Покровскому болгарский орден, чего очень добивался либеральный протоиерей. И в то же время Чехов в одном из своих писем к Д. В. Григоровичу, в котором он рассказывает о своих ощущениях во сне, говорит, что каждый раз, когда ему во сне холодно, он видит неприятных ему людей и среди них почтенного священника, который однажды оскорбил его мать. А это и был о. Покровский, который, встретившись с матерью Чехова, Евгенией Яковлевной,

неожиданно заявил, что из ее детей толка не выйдет — «разве что из старшего — Александра». Болезненно пережила это предсказание чадолюбивая Евгения Яковлевна!

Разорение

Антону шел семнадцатый год, когда произошли события, резко изменившие прочно установившийся уклад его семьи. Художник в душе, плохой коммерсант, Павел Егорович Чехов окончательно разорился и закрыл свою торговлю. Дела запутались из-за покупки собственного дома. На дом пошли последние крохи, причем из местного общества взаимного кредита понадобилось взять ссуду в пятьсот рублей, на которую был выдан вексель под поручительство некоего Костенко. Вексель переписывался без конца, пока не вынужден был Павел Егорович признать свою несостоятельность. «Благодетель» Костенко вексель оплатил, но предъявил Чехову встречный иск. Павлу Егоровичу угрожала так называемая «яма» — то есть арест впредь до уплаты долга. И тогда Павел Егорович бежал от позора в Москву к старшим сыновьям: Александру — с 1875 года студенту университета, и Николаю — ученику училища живописи и ваяния.

Чтобы не быть узнанным, Павел Егорович сел на московский поезд не на таганрогском вокзале, а с ближайшего полустанка. Пока в поисках места бедовал в Москве Павел Егорович, в Таганроге велось дело в суде по иску Костенко. Дом еще продолжал числиться за Павлом Егоровичем, но разоренные Чеховы ожидали со дня на день назначения публичных торгов. И тут произошла новая история. В семье Че-

ховых жил в качестве нахлебника Гавриил Парфентьич, чиновник коммерческого суда. Он объявил, что сделает для Евгении Яковлевны все, что только возможно, чтобы спасти дом. И Гавриилу Парфентьичу поверили. Еще бы, — он человек судейский, стало быть спасет дом! И Гавриил Парфентьич действительно не допустил торгов. Пользуясь своим служебным положением, он закрепил дом за собой.

Гавриил Парфентьич стал хозяином дома, а Костенко в уплату процентов на сумму долга — вывез из дому мебель.

И тогда, горько заливаясь слезами, отправилась в Москву Евгения Яковлевна, забрав с собою младших детей — Мишу и Машу. Ваню поместили к тетке Марфе, а Антоша был оставлен в доме стеречь оставшуюся рухлядь.

Гавриил Парфентьич выписал в Таганрог племянника Петю Кравцова и предложил Антоше подготовлять его в юнкерское училище — за угол и стол. Вскоре взяли в Москву Ваню и остался Антоша в полном одиночестве.

Тут начинается самая темная полоса чеховской биографии — это годы его «таганрогского сидения» — с 1876 по 1879, вплоть до окончания гимназии. Брошенный на произвол судьбы, он не растерялся ни на минуту. С детством было навсегда покончено. Мальчишеские забавы — оставлены, наступала пора борьбы за существование. И в Антоше нежданно проявились черты упорной настойчивости, молодого упрямства и твердой решимости всеми средствами бороться с трудностями. А помощи ждать было неоткуда и не от кого, разве что пригласит лишний раз пообедать расчетливый дядюшка Митрофан Егорович.

Антоша репетировал Петю Кравцова, бегал по урокам, и не терял бодрости. Юмор, который бил в нем ключом, помогал сносить полуголодное существование. Для развлечения московских братьев он принимается за издание — в единственном экземпляре — рукописного журнала «Заика» и ведет оживленную переписку со всей семьей. К сожалению, ни одного номера «Заики» не сохранилось, да и из писем уцелели немногие — все растерялось во время кочевок чеховской семьи по московским квартирам.

Гимназические успехи Антоши повышаются и уже без всяких задержек он исправно переходит из класса в класс. Зимой — зубрежка и репетиторство, летом — веселые каникулы в степных хуторах — то у Пети Кравцова, то у одноклассника — Зембулатова, которому дана Антошей кличка «Макар», так и оставшаяся на всю жизнь за этим спутником чеховской юности.

А из Москвы приходили печальные вести. Все никак не мог получить службу отец, и неизвестно, на какие средства существовала бы чеховская семья в Москве, если бы не высылал Антоша тех грошей, которые ему удавалось выручить за домашнюю рухлядь. Бедность была вопиющая. Когда Евгения Яковлевна с Мишей и Машей добрались до Москвы, то они застали Павла Егоровича без копейки. У него не было даже на конку — пошел на Курский вокзал встречать семью пешком и пешком вернулся на Грачевку: прошагал туда и обратно верст десять.

Вот бесхитростное письмо Евгении Яковлевны, адресованное в Таганрог Антоше и Ване, и прекрасно рисующее московское житье-бытье Чеховых.

«Господь вас благословит милые дети Антоша и Ваня очень жаль что вы нам не сочувствуете неужели ты Антоша не получил плед

так долго не пишешь, мы от тебя получили два письма наполненные шутками, а у нас то все это время только было четыре копейки и на хлеб у нас не стало ждали мы от тебя не пришлешь ли денег, очень было горько должно быть вы нам не верите у Маши шубы нет у меня теплых башмаков сидим дома а ты еще не написал скоро ли пришлешь наше имущество беда да и только пишите ради бога скорее присылайте деньги мои что за комод мой продали да и имущество скорей пожалуйста не дайте с печали умереть. В холодной комнате спим на полу да что вам писать все равно что горох на стене лепить а завтра двадцать шестого где хочешь бери а надо за квартиру тринадцать рублей а то хозяин скажет ищите фатеру. Антоша ты не ссорься с кухаркой они все одинаковы ты ее уважай и она будет добра кланяйся Гавриилу Парфентьичу скажи ему что мне плохо здесь живется Миша слава богу учится а Маша сокрушила меня — и книг нет и купить не на что» *.

И в другом письме: «у меня на кофе денег нет» и поручение — «продай машинку и кровать». Надо отметить, что проникшись горем нежно любимой матери, Антоша выполнил все поручения и Евгения Яковлевна вскоре оценила заботливость сына.

Но характерно для Антоши упоминание о том, что его письма переполнены шутками. Антоша шутил, рассчитывая, конечно, шуткой рассеять тяжелое

---

* Письма Евгении Яковлевны хранятся в архиве А. П. Чехова и никогда не были опубликованы. Письмо печатается при сохранении всех особенностей стиля и орфографии.

настроение москвичей. Но он иногда так шутит, что заслуживает упрека и от старшего брата Александра, который читает ему целую нотацию за неуместные остроты. Какую-то почтенную московскую знакомую именует Антоша в письме «ее степенство». Александр сердится: как не понимает Антон, что это незаслуженная обида, нельзя обижать людей балагурства ради. Александр вообще оказывает в эти годы огромное влияние на Антона. Студент математического факультета, он полон молодой энергии и удачно начинает свой писательский путь в качестве сотрудника журнала «Свет и тени». В Александре уже давно проснулся протест против мещанских традиций, державшихся в семье. Он и в Таганроге не пожелал жить в семье — переселился к директору. Живет отдельно от родителей и в Москве. В его письмах к Антону много горьких слов о семейных нравах, о предрассудках отца, о затхлости мещанства.

Александр устроил Антону приезд в Москву на рождественские каникулы 1876 года, выслав ему пятнадцать рублей. Антон приехал и был очарован Москвой.

Но кое-что ему не нравилось. Прежде всего Антоша не одобрил пристрастия брата к комфорту. Александр поучает в ответном письме, что комфорт «необходимый спутник всякого мало-мальски чистоплотного человека», и вообще Антону следовало бы завидовать «свободе ничем не стесняемой умственной деятельности», а не тому, чему он завидует. В письмах Александра, начинающихся с шутливых обращений вроде «отче Антоний» или «толстобрюхий отче Антоний», вообще много советов. Старший брат рекомендует книги, например, «Космос» Гумбольдта —

«божественную книгу», потом Гюйо — «Природа и человек». А когда Антон написал ему о своей мечте — попасть после окончания гимназии в один из немецких университетов, Александр предостерег его от этого стремления: «Зачем тебе немецкие университеты? Чем русские плохи? Зачем ехать? За философией и теологией? Не думаю, чтобы ты восчувствовал призвание к одному из сих факультетов, а слюнявым немецким схоластиком можешь легко и в России сделаться. Да честь не больно велика».

Эта переписка о выборе университета разрушает легенду, созданную некоторыми гимназическими товарищами Антона Чехова, утверждавшими, что он не имел никакого представления об университетах и на вопрос, на какой же поступает он факультет, отвечал будто бы: «я в попы пойду», имея в виду духовную академию. И о факультетах имел достаточное представление Антон Чехов и разбирался в преимуществах заграничных университетов. Впрочем, как видим, Александр постарался эти преимущества разоблачить.

Александр — авторитет в глазах Антона: он руководитель его юности. Тот процесс «выдавливания из себя рабьей крови», о котором будет говорить через несколько лет Антон Чехов, уже происходил в Александре. Ненавидя мещанскую среду, Александр заражает ненавистью к ней и Антона. Александр, любя и глубоко уважая мать, не только не закрывает глаза на недостатки отца, но в переписке с Антоном усиленно их подчеркивает. Павел Егорович олицетворяет, как думает Александр, те «таганрогские обычаи», от которых он уже бежал и к которым он и прививает ненависть Антону. А что «таганрогские обычаи» удерживались и в Москве, об этом говорит следую-

щее, например, расписание, выработанное Павлом Егоровичем для живущих с ним в Москве домочадцев. Расписание предусматривает время пробуждения от сна и устанавливает домашние и религиозные обязанности каждого члена семьи:

Николай Чехов, 20 лет	Встает от 5—7 и по усмотрению и внутреннему направлению.
Иван Чехов, 17 лет	По хозяйственным наблюдениям и согласно сему расписанию.
Михаил Чехов, 11 лет *Мария Чехова, 14 лет*	Хождение неотлагательно в церковь ко всенощному бдению в 7 час. и ранняя обедня в $6^1/_2$ ч., к поздней в $9^1/_2$ по праздникам.

Неисполняющий подвергается сначала строгому выговору, а затем наказанию, при коем кричать воспрещается.

И не шутки ради, а совершенно серьезно регламентировал Павел Егорович этим расписанием домашний распорядок. С каким негодованием описывает Александр Чехов одну из обычных для Таганрога сцен мордобоя, к его ужасу перенесенных и в Москву. Семнадцатилетний Иван нарушил какое-то правило, изложенное в расписании, и был побит отцом во дворе. На крики собрались жильцы, а домовладелец намекнул, что если подобные явления еще повторятся, то не угодно ли со двора съехать.

Александр никакой злобы к семье не питает, он лишь органически не терпит таганрогских обычаев. Но когда нужда стала особенно сильно теснить семейство, то Александр, чтобы не быть заподозренным в чванстве — во дворянстве (как говаривал Павел Егорович) — переехал в родительскую квартиру.

Письма Александра не могли не оказать огромного и положительного влияния на Антона. Годы, проведенные им в таганрогском одиночестве, были годами не только борьбы за существование, но и началом роста его самосознания.

Юношеский облик

Образ Антона Чехова, гимназиста последних классов, рисуется по воспоминаниям его школьных товарищей, по его собственным письмам и по позднейшим личным признаниям — такими примерно чертами: он держится в стороне от тех кружков, которые стали тогда создаваться в гимназии; он не принимает никакого участия в политических спорах, уже звучавших в эту эпоху героического начала борьбы «Народной воли» с самодержавием; у него нет близких друзей среди одноклассников, как нет связи с учителями.

Он постоянно шутит и острит, но в нем крепок лед недоверия и отчетливо чувствуется внутренняя замкнутость. За ним не числится проступков в области нарушений дисциплины. Но он вовсе не принадлежит к числу добродетельных юношеских натур, краснеющих от крепкого слова, бегущих от папиросы и робеющих перед стаканом вина. Напротив, Антоша рано познал изнанку жизни. Он не постник и не монах, как скажет он о себе позже. И он вспомнит, что были влияния, оставившие на нем нечистый след. Так, он сам признается, что «тайны любви» постиг в тринадцать лет. Он понимает толк в табаке и аккуратно снабжает им московских братьев. Любит праздники, свадьбы и прочие торжества, сопряженные «с винопийством». И он в курсе развлечений Алек-

сандра, который делится с ним рассказами о посещении «Яра» и «Стрельны». Антоша не прочь поухаживать за гимназистками, и его юношеские романы всегда жизнерадостны. Он много читает, зрело судит о прочитанном. И как в этом отношении характерно, что в письме к младшему брату Михаилу, — в одном из первых дошедших до нас чеховских писем, он не только шлет список рекомендованных книг — «Дон-Кихот», «Фрегат Паллада» — не только дает литературную оценку «Хижины дяди Тома», как романа слащавого, но в этом письме говорит о необходимости выработки чувства личного достоинства. Антону не нравится, что Миша называет себя «ничтожным, незаметным братишкой». Ничтожество можно сознавать, — поучает Антон, — перед богом, пожалуй, перед умом, красотой, природой, но не перед людьми. Среди людей нужно сознавать свое достоинство. Надо сознавать в себе честного малого и знать что честный малый не ничтожен. Нельзя смешивать «смиряться» с «сознавать свое ничтожество».

Но сколько противоречий в юноше Чехове! Он, обучающий брата Мишу личному достоинству, сам теряет его в переписке с кузеном Михаилом — из калужской отрасли Чеховых. Перед ним Антоша готов признать свое ничтожество, хотя по сравнению с тем же Александром — калужский двоюродный брат никаких нравственных качеств, необходимых, чтобы стать моральным авторитетом, — не имеет. И что-то неприятное звучит в его письмах к «Размилейшему брату Михаилу Михайловичу». Уж не ему ли, — не то конторщику, не то приказчику в оптовой торговле московского купца Гаврилова, — позавидовал Антоша, когда гостил в Москве? Позавидовал приказчичьему лоску и веселой его жизни. А что жизнь была весе-

лая — с частыми и обильными винными возлияниями — об этом немало красноречивых и злых строк в письмах Александра, сообщающего о шумных и и грубых попойках гавриловской компании. Но в глазах Антона, бьющегося в провинциальном Таганроге с нуждой и зарабатывающего гроши, калужский кузен — человек солидный, независимый. И неудивительно, что именно с ним, а не с Александром, делится Антон одним из своих самых заветных мечтаний — разбогатеть. В письме к М. М. Чехову читаем следующие строки: «Ждем урожая блестящего. Дай бог России победить турку с трубкой, да пошли урожай вместе с огромнейшей торговлей. Тогда я с папашей заживу купцом. Я думаю, терпеть еще недолго будем. Разбогатею. А что разбогатею, так это верно, как дважды два четыре».

Об «огромнейшей торговле» сказано не случайно: дело в том, что как раз в эти годы чеховского разорения начиналось и разорение Таганрога, который утрачивал свое значение как торгового центра области. С проведением новых железных дорог, порт в Таганроге наполовину сократил свои обороты. Возникающий с американской быстротой соседний Ростов-на-Дону во всех отношениях затмевал Таганрог. Таганрог затягивался провинциальной тиной. Надо заметить, что в момент катастрофы, пережитой Чеховыми после потери дома, Павел Егорович выбыл из купечества и перешел в мещанское податное сословие.

Литература и театр

Когда начал писать Чехов? Первый его дебют в печати относится к 1880 году, по окончании гимназии.

Но из писем Александра Чехова к Антону можно совершенно точно установить, что еще в седьмом классе гимназии в 1878 году Антон Чехов уже был автором драмы «Безотцовщина» и водевиля «О чем курица пела», кроме того сочинял какие-то мелочи и анекдоты для тогдашних столичных юмористических журналов.

Любопытен отзыв Александра о «Безотцовщине». Он говорит, что в пьесе «две сцены обработаны гениально, если хочешь, но в целом она непростительная, хотя и невинная ложь. Невинная потому, что истекает из незамутненной глубины внутреннего миросозерцания. Что твоя драма — ложь, ты это сам чувствовал, хотя и слабо, безотчетно, а между тем ты на нее затратил столько сил, энергии, любви и муки, что другой больше не напишешь. Обработка и драматический талант достойны (у тебя, собственно) более крупной деятельности и более широких рамок. Если ты захочешь, то я когда-нибудь напишу тебе о твоей драме посерьезней и поделовитей, а теперь только попрошу у тебя извинения за резкость только что сказанного».

Что же касается водевиля, то Александр сообщает, что он отправил его на отзыв драматургу С. Соловьеву, который отметил, что «слог прекрасен, уменье существует, но наблюдательности мало, житейского опыта нет, со временем qui sait [кто знает] может выйти дельный писатель».

И в заключение Александр, извещая брата, что его анекдоты посланы в «Будильник», дает совет — «познакомиться поближе с литературой, изучить Лермонтова, изучить и немецких писателей», «насколько они доступны в переводах». И тогда — благословляет Александр — «твори». «Впрочем этот совет не особен-

но высок, — спешит оговориться Александр, — и я рекомендую только свою школу, в которой я учился и учил».

Где искать истоки рано пробудившейся писательской страсти в Антоне Чехове? В театре. Не случайно, что первые его литературные опыты принадлежат драме. Маленьким гимназистиком бегал он на галерку таганрогского театра. И это увлечение красной нитью проходит через весь таганрогский период его биографии. Надо отметить, что Таганрог в ту пору был театральным городом. Публика была требовательная, избалованная иностранными гастролерами, и антрепренеры должны были составлять вполне приличные труппы.

Мы знаем репертуар целого ряда сезонов. В 1872 году идет с огромным успехом «Ограбленная почта», в 1873 «Елена Прекрасная» и «Парижские нищие». В 1877 гимназист Чехов смотрит «Хижину дяди Тома», «За монастырской стеной», «Семейные пороги» (популярная тогда драма Дьяченко), «Черненькие и беленькие» Чернышева, «Скользкий путь» Королева. В 1878 году — оперетту «Птички певчие», мелодрамы «Материнское благословение», «Черный демон», «Рокамболь», пьесы Островского — «Грех да беда на кого не живет», «Волки и овцы».

Посещение театра было не легким делом для гимназистов. Требовалось особое разрешение, которое выдавалось редко и только в праздничные дни. Вообще начальство косо смотрело на увлечение театром. Между директором гимназии и антрепренером Вальяно возникла даже любопытнейшая переписка по поводу гимназистов, посещающих спектакли, и контроля за ними. Так, директор, «руководствуясь мыслью», что «для тщательного надзора за учениками гимназии не-

обходимо допустить» бесплатный вход в театр помощнику классного наставника, вступил по этому поводу в полемику с антрепренером; в бесплатных билетах для классных наставников было отказано с ссылкой на то, что «для надзора за порядком есть полицейские чиновники». Возник конфликт, разрешенный уже дирекцией театра, которая лукаво писала, что она «уверена в нравственном влиянии гимназического начальства», тем более, что есть «достаточно гимназистов и без этого (очевидно без контроля со стороны классных наставников) сознательных».

Был ли Чехов в числе этих «сознательных»? Вряд ли. По воспоминаниям его родных и товарищей мы знаем, что он обходился без разрешения гимназического начальства и, переодетый в штатское, храбро покупал билет на галерку, а в антрактах вел себя бурно, делая вслух, — на весь театр, — неуважительные замечания по адресу богатых греков, восседавших в первых рядах партера.

В театр забирались гимназисты спозаранку. На галерку вела узкая деревянная лестница, на ступеньках которой уже сидела галерочная публика, терпеливо ожидавшая заветной минуты — открытия дверей. Места были ненумерованные и, чтобы захватить лучшие, приходилось дежурить часов с шести вечера. Потом вся толпа с гиком неслась наверх и, толкаясь, занимала первый ряд. На всю громадную черную яму горел только один газовый рожок.

Но с галерки получил Антоша доступ и за кулисы театра, куда ввел его гимназист Яковлев — его однокашник, сын премьера труппы Новикова — трагика Яковлева. Здесь Антоша познакомился с Н. Н. Соловцовым, которому впоследствии посвятил водевиль «Медведь».

Эти впечатления, вынесенные Чеховым от посещений таганрогского театра, запомнятся ему навсегда. В «Лебединой песне» Чехова трагик Светловидов поражается видом пустой театральной залы — несомненные воспоминания Чехова о «громадной черной яме», каковой с галерки представлялся театр. В «Чайке» фраза Шамраева об актере, который оговорился — ему нужно было сказать «мы попали в западню», а он сказал — «мы попали в запендю» — это воспоминание самого Чехова об «Ограбленной почте». Тот водевильный репертуар, который шел в Таганроге, конечно, отразился на ранних опытах Чехова-драматурга — отсюда «О чем курица пела». А драма «Безотцовщина» слагалась, несомненно, под воздействием «идейных», как говорили тогда, драм Шпажинского, Дьяченки и Чернышева.

Знакомство с труппой Новикова, в которой еще служили последние представители Несчастливцевых и Счастливцевых, дало Чехову богатейший материал для ранних его юмористических рассказов из актерской жизни. Все эти антрепренеры Галамидовы, комики Фениксовы-Дикобразовы, любовники Поджаровы и актрисы Дольские-Каучуковы, они из того пестрого театрального мирка, с которым впервые познакомился Чехов именно в Таганроге.

И не таганрогский ли театр представлялся Чехову, когда он в «Даме с собачкой» описывал провинциальный театр в вечер премьеры:

«Театр был полон. И тут, как вообще во всех губернских театрах, был туман повыше люстры, шумно беспокоилась галерка; в первом ряду перед началом представления стояли местные франты, заложив руки назад... Качался занавес. Оркестр долго настраивался».

С гимназией покончено

В восьмом — последнем — классе Чехов учился далеко не блестяще. Он был одиннадцатым из двадцати трех учеников. Его сочинения по русскому языку никогда не оценивались выше тройки. Но был он прилежен и пропустил всего тринадцать уроков — меньше, чем все остальные его товарищи, у которых средняя цифра непосещения гимназии достигает восьмидесяти.

В официальном документе — «списке допущенных к испытаниям на аттестат зрелости», о Чехове Антоне сказано:

«Посещение уроков исправное, приготовление к урокам весьма добросовестное, исполнение письменных работ весьма аккуратное, весьма внимателен, к учению относился с интересом».

Экзамены начались с письменного по русскому языку.

Из Одесского учебного округа была прислана тема: «Нет зла более чем безначалие».

Эта тема таганрогскими гимназистами раскрывалась весьма своеобразно: проводилась мысль, что при безначалии прекращается и сильно страдает торговля. Очевидно, юные авторы считали, что наступившее разорение города объясняется отсутствием надлежащего начальства.

Чехов, как вспоминает его гимназический товарищ доктор Шамкович, справился с сочинением «еле-еле». Это очевидно надо понимать лишь в том смысле, что Чехов закончил его одним из последних; оценено же оно было четверкой.

Вот аттестат зрелости, полученный Чеховым по окончании гимназии:

АТТЕСТАТ ЗРЕЛОСТИ

Дан сей Антону Чехову вероисповедания православного, сыну купца, родившемуся в г. Таганроге 17 января 1860 года, обучавшемуся в Таганрогской гимназии десять лет, в том: во-первых, что на основании наблюдений за все время обучения его в Таганрогской гимназии поведение его вообще было отличное, исправность в посещении и приготовлении уроков, а также в исполнении письменных работ, весьма хорошая, прилежание очень хорошее и любознательность по всем предметам одинаковая, и, во-вторых, что он обнаружил нижеследующие познания:

Наименование всех предметов гимназического курса	Отметки, выставленные в Педагогическом Совете, на основании § 45 сих правил	На испытании происходившем 15, 16, 17, 18, 19 мая, 2, 4, 7 и 11 июня
Закон божий	пять (5)	пять (5)
Русский язык и словесность	четыре (4)	четыре (4)
Логика	четыре (4)	четыре (4)
Латинский язык	три (3)	три (3)
Греческий „	три (3)	четыре (4)
Математика	три (3)	три (3)
Физика и матем. география	три (3)	„ „
Краткое естествоведение	„	„
История	четыре (4)	четыре (4)
География	пять (5)	„ „
Немецкий язык	пять (5)	„ „
Французский язык	„ „	„ „

На основании чего и выдан сей аттестат зрелости, представляющий ему все права, обозначенные в § 130—132 Высочайше утвержденного 30 июля 1871 года устава гимназий и прогимназий.

Таганрог Июня 15 дня 1879 года.

Директор Таганрогской Гимназии
Действительный Статский Советник
и Кавалер *Э. Рейтлингер.*
Законоучитель Протоиерей *В. Покровский*

Преподаватели: *Э. Штейн. В. Стаэов. И. Стефановский. В. Логинов. К. Зико. А. Мальцев. Ю. Мак.*

За Секретаря Совета *И. Островский.*

Примечание: 1—значит совсем неудовлетворительные, 2—не совсем удовлетворительные, 3—удовлетворительные, 4—хорошие, 5—отличные успехи.

С Таганрогом было покончено. Нужно было собираться в Москву, а для этого прежде всего необходимо было получить документ, дающий права на жительство. Чехову, вошедшему вместе с отцом в мещанское сословие, нужно было от таганрогской мещанской управы получить увольнительный билет. Вот его текст:

БИЛЕТ

Приметы:

Лета — 19

Рост — 2 арш. 9 верш.

Волосы, Брови — русые.

Глаза — карие.

Нос, Рот — умеренные.

Лицо продолговатое чистое.

Особые приметы — под волосами шрам.

Предъявитель сего Екатеринославской губернии, гор. Таганрога, мещанин, Антон Павлович Чехов, отпущен от Таганрогской мещанской Управы для местожительства в разных губерниях России сроком от нижеписанного числа впредь на один месяц.

Если же он в течении льготного месяца не явится, поступлено будет по закону.

Мещанский староста
И. Внуков.

Дан второй день августа 1879 г. № 1278.

В ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ ГОДЫ

Студент-медик

В конце августа 1879 года Антон приехал в Москву. Его ждали раньше, но он все лето провел в Таганроге, добиваясь стипендии, учрежденной таганрогским городским управлением для одного из своих уроженцев, отправляющихся получать высшее образование, — Антоша ее выхлопотал.

Стипендия была небольшая — двадцать пять рублей в месяц. Выдавалась она по третям, так что Антон в день приезда в Москву имел на руках сумму, которая при тогдашней чеховской бедности могла показаться значительной. Он привез в Москву не только сто рублей, но и двух нахлебников — своих гимназических товарищей — В. И. Зембулатова и Д. Т. Савельева. Вскоре, и совершенно неожиданно, прибыл еще один нахлебник — Н. И. Коробов — из Вятки. Его привез Коробов-отец, откуда-то узнавший, что

живут в Москве милые люди Чеховы, которых можно уговорить принять в дом юношу, «застенчивого как девушка». Коробовы были очень богаты, но их не смутило, что квартирка Чеховых была в подвале.

Нахлебники являлись большим подспорьем в хозяйстве Евгении Яковлевны. Жилось тесно, но весело. Перебрались на новую квартиру в пять комнат — по той же Грачевке в доме Савицкого. Зембулатов и Коробов заняли одну комнату, Савельев другую; Антон, Николай и Михаил — третью, мать и сестра — четвертую. Пятая была общей приемной.

Павел Егорыч после долгих хлопот, наконец, получил место по письменной части в оптовой торговле купца Гаврилова, у которого жил и столовался. Получал он тридцать рублей в месяц. Нравы и обычаи Гавриловского дела описаны Чеховым в повести «Три года».

Личность отца отошла на задний план — Антон занял положение хозяина.

20 августа Чехов подал прошение о вступлении в университет — на медицинский факультет. Зембулатов, Савельев и Коробов стали также студентами-медиками.

О Чехове-студенте вспоминал один из его однокурсников, что был он «хорошим товарищем, общей студенческой жизнью очень интересовался, часто ходил на собрания и сходки, но активного участия в общественной и политической жизни студенчества не принимал». А время было бурное. О нем писал С. Я. Елпатьевский так: «Был 1880 год — время наиболее яркого развертывания революционного движения, в Москве было шумно и оживленно». И В. К. Дебагори-Мокриевич, в свою очередь, отмечает, что в 1881 году он застал в Москве огромные перемены.



А. П. Чехов-гимназист. 1875 год

Из собр. Лит. музея при б-ке СССР им. Ленина



„Свадебный сезон"— страница из журнала „Зритель". Рисунок Николая Чехова Текст Антоши Чехонте

«Прежде всего, бросался в глаза количественный рост революционных элементов. Чуть не половина студентов Московского университета и Петровско-Разумовской академии считались революционерами».

Разгром «Народной воли» после 1 марта 1881 года и наступившая жесточайшая политическая реакция резко изменили общественное настроение Москвы, но биограф Чехова не может не отметить, что первые годы студенчества Чехова протекали в боевой атмосфере. Она не коснулась Чехова — так же как в гимназии, он и в университете был очень далек от «политики».

После историко-филологического, замечательного по подбору профессоров, медицинский факультет стоял тогда на втором месте. Чехов слушал лекции Бабухина, Захарьина, Клейна, Фохта, Снегирева, Остроумова, Кожевникова, Эрисмана, Склифасовского. Многие из них имели европейское имя и составляли цвет тогдашней медицины.

Студенческие годы в его биографии занимают важное место в росте и формировании сознания. Вполне индиферентный к общественным делам, ничем особенно не выделяющийся в студенческой массе, добросовестный и исполнительный посетитель лекций и занятий, Чехов приобрел в университете не только необходимые знания, но на всю жизнь проникся глубочайшим уважением к науке и свою творческую, писательскую интуицию сочетал с верным пониманием чисто научного метода. Он вполне понимал значение, которое имело для него медицинское образование.

Медицинская практика Чехова занимает не слишком большое место в его биографии. Он не считал себя врачом-профессионалом и не скрывал того раздражения, а часто и отвращения, которое испытывал

от будничной докторской работы. Не практика, а теория интересовала его и нас занимает не «вольнопрактикующий врач Чехов», а тот Чехов-писатель, который научился мыслить научно.

Еще студентом, читая Дарвина, о котором говорил восторженно, — «какая роскошь Дарвин», он предлагал брату Александру написать «Историю полового авторитета» — работу чисто научного характера.

В одном из ранних своих рассказов «Житейская мелочь» (В собрании сочинений заглавие изменено — «Неприятность») Чехов описывает доктора, который мечтает «упрятать себя на всю жизнь в келью какого-нибудь монастыря», надеясь, что его, «как человека с университетским образованием, не будут посылать к утрене, к обедне, позволят есть скоромное», а он «день и ночь будет сидеть в башенке с одним окошком, прислушиваться к печальному звуку и писать «Историю медицины в России». Эти строки автобиографичны, потому что и сам Чехов начал в 1884-85 гг. научную работу под названием «Врачебное дело в России». Рукопись этого незаконченного труда хранится в Центроархиве и обследована Н. Ф. Бельчиковым.

Для этого исследования Чехов делает выписки и из летописей, и из истории Карамзина, и из народных лечебников. По «Систематическому каталогу русским книгам» В. И. Межова достает нужные для его цели пособия и по ним изучает ряд отделов истории. В подборе книг обнаруживает Чехов верное понимание исторических процессов: он ставит явления в их взаимную связь и понимает, что разработать такой специальный и мало освещенный вопрос, как врачебное дело, он сумеет лишь поняв прошлое во всем объеме и во всей широте.

Он особенно интересуется фольклором — теми «ме-

дицинскими» моментами, которые нашли свое отражение в былине, песне, поверьях. Судьба медицинского дела в России интересовала Чехова как врача, а среди множества тех материалов, над которыми он работал, находились и такие, которые не могли не волновать его как художника.

На этом незавершенном труде сказалась не только величайшая добросовестность, столь ему вообще свойственная, не только точность, так характерная для него, как беллетриста, но и слияние художника и исследователя, медика и писателя. Ведь Чехов и Гете ценил именно за то, что в создателе «Фауста» «рядом с поэтом прекрасно уживался естественник». А о самом себе говорил, что не сомневается в серьезном влиянии на его литературную деятельность занятий медицинскими науками. «Они, — отмечает он в автобиографии для доктора Г. И. Россолимо, в письме 11 октября 1899 года, — значительно раздвинули область моих наблюдений». И дальше:

«Не сомневаюсь, занятия медицинскими науками имели серьезное влияние на мою литературную деятельность, они значительно раздвинули область моих наблюдений, обогатили меня знаниями, истинную цену которых для меня, как для писателя, может понять только тот, кто сам врач; они имели также и направляющее влияние, и, вероятно, благодаря близости к медицине, мне удалось избегнуть многих ошибок. Знакомство с естественными науками, научным методом всегда держало меня настороже, и я старался, где было возможно, соображаться с научными данными, а где невозможно — предпочитал не писать вовсе. Замечу кстати, что условия художественного творчества не всегда допускают полное согласие с научными данными; нельзя изобразить на сцене смерть

от яда так, как она происходит на самом деле. Но согласие с научными данными должно чувствоваться и в этой условности, то есть нужно, чтобы для читателя или зрителя было ясно, что это только условность и что он имеет дело со сведущим писателем. К беллетристам, относящимся к науке отрицательно, я не принадлежу; и к тем, которые до всего доходят своим умом, не хотел бы принадлежать».

Чехов радовался, когда в рассказах удавались ему моменты чисто медицинские. Ему был поэтому очень приятен комплимент его читательниц, находивших, что роды в рассказе «Именины» «описаны правильно». Он считал себя обязанным «мотивировать медицинские случаи».

Ему неприятен совет Суворина «перестать гоняться за двумя зайцами и не помышлять о занятиях медициной». Он недоумевает: «Почему нельзя гоняться за двумя зайцами, даже в буквальном смысле этого слова, были бы гончие, а гнаться можно». Гончих — в переносном смысле — у него, по всей вероятности, нет, но он «чувствует себя бодрее и доволен собой, когда сознает, что у него два дела, а не одно». «Медицина моя законная жена, а литература — любовница. Когда надоедает одна, я ночую у другой. Это хотя и беспорядочно, но зато не так скучно. Да и к тому же от моего вероломства обе решительно ничего не теряют. Не будь у меня медицины, я свой досуг и свои личные мысли едва ли отдавал бы литературе» (из письма 11 сентября 1888 года).

Поборола в конце концов все-таки литература. От практической врачебной деятельности он устал и отстал, а целиком отдаться теоретической работе не смог именно потому, что медицина, точнее сказать — метод мыслить научно, помог его творческой интуиции раз-

вернуться во всю ширь и не в области чисто научной, а исключительно — в художественной. Правда, уже будучи известным писателем, он где-то в глубине души таил мечту стать популярным и в медицине. И едва ли только в шутку говорил он о своем «Сахалине», как о труде академическом, за который можно получить премию митрополита Макария. Больше того, известно, что покойный профессор Г. И. Россолимо по просьбе А. П. Чехова, его университетского товарища, вел переговоры о возможности назначения Чехову кафедры и степени доктора медицины, приняв «Сахалин» как научную диссертацию. Переговоры не увенчались успехом, но тот факт, что они велись, весьма показателен и говорит о всей серьезности отношения Чехова к возможности признания научной ценности за его публицистической книгой.

С другой стороны, он понимал, что медицинская практика очень ему мешает и в явном противоречии с самим собой, писал Григоровичу, что к нему, по «уши втянувшемуся в медицину», чрезвычайно подходит поговорка о двух зайцах. Но это уже из области тех противоречий, которые вообще уживались в Чехове. Вряд ли можно принимать на веру и слова его — в письме к А. С. Суворину, — что для медицины он «недостаточно любит деньги», а для литературы ему «нехватает страсти». Вопрос о «страсти», как о творческом темпераменте, — это особый вопрос, который нужно поставить уже не в плане исследования вопроса о чеховских «двух зайцах» — медицине и литературе, за которыми он «гонялся», начиная с первого же своего дебюта в печати. Но несомненно одно, что в первые годы его, как он сам выражался «шатания» по юмористическим изданиям и газетам, медицина мешала ему, так же как литература мешала науке.

Эпоха „Антоши Чехонте".

Многолетнее шатание по юмористическим журналам началось со «Стрекозы» (1880). Затем он печатается в «Зрителе» (1881—1883 гг.), «Мирском толке», «Москве», «Свете и тенях», «Спутнике» (1882), в Альманахе «Стрекозы» (1884), в «Русском сатирическом листке» (1884), «Развлечении» (1884—1886 гг.), «Сверчке» (1886), в «Будильнике» (1881-1887 гг.) и в «Осколках» (1882-1887 гг.).

В этих журналах и журнальчиках появляются рассказы и рассказики: «Комары и мухи», «О том, о сем», «Финтифлюшки», подписи к рисункам, «Перепутанные объявления», фельетоны и заметки, — подписанные псевдонимами: «Антоша Ч.» и просто — «Антоша», «Чехонте» и «Антоша Чехонте», «Антоша Ч.» и «Ан. Ч.», «Антансон» и «Г. Балдастов», «Вспыльчивый человек» и «Человек без слезинки», «Брат моего брата» и «Врач без пациентов», «Рувер» и «Улисс».

Молодой Чехов пишет много: если в 1880 году он печатает только девять вещичек, то уже с 1881 цифры будут неизменно подыматься: тринадцать в 1881, тридцать два в 1882, сто двадцать в 1883, сто двадцать девять в 1885 году. 1887 год станет годом переломным во многих отношениях, в том числе и по явному спаду «многописания» — в этом переломном году Чехов напечатал только шестьдесят восемь произведений.

Материальная нужда была только одной из причин, влиявших на темпы работы Антоши Чехонте, да и нельзя утверждать, что Чехов начал заниматься литературой, ища только обеспеченного заработка. Что чеховская семья жила бедно, и Антошино писательство давало ей значительную материальную поддерж-

ку, — это несомненно, но мы уже знаем, что страсть к литературе пробудилась в Чехове очень рано и была весьма стойкой.

Есть трогательный рассказ о том, что первый же свой гонорар Чехов истратил на именинный пирог матери. Очень может быть, что Антоша купил этот пирог на гонорар, полученный из «Стрекозы». Но не это важно — важно то, что «Письмо к ученому соседу» в истории многих писательских дебютов занимает совершенно исключительное место как произведение, написанное в такой уверенной и определенной манере, которая свидетельствовала о необычайной — для возраста автора — художнической зрелости. «Письмо к ученому соседу» является пародией на одно родственное письмо, хранившееся в чеховской семье, а, может быть, и литературным изложением той «лекции», с которой выступал Чехов-гимназист, изображая ученого профессора. Вероятно, в состав дебютного произведения начинающего Чехова вошло то и другое, но важен основной элемент, составляющий стилевой стержень «Письма» — его пародийное звучание. Не менее замечательно, что в том же номере «Стрекозы», в котором помещено «Письмо к ученому соседу», напечатана и вторая вещичка Чехова под заглавием: «Что чаще всего встречается в романах». Здесь чувствуется необычайной остроты писательский глаз и слух, не терпящие штампа и шаблона.

Но его «многописание» знает срывы, часто отмечается отсутствием вкуса и наличием того самого шаблона, который был так зло им высмеян с первого шага в литературе. И это понятно, — втянувшись в журнальную работу, всегда срочную и всегда выполняемую на потребу заказчика, Чехов часто неудачно острил и, что хуже, охотно удовлетворял грубые вкусы

читателей «Стрекозы» и «Зрителя». Кто поверит, что именно Чехову принадлежат такие афоризмы:

«Проданная лошадь передается при помощи полы, из чего явствует, что бесполый человек лошадей ни продавать, ни покупать не может».

«Статистики знают, что курица не птица, кобыла не лошадь, офицерская жена не барыня».

Антоша Чехонте отдал дань и грубейшему шовинизму: осмеяние татар, армян, в особенности же евреев, было одной из постоянных тем юмористики «Будильников» и «Развлечений». Вот, например:

> «Заявление зубного врача Гвалтера: до сведения моего досло, сто мои пачиенты принимают недавно прибывшего зубного врача Гвалтера за меня, а потому имею цесть известить, сто я зиву в Мошкве и просу моих пачиенты не смешивать меня с Гвалтером. Не он Гвалтер, а я — Гвалтер. Вставляю зубья, продаю социненный мною толценный мел для чистки зубьев и имею самую больсую вывеску. Визиты делаю с белым галстуком. Зубной врач при зверинце Винклера — Гвалтер».

Все это писалось спустя рукава, не задумываясь. И не это составляет смысл и значение творчества Чехова эпохи Антоши Чехонте: важно и ценно — та брыжущая веселость, которой был полон молодой Чехов. В. Г. Короленко вспоминает, как Чехов говорил ему, что «начинал литературную работу почти шутя, смотрел на нее частью как на наслаждение и забаву, частью же как на средство окончания университетского курса и содержания семьи». И Короленко передает такой разговор:

«Знаете, как я пишу свои маленькие рассказы? Вот, — он оглянул стол, взял в руки первую попав-

шуюся на глаза вещь,— это оказалась пепельница,— поставил ее передо мною и сказал:

— Хотите, — завтра будет рассказ... Заглавие «Пепельница»?

И глаза его засветились весельем. Казалось, над пепельницей начинают уже роиться какие-то неопределенные образы, положения, приключения, еще не нашедшие своих форм, но уже с готовым юмористическим настроением».

В пору своего шатания по журнальчикам Чехов был увлечен и драматургической формой. Студентом второго курса он писал драму с конокрадами, стрельбой, женщиной, бросающейся под поезд. Переписывал брат Миша и у него «от волнения холодело под сердцем». Антон отнес пьесу М. Н. Ермоловой, рассчитывая, что она возьмет ее для своего бенефиса. Увы, он принес ее обратно и запрятал в стол. Пьеса была извлечена из его архива и напечатана лишь в 1920 году.

Его рассказы делались известными. В 1883 году Антон пишет брату Александру: «Становлюсь популярным и уже читал на себя критику». А сотрудник «Осколков» и «Стрекозы» В. Д. Сушков в письме от 10 мая 1883 года говорит А. П. Чехову: «В недолгое время Вы своими трудами очень выдались из числа рядовых литературных тружеников и рабочих. Стали, без сомнения, известны в редакциях как молодой, даровитый и много обещающий в будущем писатель».

В это же время Чеховым была сделана попытка выпустить сборник рассказов, обложку для которого рисовал брат Николай. Сборник должен был называться «На досуге». Но он так и не вышел в свет. Было напечатано несколько листов, а вся книга была разобрана в типографии, вероятно, в виду задержки обусловленной платы. Некоторые из рассказов этого

сборника вошли в книгу Антоши Чехонте «Сказки Мельпомены», вышедшую в середине 1884 года. Она была напечатана в кредит с уплатой впродолжении четырех месяцев со дня выхода.

«Сказки Мельпомены» встретили рецензентский отклик. В журнале «Театральный мирок» было отмечено: «Все шесть рассказов написаны бойким живым языком и читаются с интересом. Автор обладает несомненным юмором». А школьный товарищ А. П. Чехова, П. С. Сергеенко[7] поместил такой отзыв:

«Прочитал «Сказки Мельпомены» А. Чехонте. Удивился. Нигде и словечка не было сказано об этих сказочках... Книга очень интересная. Не знаю только, почему автор дал ей такое обманчивое название: оно вводит в заблуждение: мол «сказки», значит для детей, большому не годится заниматься сказками. А между тем рассказы А. Чехонте живьем вырваны из артистического мирка. Все они небольшие, читаются легко, свободно и с невольной улыбкой. Написаны с диккенсовским юмором: и смешно и за душу хватает. Автор, очевидно, человек молодой, еще не окреп, кое-где спешит, путается, но в общем овладевает вниманием читателя не менее рассказов Брет-Гарта. Всюду разлит юмор «без натуги» и Чехонте обращается с ним весьма осторожно, как оно и следует...».

„Литературная купель"

В истории сотрудничества Чехова в юмористических журналах восьмидесятых годов самое видное место принадлежит его работе в петербургских «Осколках». «Осколки» издавались и редактировались Н. А. Лейкиным. Это был популярный в купеческой и мещанской среде писатель, обладавший несомненным, но

очень грубым, неотесанным талантом, темперамент которого шел на потребу его невзыскательных читателей, — пошлость их вкусов оказала свое несомненное влияние и на писания Лейкина. Он начинал свою литературную карьеру в шестидесятых годах, сотрудничал в сатирической «Искре» и в «Современнике», помещая очерки и рассказы из купеческой жизни. В произведениях этого периода Лейкин был в числе, если не радикальных, то либеральных литераторов своей эпохи. Став издателем и разбогатев, он отошел от передовых взглядов людей шестидесятых годов и повел свои «Осколки» в том самом «юмористическом» направлении, которое было прочно усвоено в годы, когда под бдительным оком цензуры сатира, имевшая яркое общественное значение, мельчала и превращалась в откровенное зубоскальство, не лишенное подленьких черточек шовинизма в духе высокого «патриотизма». И все-таки «Осколки» отличались от прочих изданий этого рода некоторой литературной порядочностью, чем выгодно выделялись от своих московских собратий.

Поэт Илиодор Пальмин, некогда очень популярный своими гражданскими стихами, постоянный сотрудник «Осколков», рекомендовал Лейкину Чехова. Он подробно рассказывает в письме Чехову о своем разговоре с редактором «Осколков», который жаловался на отсутствие талантливых сотрудников для его журнала. «Я, — пишет Пальмин, — указал ему на вас, так как читал некоторые ваши хорошенькие, остроумные вещицы, на которые обратил внимание среди действительно бездарной, бесцветной и жидкой бурды московской. Он просил меня познакомить его с вами, хотя заочно, так как он сам пробыл в Москве всего сутки с небольшим. Свою карточку, лично им загну-

тую, просил он меня передать вам в знак того, что, как будто, он сам лично был у вас и просил меня пригласить вас сотрудничать в «Осколках». В материальном отношении, конечно, много нельзя заработать в «Осколках», так как журнал по объему ограничен, но плата в высшей степени аккуратна и добросовестна. Журнал честный, с хорошим либеральным направлением. В цензурном отношении там несколько легче дышится, чем здесь, что вы, вероятно, уже могли видеть, если когда-нибудь проглядывали «Осколки».

Пишите туда рассказики, повести, очерки, заметочки, всякую всячину. По величине все небольшое, но количественно чем больше, тем лучше. Печатать вас будут скоро».

Приглашение Лейкина Чехов принял с радостью. Начинается его пятилетнее сотрудничество в «Осколках». «Осколки» были в высшей степени легкомысленным журнальчиком, который не прочь был воспеть «глазки черные, глазки голубые, пунцовые ротики и белые шейки, крошки-ручки и тяжелые жгуты русой косы». Но Лейкин иногда рисковал печатать и вещички с критикой полицейских порядков, с «сатирой» на взяточничество, вымогательство, растраты и кражи общественных денег. И эти «цветы невинного юмора» вызывали неукротимый цензорский гнев. Иногда из номера вылетала чуть ли не половина статей. Вот, например, одно из писем Лейкина к Чехову: «Вы спрашиваете, что случилось с «Осколками московской жизни», посланными вами для четвертого номера журнала? Случилась беда. Не будь запасного набора, я не мог бы составить номера. Целый погром. Цензор все захерил: и ваших «Зверей» и стихи Трефолева, стихи Гиляровского [8], половину обозрения Билибина,

и мой фельетонный рассказ, и анекдоты, и копилку курьезов и московскую жизнь... И это еще не все: сам журнал едва уцелел. На утро я был вызван в цензурный комитет и председатель Кожухов (он из Москвы) объявил мне, что журнал будет запрещен, если я не переменю направления, что цензор вымарывает статьи, но против общего направления, против подбора статей он ничего не может сделать, и что тут виноват редактор. Объявил мне также, что начальник Главного управления по делам печати вообще против сатирических журналов, и не находит, чтобы они были необходимы для публики, что... и т. д. Громы разверзлись страшные».

Конечно, это был целый погром. Чехов так это и расценивает в своем ответе Лейкину:

«...Погром на «Осколки» подействовал на меня, как удар обухом... С одной стороны, трудов своих жалко, с другой — как-то душно, жутко... Конечно, вы правы: лучше сократиться и жевать мочалу, чем с риском для журнала хлестать плетью по обуху. Придется подождать, потерпеть... Но думаю, что придется сокращаться бесконечно. Что дозволено сегодня, из-за того придется съездить в комитет завтра и близко время, когда даже чин «купец» станет недозволенным фруктом. Да, неприятный кусок хлеба дает литература, и умно вы сделали, что родились раньше меня, когда легче и дышалось и писалось».

В «Осколках» по предложению Лейкина начал писать Чехов и публицистические фельетоны, под рубрикой «Осколки московской жизни».

Это предложение он принял несколько нерешительно — то, что писалось в «Осколках» в Москве казалось Чехову мелочным, сухим и небрежным. И он колебался, не зная сумеет ли и он избавиться от

этих недостатков. «Не буду слишком мелочен, не стану пробирать грязных салфеток и маленьких актеров», — обещал он Лейкину. И замечал, что он «нищ наблюдательностью текущего и несколько общ, а последнее неудобно для заметок».

Надо прямо сказать, что «Осколки московской жизни» Рувера и Улисса (эти псевдонимы Чехов сохранял лишь для фельетонов в «Осколках») слабы. В них трудно узнать не только Чехова, но и Антошу Чехонте. Тон вымученный, юмор тяжеловатый, сообщаемые факты почти всегда лишены общественной значимости и на многом лежит отпечаток развязного легкомыслия не без шовинистических оттенков. Он мучительно искал тем, и погружающаяся в обывательскую тину Москва, после общественного подъема недавних годов переживающая тяжелое похмелье, ничего интересного и заслуживающего внимания публициста-сатирика не давала.

Мы постоянно читаем в письмах Чехова жалобы на отсутствие материала. «Кроме самоубийств, плохих мостовых и манежных гуляний, Москва не дает ничего» — пишет, например, Чехов и сообщает, что пойдет к московскому «обер-знайке» Гиляровскому, «сделавшемуся в последнее время царьком московских репортеров» попросить сырого материала. «Я пожалуй могу, — говорит Чехов, — написать про думу, мостовые, про трактир Егорова. Да что тут осколочного, интересного?»

И все-таки приходилось писать и про думу, и про мостовые, и про трактир Егорова, и про пьяных купцов, которые съели ученую свинью клоуна Танти, и о грязном деле миллионера Солодовникова, отказавшегося платить алименты, и об опереточных актерах, и о желтой прессе и об «отцах города», отвер-

гающих проект закона о праздничном отдыхе для магазинных мальчиков. Редко когда тон этих фельетончиков начинает звучать подлинно сатирическими нотами. В них, правда, есть одно достоинство — нет той «подлости», на которую так жалуется Чехов, говоря о нравах в мелко-журнальной и газетной среде.

Чехов не поднялся в своих фельетонно-осколочных писаниях на уровень, резко отделяющий его от собратий по перу, работающих в юмористической прессе. Объяснение этому следует искать в том, что в пору своего шатания по журнальчикам Чехов еще не переживал процесса «выдавливания рабьей крови». То мещанство, с которым он на протяжении всей своей жизни поведет борьбу, раз навсегда покончив с традициями косной среды, — это мещанство еще проявлялось в Чехове в эпоху работы для «Осколков». Но в его маленьких рассказах уже звучала ненависть к тупой сытости, к пошлости, к обывательщине. В чеховских новеллах вставал опозоренный и унижаемый человек, и та жгучая сила подлинной сатиры, которая совершенно отсутствовала в «Осколках московской жизни», чувствовалась в беллетристике Антоши Чехонте.

И разве только смешон этот рассказ о банщике («В бане»), который принял диакона за человека «с идеями» и извинился перед ним? Какая же это была страшная жизнь, когда нужно было б о я т ь с я и м е т ь и д е и»? И еще — «Упразднили»: человек с упраздненным чином прапорщика считает себя вычеркнутым из жизни. У п р а з д н и л и г л у п о е з в а н и е — у п р а з д н и л и ч е л о в е к а. А чиновник Червяков чихнул на лысину генерала, даже не «своего» — из чужого департамента — и с о с т р а х а у м е р! (Рассказ «Смерть чиновника».)

В публицистике Чехова нет ни опозоренного, ни униженного человека. Да он и не делал попыток насытить свои фельетоны сатирической желчью, зная, что эти поползновения были бы пресечены и бдительной цензурой, и не менее бдительным Лейкиным.

Был ли у Чехова вообще темперамент публициста? Конечно, был. И он засверкал в «Сахалине». Но эта книга о русской каторге писалась тогда, когда процесс выдавливания «рабьей крови» уже развернулся со всей силой.

Н. А. Лейкин очень ревниво относился к сотрудничеству Чехова, и постоянно делал ему выговоры, как только встречал подпись Чехонте в каком-нибудь из конкурирующих с «Осколками» издании. Чехову приходилось отписываться, просить не сердиться и приводить такие оправдания: «Человек я семейный, неимущий, деньги надобны. В «Развлечении» платят мне 10 копеек со строки. Мне нельзя зарабатывать менее 150—180 рублей в месяц, иначе я банкрот». Он был прав, потому то «Осколки» и не могли быть единственным источником существования Чехова. По сохранившимся конторским книгам «Осколков» можно совершенно точно установить его гонорары. Так, за весь 1886 год, — очень продуктивный, — достаточно сказать, что только в двенадцати номерах журнала за этот год нет чеховских вещей, — он получил всего 642 руб. 48 коп. Правда, Лейкин устроил Чехову сотрудничество в «Петербургской газете», в которой он начал с отчетов по делу о крахе Скопинского банка и в которой напечатал много маленьких рассказов. Но рекомендовав Чехова «Петербургской газете», Лейкин в то же время всячески «подставлял — как пишет Чехов — ему ножку».

Чехов быстро понял истинную природу Лейкина.



А. П. Чехов начала 80-х годов
Портрет работы Н. П. Чехова (***масло***)

Из собр. Лит. музея при б-ке СССР им. Ленина



Н. А. Лейкин

«Это добродушный, безвредный человек, но буржуа до мозга костей... Лисица каждую минуту боится за свою шкуру, так и он. Тонкий дипломат». Но скоро он снимает с Лейкина и последний оттенок добродушия и безвредности. В письме к брату Александру он прямо противопоставляет Лейкину его сотрудников, говоря, что «по счастливой игре случая все его сотрудники, в силу своей воспитанности, тряпки, кислятины, говорящие о гонораре, как о чем-то щекотливом, в то время как сам Лейкин хватает зубами за икры».

Воскресенск и Бабкино

Материальное положение семьи, благодаря Антону, за эти годы значительно улучшилось. Уже не было надобности держать нахлебников и можно было нанять приличную квартиру. В письме к дяде Митрофану Егоровичу Чехов в таких выражениях описывает свое житье:

«Капитала, конечно, не нажил и не скоро наживу, но живу сносно и ни в чем не нуждаюсь. Если буду жив и здоров, то положение семьи о б е с п е ч е н о. Купил я новую мебель, завел хорошее пианино, держу двух прислуг, даю маленькие музыкальные вечерки, на которых поют и играют... Долгов нет и не чувствуется в них надобности. Недавно забирали провизию (мясо и бакалею) по книжке, теперь же я и это вывел и все берем за деньги. Что будет дальше неведомо, теперь же грешно жаловаться».

Не надо забывать, конечно, что письмо адресовано Митрофану Егоровичу, что, в свою очередь, сказалось и на самом описании быта чеховской семьи. Чехов в своей переписке всегда находит форму, наиболее

понятную для того, кому пишет. Он как бы начинает говорить его языком. Вряд ли написал бы Чехов кому-нибудь другому о «двух прислугах», о «музыкальных вечерках» и т. д. Письмо выдержано в тоне, понятном дяде Митрофану, который порадуется за племянника, узнав, что он не делает долгов и забирает мясо и бакалею не по книжке, а за деньги. Да, конечно, так Чехов не сказал бы, но разве не чувствуется в письме к дяде и личное отношение Чехова к изменившимся условиям жизни? Несомненно, что его радует и пианино, и возможность иметь прислугу, и музыкальные вечера. Радует потому, что тяжелая нужда побеждена! А Чехову было необходимо ее победить, ведь он инстинктивно стремился к жизни, полной комфорта, а комфорт входил обязательным элементом в чеховское восприятие культуры. И он скоро получил возможность близко соприкоснуться с таким строем жизни, в котором внешняя культурность имела огромное значение. Чеховы познакомились с семьей помещика Киселева, племянника известного дипломата графа Киселева. Киселеву принадлежало имение Бабкино в нескольких верстах от Нового Иерусалима и Воскресенска, куда Чеховы выезжали летом гостить у Ивана Павловича Чехова, учителя воскресенской школы. В 1885 году Чеховы сняли флигель в усадьбе Киселевых.

В Воскресенске, а затем в Бабкине, Чехов впервые сошелся с новым для него кругом людей. Ведь он отчетливо сознавал, что среда мелких газетных работников, с которой его связывало профессиональное писательство, была средой мало уважаемой. Так, в письме к брату Александру в 1883 году, сообщая о смерти своего «друга и приятеля» литератора Ф. Ф. Поподугло, он говорит, что «умер Федор Фе-

досеевич от алкоголя и добрых приятелей. Неразумие, небрежность, халатное отношение к жизни своей и чужой,— вот отчего он умер 37 лет от роду». Поподугло, о котором Чехов отзывается, как о «литературном старожиле», был типичным представителем газетно-журнальной среды. Эта среда была ненавистна Чехову. Он и брату советовал отречься от имени, которое носят «уткины и кичеевы» [9]. Так и написал с маленькой буквы фамилии этих газетно-журнальных деятелей Москвы восьмидесятых годов. А ведь имя, которое они носили, это и было имя г а з е т ч и к а, но газетчик, в чем Чехов не раз убеждался, значит, «по меньшей мере жулик». И Чехов скорбит, что он в «ихней компании», работает с ними, «руку пожимает» и «говорят, издали стал походить на жулика». Он скорбит и «надеется, что рано или поздно изолирует себя». «Я газетчик, потому что много пишу, но это временно... оным не умру. Коли буду писать, то непременно издалека, из щелочки, не завидуй, братце, мне. Писание, кроме дерганья, ничего не дает мне».

Правда, эта резкая характеристика сделана в 1887 году, когда «многописание» было уже почти оставлено Чеховым. Но и в разгар своего шатания по журнальчикам Чехов понимал, что он не только газетчик. Он знал, что его рассказы «не подлы и, говорят, лучше других по форме и содержанию». «На литературных вечерах, — пишет он брату, — рассказывают мои рассказы, но лучше с триппером возиться, чем брать деньги за подлое, за глумление над пьяным купцом и т. д. Чорт с ними». В этих строках не только презрение к «жуликам», но и к содержанию того, что составляет основу писания «жуликов». Глумление над пьяным купцом, — это ведь и есть одна из излюбленных тем «Осколков»!

Но обязательства, связанные с условиями постоянной работы в юмористических изданиях, неизбежно заставляли Чехова быть, как он выражается, в «ихней компании». У него было мало знакомств в других слоях. Общество, с которым он сблизился в Воскресенке, и в особенности в Бабкине, было совсем иным. В Воскресенске жил известный славянофил П. Д. Голохвостов, занимавшийся вопросом о земских соборах, его жена была писательница, в городе стояла батарея, с офицерами которой сошелся Чехов, причем надо заметить, что артиллеристы среди офицерства являлись наиболее передовыми. А в двух верстах от Воскресенска была Чикинская больница, которой заведывал популярный земский врач П. А. Архангельский. Здесь Чехов близко сошелся с известными впоследствии врачами Сиротиным, Таубером, Яковлевым. Это были интеллигентные люди, интересовавшиеся литературой, выписывавшие все толстые журналы. Такую же культурную среду нашел Чехов и в Бабкине. Жена Киселева, Марья Владимировна, была дочерью директора императорских театров, В. П. Бегичева. Она писала рассказы для детей, не будучи писателем-профессионалом. Интересы семьи сосредоточивались вокруг литературы и искусства. В Бабкине постоянно музицировали, гостивший у Киселевых знаменитый тенор Владиславлев пел романсы, В. П. Бегичев увлекательно рассказывал об артистах, художниках и музыкантах. Между прочим, Бегичев дал Чехову темы для рассказов «Смерть чиновника» и «Володя».

Это была культурная дворянская семья. И, несомненно, что этот вполне барский строй жизни, как во внешнем, так и во внутреннем ее укладе, не мог не влиять на Чехова, выходца из глубоко мещанской

среды. В семье Киселевых Чехов находил то, что ему недоставало в его детстве и юности — культуру, воспитанность. И он воспринимал дворянские традиции, отнюдь не либерального оттенка, — сам Киселев был земским начальником, — еще не умея критически относиться к ним.

Бабкинская полоса — летние месяцы 1885-1886-1887 годов — очень отметная в биографии Чехова. И не только потому, что в Бабкине написан целый ряд замечательных маленьких рассказов, но и потому, что соприкосновение с укладом новой для Чехова жизни оказало свое несомненное воздействие на те пути, по которым шло развитие его личности. В процессе освобождения от «рабьей крови» Бабкино сыграло свою роль. И еще отметит биограф, что бабкинская полоса относится к той эпохе жизни Чехова, когда он был весел и полон молодых творческих сил.

В Бабкине крепла и его дружба с художником Левитаном [10], которого Чеховы устроили вскоре на лето к тем же Киселевым. О бабкинской эпохе М. П. Чехов рассказывает так: «Благодаря жизнерадостности и природы и милых обитателей, Антон Павлович и сам был жизнерадостен. Он писал. критики его хвалили, сулили ему хорошее будущее, он был здоров. Иногда он дурил. Бывало, в летние вечера он надевал с Левитаном бухарские халаты, мазал себе лицо сажей и в чалме с ружьем выходил в поле по ту сторону реки. Левитан выезжал туда же на осле, слезал на землю, расстилал ковер, и как мусульманин, начинал молиться на восток. Вдруг из-за кустов к нему подкрадывался бедуин — Антон Павлович и палил в него из ружья холостым зарядом. Левитан падал навзничь. Получалась совсем восточная картина. А то, бывало, судили Левитана.

Киселев был председателем суда, Антон Павлович прокурором, для чего специально гримировался. Оба были в мундирах, шитых золотом. Антон Павлович говорил обвинительную речь, которая всех заставляла умирать от хохота».

Этика „воспитанности"

Биограф А. П. Чехова — его брат Михаил, рассказывая о приезде Антона в Москву по окончании гимназии, замечает, что в доме «воля Антона сделалась домирующей. В нашей семье появились вдруг неизвестные мне дотоле резкие отрывочные замечания: «Это неправда», «Нужно быть справедливым», «Не надо лгать» и т. д.».

Эти строки очень выразительны для образа Чехова. Духовно выраставший без семьи, и за годы своего таганрогского одиночества упорно работавший над собой, — ему тогда очень помогали советы старшего брата Александра, — Чехов приобретал такие моральные основы, которые шли в разрез с мещанскими традициями семьи. Ведь и Михаил Чехов, в биографических очерках которого стыдливо замалчивается мещанская атмосфера семьи, свидетельствует, что в доме с приездом Антона впервые появились неизвестные замечания о правде, справедливости, о том, что не надо лгать.

Если дебют Чехова-писателя замечателен той зрелостью творческой мысли, которая сказалась на первых же его вещах, то не менее замечательна для характеристики чеховской личности та прямота суждений, которая сказалась уже и в этих замечаниях, обращенных к семейным. Молодой Чехов не скрывает своей брезгливости к такому укладу жизни, в кото-

ром господствует ложь и где допускают несправедливость.

Брат Александр, имевший в гимназическую пору такое значение, потерял в глазах Антона свою недавнюю авторитетность. Александр Чехов был человек сложный и глубоко дисгармоничный. Одаренный блестящими способностями и имевший все данные для того, чтобы стать писателем, он быстро опустился, метался из стороны в сторону и не оставил никакого следа в литературе. Так и остался «братом Антона Чехова». Он умел мыслить независимо, питал острую ненависть к мещанству, презирал «таганрогские обычаи» и был первым нравственным авторитетом для Антона. Но он не умел бороться с жизненными затруднениями, легко поддавался отчаянию и, страдавший болезнью многих русских талантливых людей — алкоголизмом, опускался все ниже и ниже. Вскоре роли переменились — Антон приобретает в глазах Александра тот же нравственный авторитет, который еще так недавно принадлежал Александру. Антон кончал университетский курс, а Александр бросил Москву и стал чиновником таганрогской таможни. Когда-то помогавший Антону устраивать его рассказы в юмористических журналах, он сам теперь обращается за поддержкой к Антону, и Антон усердно ходатайствует за брата в редакциях «Осколков» и «Будильника». Переписка, возникшая между братьями, интересна однако с другой стороны. Александр часто жалуется на свое одиночество, горько сетует на братьев, будто бы его забывающих, и незаметно для самого себя впадает в тот тон прекраснодушия, слезливости и паточности, от которого он некогда предостерегал Антона, вместе с ним издеваясь над высокопарными посланиями дядюшки Митрофана

Егоровича. А Антон, в ответ на эти слезницы, очень прямо и очень решительно спорит с братом по самому существу затрагиваемых вопросов. Прежде всего, он негодует на тон письма. Да это и не письмо, а «целый манифест», который по слезливости соперничает с дядиным. Затем Антон обрушивается на брата за его неумение помогать слабым людям. Речь идет о брате Николае — талантливом художнике, но очень нестойком человеке, у которого ни за грош пропадает талант. Так вот, вместо того, чтобы читать нотации и слезоточить, нужно было бы потолковать о его живописи и подействовать на истинно человеческое чувство. «Слабых людей не следует угощать жалкими, тоскливыми словами. От этого слабый человек только раскиснет и больше ничего. Надо найти хорошее и сильное слово». Это наставление говорит о том здоровом отношении к людям, которое росло в Чехове. Чехов часто казался жестким, холодным. Но это только потому, что он боялся сантиментальности и слезливости. И эта боязнь была в нем настолько сильна, что в известной мере она и на самом деле сделала его как бы равнодушным к людям. Он боялся разжалобиться и потому замыкался в самого себя, одевал некую броню, защищавшую его от слезниц и жалоб.

И в том же письме к Александру, в котором речь идет об отношении к слабым людям, — есть замечательные строки о необходимости воспитать в себе чувство гордой независимости. Брат Александр жалуется, что его не понимают. Ему крайне важно знать, как о нем думают братья, отец, а Антон восклицает: «Да какое тебе дело! Тебя не поймут, как ты не понимаешь отца, как раньше не понимал отцовское чувство, не поймут, как бы близко к тебе ни

стояли. Да и понимать незачем. Живи, да и шабаш. Сразу за всех чувствовать нельзя».

Брат Александр желает, чтобы вся семья переживала за него и как только видит, что к его чувствам остаются равнодушными, начинает ныть. Дело в том, что «равнодушными» остались в семье Чеховых, узнав о том, что Александр стал отцом семейства, причем семья его, как говорили тогда, была «незаконной». Он не венчан в церкви. Его чрезвычайно волнует, как к этому факту отнесутся дома, а Антон решительно заявляет: «А я бы на твоем месте, буде я семейный, никому бы не позволил не только свое мнение, но даже желание понять, это мое «я», мой департамент, и никакие сестрицы не имеют права совать свой, желающий понять и умилиться, нос. Я бы и писем о своей отцовской радости не писал. Не поймут. А над манифестом посмеются и будут правы».

Сам Чехов никогда никому «манифестов» не писал, а о радостях и огорчениях сообщал только самое существенное, в выражениях лаконичных и только констатирующих самый факт. И потому еще, что в нем до болезненности было развито чувство деликатности, — он боялся своими исповедями кому-нибудь помешать, причинить лишнее огорчение. Но и на него самого неприятно действовали всякого рода излияния, объяснения, пространные рассуждения на «высокие темы». Он хотел бы никогда не слышать человеческих жалоб! Все эти душевные свойства Чехова определились в нем, конечно, не сразу. Шел трудный и сложный процесс воспитания личности, шел по двум направлениям — в освобождении от рабьих, мещанских традиций, и в приобретении собственных точек зрения, собственных взглядов, вне всякой зависимости от прежних авторитетов. Но и это письмо к Алек-

сандру, датированное 1883 годом, когда Чехов еще только начинал осознавать процесс «выдавливания рабьей крови», замечательно: весь его спор с Александром говорит о необычайной возмужалости, об удивительной зрелости суждений, а ему ведь всего двадцать три года!

В истории взаимоотношений Чехова с его семьей особое место занимает отец — Павел Егорович. Мы знаем, что он глубоко и нежно любил мать и это звучит в его письмах к Евгении Яковлевне. Но как он относился к отцу? В одном из ранних писем к двоюродному брату М. М. Чехову — Антон говорит, что ближе нет для него людей, чем мать и отец: «Славные они люди!» Но к отцу, кроме одной записки, нет ни одного письма Чехова. И по воспоминаниям близко знавших Чехова можно, кажется, утверждать, что, сохранив к отцу сыновнее уважение, он не питал к нему горячего чувства. Павел Егорович был для него носителем тех косных, мещанских традиций, с которыми он боролся всю жизнь. Одной из таких «традиций» было систематическое физическое воздействие на детей. Павел Егорович сек и Антона и его братьев, и мальчиков, служивших в лавке, считая порку и битье совершенно естественными, необходимыми.

Ненависть к насилию, в чем бы оно ни выражалось, проснулась в Чехове очень рано. Вряд ли простил он отцу его систему «воспитания»! И характерно, что в самых ранних рассказах Чехова фигурирует порка, как, например, в рассказе «За яблочки» или в целом ряде миниатюр, в которых порят и бьют детей («Случай с классиком» и др.).

Но не питая нежности к отцу, Чехов очень трезво оценивал его достоинства и недостатки. Он понимал,

что отец — натура талантливая, и говорил, что талант в их семье от отца, а сердце от матери. Но он знал, что Павел Егорович — человек старых навыков, старых взглядов. Он «такой же кремень, как раскольники и ничем не хуже, и не сдвинешь его с места. Это его, пожалуй, сила». И нужно отдать справедливость Павлу Егоровичу — он быстро понял, что в каком-то смысле «кремень» и Антон, и, как только убедился, что у Антона достаточно нравственной силы, чтобы стать авторитетом для всей семьи, он без боя сдал все свои позиции. Старшим в семье стал Антон.

В ряду тех моральных проблем, которые разрешал для себя Чехов, один вопрос волновал его особенно — вопрос о «воспитанности». Чехов рано стал осознанно относиться к тому, что он не получил в семье такого воспитания, которое могло бы удовлетворить его высшим запросам. В понимании Чехова воспитание выражается не внешними признаками, не тем, как ведет себя человек в обществе — как он ест, пьет, здоровается. Нет, воспитание основано на каких-то моральных элементах, и Чехов знает на каких.

В огромном письме к брату Николаю изложен целый кодекс тех моральных основ, которые определяют для Чехова понятие воспитанности. Воспитанные люди «уважают человеческую личность, а потому всегда снисходительны, мягки, вежливы, уступчивы, они сострадательны не к одним только нищим и кошкам. Они болеют душою и от того, чего не увидишь простым глазом... Они уважают чужую собственность, а потому и платят долги... Они чистосердечны и боятся лжи, как огня. Не лгут они даже и в пустяках... Они не рисуются. Они не пускают пыль в глаза меньшей братии... Они не болтливы и не лезут с от-

кровенностями, когда их не спрашивают... Они не суетны... Если они имеют в себе талант, то уважают его... Они жертвуют для него покоем, женщинами, вином, суетой. Они горды своим талантом... Они воспитывают в себе эстетику. Они не могут уснуть в одежде, видеть на стене щели с клопами, дышать дрянным воздухом, шагать по оплеванному полу, питаться с керосинки... Они стараются возможно укоротить и облагородить половой инстинкт... Они не трескают походя водку, не нюхают шкафов, ибо они знают, что они не свиньи».

Вопрос о «воспитании» возник благодаря поведению брата Николая.

«Добрый до тряпичности, великодушный, чуждый зависти и ненависти, простодушный, жалеющий людей и животных, не злопамятный, доверчивый»,— характеризует Чехов брата. Это бесспорные качества, но скверно то, что брат Николай не удовлетворяет условиям, которые определяют воспитанных людей. Все, на что указывает как на признаки воспитанности Чехов, не было свойственно Николаю. Он призывал его бороться с этими недостатками. «Чтоб воспитаться и не стоять ниже уровня среды, — убеждал Чехов, — недостаточно прочесть только Пикквика и вызубрить монолог из Фауста. Тут нужны беспрерывный дневной и ночной труд, вечное чтение, штудировка, воля».

Николай Чехов погиб быстро. Он был подвержен алкоголизму, что создало благоприятную почву для быстро развивавшегося туберкулеза, который и унес его в могилу. Те признаки воспитанности, которые не были свойственны Николаю, выражали сущность Антона Чехова. Первый признак воспитанности — «уважение к человеческой личности»; он был в полной

мере воспринят Чеховым. Не случайна запись в одной из его записных книжек: «какое счастье уважать людей!» Заметим: не любить, а уважать.

Чехов подчеркивает также особое отношение к таланту. Нужно, — говорит он, — уважать талант, гордиться своим талантом.

Чехов мог писать это только пройдя очень большой трудный путь как писатель. Он не сразу воспитал в себе чувство уважения к таланту, и мы увидим в дальнейшем, какое важное занимает место чувство осознания таланта в процессе освобождения Чехова от «рабьей крови».

Во-вторых, пункт — о воспитанных людях, как о людях эстетичных, — тех, которые не спят в одежде, не терпят щелей с клопами, не дышат дрянным воздухом, не шагают по оплеванному полу, не питаются с керосинки. О тех, эстетика которых требует укрощения полового инстинкта.

Эстетика в понимании Чехова — это свежесть, изящество, человечность. Эта мечта об изящной, красивой жизни, мечта о городах, в которых будут великолепные фонтаны, — прошла решительно через все фазы его творчества, потому что она выражала для него самое существенное, самое важное в той борьбе с пошлостью, грубостью, мещанством, которую он так мужественно вел всю жизнь. Мечта родилась от желанья вырваться из той среды, где люди мирятся и с клопами, и с дрянным воздухом, и с оплеванным полом... А все это и есть мещанский быт.

Так по линии прежде всего этической и будет развиваться весь процесс рождения в Чехове того нового человека, который «проснувшись в одно прекрасное утро чувствует, что в его жилах течет уже не рабская кровь, а настоящая человеческая».

Первая книга

Уважение к таланту, которое является, как мы видим, признаком воспитанного человека, отсутствовало в Чехове, когда он «многописал» в годы шатания по юмористическим журнальчикам. Писал «безмятежно, словно блины ел», признается он Билибину. Рукописи не перебелял и выработал в себе такую технику, что мог — на пари — в один присест написать рассказ без единой помарки. Мог писать и лежа в купальне.

Из множества рассказиков, наскоро «выпеченных», он отобрал, как казалось ему, лучшее и составил из них сборник, название которого, в известной мере, определяло и его содержание: «Пестрые рассказы».

Книга уже печаталась, как вдруг совершенно неожиданно Чехов получил письмо от Д. В. Григоровича [11]. Старый писатель говорил, что он «постоянно советовал Суворину и Буренину читать все, что написано Чехонте. Они меня послушали и теперь, вместе со мною, не сомневаются, что у Вас настоящий талант, талант, выдвигающий Вас далеко из круга литераторов нового поколения».

Д. В. Григорович убеждает Чехова бросить срочную работу «так как по разнообразным свойствам несомненного таланта, верному чувству внутреннего анализа, мастерству в описательном роде, чувству пластичности», он уверен, что Чехов призван к тому, «чтобы написать несколько превосходных, истинно художественных произведений». Он уверяет Чехова, что нужно «беречь впечатления для труда обдуманного, отделанного, писанного не в один присест, но писанного в счастливые часы внутреннего настроения. Один такой труд будет во сто раз выше оценен, чем

сотня прекрасных рассказов, разбросанных в разное время по газетам. Вы сразу возьмете приз и станете на видную точку в глазах чутких людей и затем всей читающей публики» (25 марта 1886 года).

Это письмо произвело огромнейшее впечатление на Чехова и в несвойственной ему манере «исповеди» он поспешил ответить Григоровичу. Он каялся «перед чистотой сердца» Григоровича в том что «не уважал» свой дар». Чувствовал, что он есть у него, но «привык считать его ничтожным». И он пытается разобраться в причинах этого неуважения. Прежде всего, он ссылается на своих близких, которые «не переставали дружески советовать не менять настоящее дело на бумагомарание». Никто среди его знакомых не видел в нем художника. И он привык смотреть на свою работу снисходительно, соглашаясь с теми, кто утверждал, что она мелка. И вторая причина — он врач и это сильно мешало ему как писателю. И все вместе взятое повело к тому, что он «относился к своей литературной работе крайне легкомысленно, небрежно, зря».

Чехов «не помнит, ни одного рассказа, над которым работал бы более суток». «Как репортеры пишут свои заметки о пожарах, так я писал свои рассказы. Машинально, полубессознательно, ни мало не заботясь ни о читателе, ни о себе самом. Писал я и всячески старался не потратить на рассказ образов и картин, которые мне дороги и которые я, бог знает почему, берег и тщательно прятал». Это очень важное признание, говорящее о том чувстве недовольства самим собой, которое помогло ему отрешиться от неуважения к таланту.

Но еще до получения письма Григоровича Чехов уже стал задумываться над ценностью своих произ-

ведений. В феврале 1886 года он поместил рассказ «Панихида» в «Новом времени» А. С. Суворина. С этого момента начинается его постоянное участие в «Новом времени» и долголетняя связь с Сувориным.

Об их взаимоотношениях мы еще будем говорить, а теперь отметим, что Чехов был чрезвычайно благодарен Суворину за то, что он не затруднялся оценкой и написал мотивированное мнение о рассказе.

Так дебют в «Новом времени» и письмо Григоровича стали опорными пунктами для развивающегося в Чехове чувства уважения к своему дару.

«Пестрые рассказы» вызвали целый ряд критических откликов, в общем благожелательных, но среди положительных оценок встречались и резко отрицательные. Так, Ф. Змиев писал в журнале «Новь»: «...просто изумительно до какой степени мало уважают читающую публику нынешние рассказчики, полагая, что она «все съест». Такие рассказы как, например: «Разговор с собакой», «Егерь», «Сонная одурь»; «Кухарка женится», «Репетитор», «Надлежащие меры» и многие другие — похожи скорей на полубред какой-то или болтовню ради болтовни об ужаснейшем вздоре, нежели на мало-мальски отчетливое изложение осмысленной фабулы...».

Дал отзыв в «Северном вестнике» и популярный тогда критик Скабичевский [12]. Этот отзыв в биографии Чехова занимает свое довольно отметное место. А. М. Горький вспоминал о том разговоре о критике, который вел с ним однажды А. П. Чехов, говоривший: «Критики похожи на слепней, которые мешают лошади пахать землю. Я двадцать пять лет читаю критику на мои рассказы, и ни одного ценного указания не помню, ни одного доброго совета не слышу,

только однажды Скабичевский произвел на меня впечатление: написал, что я умру в пьяном виде под забором».

Что же в действительности писал Скабичевский? Он начинает с предостережения о соблазнительности легкого заработка авторов мелких рассказиков, написанных в тоне «скоморошеских потех». Такие «рассказы производят грустное впечатление не потому, что они плохи, напротив, именно потому, что весьма многие из них обличают молодой, свежий талант, не лишенный юмора, чувства наблюдательности. Но вот человек начинает зарабатывать 400—500 рублей в месяц, талант бледнеет, писатель обращается в легкомысленного барабанщика, в смехотворного клоуна для потехи праздной толпы. Сперва таким работникам сопутствует успех, а потом, когда газетный писатель начинает терять популярность, так как переутомление берет свое, — то дело кончается тем, что он обращается в выжатый лимон и подобно выжатому лимону ему приходится в полном забвении умирать где-нибудь под забором, считая себя счастливым, если товарищи пристроят его за счет Литературного фонда в одну из городских больниц».

От этих общих примеров Скабичевский переходит непосредственно к рассуждениям о Чехове, которого он сожалеет и по адресу которого восклицает: «Как жалко, что при первом же своем появлении на литературном поприще он сразу записался в цех газетных клоунов». Правда, оговаривается критик, Чехов «в качестве клоуна держит себя очень скромно и умно — не впадая в скабрезность, чужд пасквильного элемента, не льстит, одним словом, никаким низменным инстинктам толпы...» Но критику именно поэтому еще более жалко Чехова. «Увешавшись побрякушками

шута, он тратит свой талант на пустяки и пишет первое, что придет ему в голову, не раздумывая долго над содержанием своих рассказов».

И вывод: «Вообще книга Чехова, как ни весело ее читать, представляет собою весьма печальное и трагическое зрелище самоубийства молодого таланта, который изводит себя медленной смертью газетного царства» («Северный вестник», 1886, книга 6).

Могла ли эта рецензия оскорбить Чехова? Могла. И напрасно пытаются некоторые исследователи творчества Чехова раннего периода взять под защиту Скабичевского. Кто спорит, что советы сердитого критика, предостерегающие молодые дарования от соблазнительности газетных легких заработков, полезны. Впрочем, сам Чехов еще до появления отзыва о его «Пестрых рассказах» болезненно ощущал необходимость срочного выполнения заказов редакций и знал, не хуже Скабичевского, какая участь ожидает «газетчиков» — ведь на его глазах умирал Ф. Ф. Поподугло, о котором действительно можно было бы сказать словами Скабичевского, что этот измотавшийся труженик мечтал, как о последнем счастье, устроиться в больнице, чтобы не погибнуть как выжатый лимон где-нибудь под забором. Нет, эти справедливые, хоть и глубоко риторические, рассуждения критика ничего, кроме досады, не могли вызвать в Чехове. Скабичевский признает за ним талант, но пророчит ему участь «клоуна из газетного цеха», и Чехов оскорблен, что он взят «за общую скобку». А ведь Чехов здраво и трезво смотрел на свое многописание. Но и при всей самокритике, в нем сильно развитой, вряд ли мог бы он согласиться со Скабичевским, что все рассказы в сборнике написаны с целью повеселить «почтеннейшую публику».

Среди семидесяти семи вещиц, помещенных в сборнике, мы с трудом наберем не больше десяти рассказиков, действительно ничтожных и составляющих тот пестрый сор, который самим Чеховым впоследствии был выброшен из редактируемого им собрания своих сочинений. В основе же книги такие перлы чеховского юмора, который моментами поднимается до яркости подлинной сатиры, как «Налим», «Толстый и тонкий», «Капитанский мундир», «Хамелеон», «Певчие», «Экзамен на чин», «Канитель» «Заблудшие», «Егерь», «Злоумышленник», «Мыслитель», «Отец семейства» (в сборнике этому рассказу дано название «Козлы отпущения»), «Кухарка женится», «Пересолил», «Шило в мешке», «Детвора», «Актерская гибель», «Анюта», «Лекция о вреде табака», «Иван Матвеевич» и две — поистине трагических — новеллы «Горе» и «Тоска».

Нет, у Чехова были все основания, чтобы навсегда запомнить рецензию. И несомненно, что старая обида чувствовалась в Чехове, когда, спустя много лет после появления отзыва Скабичевского, он говорил в письме к одному из своих знакомых: «Я Скабичевского никогда не читаю. Мне попалась недавно в руки его «История новейшей литературы», я прочел кусочек и бросил — не понравилось. Не понимаю, для чего все это пишется. Скабичевский и К⁰ — это мученики, взявшие на себя добровольный подвиг ходить по улицам и кричать: «Сапожник Иванов шьет сапоги дурно». Или: «Столяр Семенов делает столы хорошо». Кому это нужно? Сапоги и столы не станут от этого лучше. Вообще труд этих господ, живущих паразитарно около чужого труда и в зависимости от него, представляется мне сплошным недоразумением» (письмо к Ф. А. Червинскому, 2 июля 1891 года)

Маленькие рассказы

С 1880 по 1887 год включительно Чехов охотно писал маленькие рассказы. Маленькие рассказы, которые и до сих пор не утратили своего огромного значения. Конечно, многие юморески Чехова не преследуют никаких иных целей, кроме «смеха ради смеха», но если всмотреться даже и в эти, только лишь развлекательные рассказики, — разве взятые вместе не вскрывают они основную тему Чехова — его борьбу с пошлостью? Возьмем из массы напечатанных в одном только 1883 году рассказиков лишь три: «Дочь Альбиона», «Толстый и тонкий», «Торжество победителя». Очень смешные рассказы. Но какая грустная картина раскрывается перед нами. Какие ничтожные, пошленькие людишки, какие низменные интересы! Какая забитость, униженность! Какое забвение человеческого достоинства!

Встретились два приятеля. Тонкий и толстый. Была радостная встреча, но во что же она обратилась, когда оказалось, что «толстый — достиг степеней известных и стал действительным статским советником, а «тонкий» пребывает в мелких чинушах! Старый друг превратился в «его превосходительство» и «тонкий» залепетал чепуху, весь содрогаясь от почтения к своему школьному товарищу («Толстый и тонкий».)

Добродушный помещик удит рыбу и, жалуясь на прыщи, от жары появившиеся на его жирной спине, раздевается — показать приятелю. А в двух шагах — англичанка — гувернантка детей помещика. Его одергивают, а ему все равно — ведь это англичанка, она все равно ничего по-русски не понимает. А кроме того, она лицо подчиненное. Стоит ли стесняться гувернантки?! («Дочь Альбиона».)

На блинах у начальника маленький чиновничек ведет себя как собачонка, жаждущая подачки от хозяина — рысцой бегает вокруг стола, бегает и радуется: быть теперь ему столоначальником! («Торжество победителя».)

Вообще, если вдуматься в рассказы 1884-85, 1886-1887 гг., те же впечатления нахлынут на читателя. Вот — «герой» рассказа «Маска», пьяный безобразник, которого собираются вывести из клуба и не выводят, узнав, что это богатый купец. Вот вся уже разменявшаяся на цитаты — поистине классическая — «Жалобная книга». Вот страшный рассказ о голодном мальчике, которого, потехи ради, кормят пьяные устрицами («Устрицы».)

Выводят честного человека с веселой свадьбы — почтенного старика, который невольно разоблачает гнусную проделку: тот, кому дали четвертную на наем «свадебного генерала», деньги присвоил себе, а своего дядюшку привез к этим «приличным» людям, выдав его за нужного им генерала. И музыка играет туш, и веселая свадьба продолжается («Свадьба с генералом».)

Вот монументально высеченная фигура унтера Пришибеева, который считает себя вправе во все вмешиваться, во все входить, всем мешать, всем читать нотации, на все доносить и все давить своим унтер-офицерским авторитетом... Унтер Пришибеев — вот символ старой царской России! («Унтер Пришибеев».)

А этот портной, — который почувствовал величайшее счастье, когда был побит неким капитаном, у которого он попросил денег за сшитый мундир. Портной счастлив потому, что офицер поступил так, как поступали с ним «господа» в те счастливые, незабвен-

ные времена, когда он работал в Санкт-Петербурге и шил на генералов. В этой же глуши, куда занесла его несчастная судьба, нет господ. Мелюзга шьет платье, платит за него что положено и долго его носит. А капитан, и недели не прошло, как износил мундирчик, («Капитанский мундир».)

А мужичонка, который так «смешон» своими неуместными и пространными объяснениями о «шилишпере» и которого за отвинченную на железнодорожных путях гайку — понадобилась она на грузило — должен судебный следователь отправить в тюрьму («Злоумышленник»). Или этот нелепый извозчик, который мешает своим седокам рассказами о сыне, что умер в больнице, — о сыне, единственном кормильце дома. Идет старик ночью к лошаденке и все ей рассказывает. И, кажется, лошадь его понимает. «Кому повем печаль свою» — спрашивает эпиграф этого потрясающего рассказа («Тоска»). И отвечает рассказ: только не людям.

Из тесного и душного мирка человеческой пошлости вырывается Чехов к «очным ставкам с природой» — к берегу задумчивой реки и тогда звучит лирикой человеческой скорби рассказ о монахе, который так чудесно слагал акафисты и который умер, никем не понятый, и поэзия которого была прекрасной в этом скорбном мире (рассказ «Святою ночью»).

От взрослых, глупых и грубых, самодовольных и злых — хорошо уйти к детям. И в том же ряду юмористических маленьких рассказов Чехова — его замечательные рассказы о детях: «Детвора», «Кухарка женится», «Дома», «Событие», «Гриша».

Форма юмористического рассказа, от которого требуют Кичеевы, Лейкины и прочие редакторы веселых журнальчиков непременно смешных положений,

начинает утомлять Чехова. Внешне сохраняя рамки анекдота, «необыкновенного случая», забавного происшествия, он насыщает внутренне свои рассказы огромной выразительностью. Так, он пишет «Шампанское» — рассказ о человеке, который все потерял в жизни ради ничтожной женщины, «Спать хочется» — потрясающий рассказ о девочке-няньке, задушившей ребенка.

Появляются первые его рассказы о «лишних людях», у которых было много порывов, много мечтаний, много благородных раздумий, и не было только одного — силы, бодрости, ясного отношения к жизни. Таков рассказ «На пути», эпиграфом к которому поставлены слова Лермонтова о тучке, ночевавшей на груди утеса-великана... Тучкой — милым видением — промелькнула на пути скитальца Лихарева прелестная женщина, с волнением слушавшая его ночную исповедь. Наступило утро, метель улеглась и случайным спутникам надо ехать в разные стороны...

Тема об интеллигенте, рассуждающем, нерешительном, боящемся жизни, трусливо бегущем от ее призывов, поставлена в рассказе «Верочка», где молодая, прелестная, гордая девушка объясняется в любви землемеру, а землемер не знает, что ей на это признание ответить. Где-то в глубине души чувствует, что еще мгновенье — и он найдет слова, пойдет навстречу этому юному, чистому, непосредственному чувству. Но... секунда прошла, слова не сказаны, сердце не ответило другому сердцу.

А вот другая картина: лениво тащится товарный поезд — в составе вагон с быками. Ползет он медленно, сопровождающие груз на каждой станции дают взятки, но и взятки действуют плохо — быков привезли, когда цены на мясо упали, да и быки стали

тощими — еле на ногах стоят. И никто не волнуется, никто не возмущается. Все равнодушны. В жилах всех течет — холодная кровь. Так и назван рассказ.

И из этих невеселых очерков о невеселой русской жизни и о людях или потухшей, или холодной крови составился целый сборник. И название ему дал Чехов такое, которое раскрыло и все содержание его: «В сумерках».

Так уж намечался новый этап в творческой биографии Чехова. Так замолкал радостный смех Антоши Чехонте, самые веселые рассказы которого в условиях русской жизни должны были прозвучать так невесело. Кончалась эпоха Антоши Чехонте.

Многописанию и шатанию по журнальчикам пришел конец.

„Маленькие рассказы Чехова засверкали, как бриллианты..."

Чехов не сразу нашел форму для своего маленького рассказа. Новелла с законченным содержанием, с энергично развивающимся действием, сосредоточенным в конце, вырастала из анекдота, который был в моде и через воздействие которого прошел Чехов.

Кавалер объясняется в любви какой-то Марии Ивановне. Кавалер пылок, и с уст его срываются страстные признания:

«Я вас люблю. Увидев впервые вас, я понял, для чего я живу, я узнал цель моей жизни. Жизнь с вами — или абсолютное небытие. Дорогая моя Мария Ивановна, да или нет? Маня! Мария Ивановна! Люблю! Манечка... Отвечайте, или же я умру. Да или нет?»

Мария Ивановна «раскрывает свой ротик», чтобы сказать ему «да» и вдруг — вскрикивает:

На его белоснежных воротничках, обгоняя друг друга, бегут два большущих клопа... О, ужас!»

Это называется «Поэзия и проза».

Офицеру под Севастополем лопнувшей гранатой оторвало ногу. Офицер духом не пал и стал носить «искусственную конечность». Под Плевной ему оторвало другую ногу. Бросившиеся к нему на помощь солдаты и офицеры были крайне озадачены его спокойным видом:

«Вот дураки-то, — смеялся он, — только заряд потеряли даром... Того не знают, что у меня в обозе есть еще пара хороших ног».

Этот анекдот попал под рубрику, названную «О том, о сем».

А вот мелочишка из отдела «Финтифлюшки»: «Управляющий имением одного помещика доложил своему барину, что на его землях охотятся соседи и просил разрешения не дозволять больше подобного своевольства.

— Оставь, братец, — махнул рукой помещик, — мне много приятней иметь друзей, нежели зайцев».

Анекдот спешит за анекдотом. Одна «финтифлюшка» обгоняет другую. В юмористической рецептуре — «Домашние средства» читаем такой совет избавиться от блох: «Женись. Все твои блохи перейдут на жену, так как известно, что блохи охотнее кушают дам, чем мужчин».

Но Антоша Чехонте не случайно изобразил уходящий 1883 год в качестве «обвиняемого», который в своих объяснениях суду признался, что в бытность его на земле не было сделано ничего путного. «Выпускали ярлыки нового образца для бутылок, клали латки на лохмотья, заставляли дураков богу молиться, а они лбы разбивали. Журналы были бессодер-

жательны, в печати преобладал кукиш в кармане. Таланты словно в воду канули».

Издеваясь над старым годом, автор в то же время не возлагал больших надежд и на год грядущий. В другом месте и по другому поводу он же предсказывал, что в 1884 году «будет осуществлено много ерундистых речей и плохих статей о водоснабжении. Московские поэты напишут много прочувствованных стихотворений по адресу спящих гласных, кассиров, тещ и рогатых мужей. Сивый мерин, скорбя о падении печатного слова, побьет палкой какого-нибудь «нашего собственного корреспондента». Торжествующая свинья, в видах поднятия общественной нравственности, порекомендует упразднить уличные фонари... В общем будут скачки с препятствиями, торжество крокодилов, винт и выпивка».

Это уже не смешно. Это своего рода вопль, «вопль души» человека, обязанного развлекать веселыми рассказами и анекдотами неунывающих россиян.

Откровенным пользованием старым анекдотом, перелицованным на новый лад, и введением обычных «юмористических» персонажей (злая теща, обманутый муж, скверная мостовая, прогоревший антрепренер, вылетевший в трубу купец, адвокат-мошенник, запеченный в булку таракан, неработающий телефон и пр. и пр.) — вот чем отмечаются «мелочишки» Антоши Чехонте. Среди них попадаются и такие, в которых еще в очень робкой форме дана попытка откликнуться на общественную злободневность. Примечательно, что эти отклики почти всегда носят на себе отпечаток влияния Салтыкова-Щедрина. Так, в «Краткой анатомии человека» Антоша Чехонте дает следующее определение затылку: «Нужен одним только мужчинам на случай накопления недоимки. Орган для

расходившихся рук крайне соблазнительный». Или о так называемых «микитках»: «Орган в науке не исследован, по мнению дворников находится ниже груди, по мнению фельдъегерей — повыше живота». А вот совсем в стиле Салтыкова-Щедрина образ голавля в «трактате» «Рыбье дело»: «голавль — «рыбий интеллигент» — галантен, ловок, красив и имеет большой лоб. Состоит членом многих благотворительных обществ, читает с чувством Некрасова, бранит щук, но тем не менее поедает рыбешек с таким же аппетитом, как и щука, впрочем истребление пискарей и уклеек считает горькой необходимостью, потребностью времени... Когда в интимных беседах его попрекают расхождением слов с делом, он вздыхает и говорит: «Ничего не поделаешь, батенька! Не созрели еще пискари для безопасности жизни, и к тому же, согласитесь, если мы не станем их есть, то что же мы им дадим взамен?»

Так «осколочный» юмор Антоши Чехонте начинал насыщаться почти что салтыковской желчью. И недаром так ценил Чехов Салтыкова — ценил именно за то, что никто, кроме Салтыкова, не умел так язвительно говорить о «сволочном духе среднего русского интеллигента». Именно это осмеяние и поставил Чехов Салтыкову в особую заслугу. И кто знает — не будь вынужден Антоша Чехонте писать по заказу Лейкина свои «финтифлюшки» и имей он в качестве редактора не этого любимца купечества, а Салтыкова или Некрасова, не миновал ли бы он вообще «осколочную» пору своего писательства? Но эпоха была другая. Вот уже когда действительно бывали времена и хуже, но не было подлей. Поколению 60-х годов был дан «Гудок», «Свисток» и «Искры», а Чехову всего-навсего «Стрекоза», «Будильник» и «Осколки».

«Стрекоза», «Будильник» и «Осколки» предъявляли свои требования и с их традициями Чехову, волей-неволей нужно было считаться, а считаясь, поступаться иной раз весьма важным из запасов тех наблюдений, которые составили эти беззаботные «цветы невинного юмора» его ранних рассказов.

«Я писал, — конфузливо объясняется Чехов по поводу своего «Экзамена на чин», — и то и дело херил, боясь пространства. Вычеркнул вопрос экзаменаторов-уездников и ответы почтового приемщика — самую суть экзамена» (Н. А. Лейкину 25 июня 1894 г.).

Самую «суть экзамена» — не самую ли суть рассказа?

Мы читали сетование Чехова в письме к Д. В. Григоровичу на то, что один рассказ он написал «лежа в купальне», — строчил его как «репортеры пишут свои заметки о пожарах». А ведь рассказ был «Егерь». «Егерь» — это дерзкий и чрезвычайно удавшийся опыт пародирования Тургенева, из «Свидания» которого взята фабула. Вся тургеневская манера письма переключена в чеховском рассказе: описание природы, детально разработанное Тургеневым (перечислены породы деревьев, даны оттенки их окраски, названы тона неба, породы птиц и даже особо упомянуты переливы их напевов), Чеховым ограничено пятью короткими предложениями: «Знойный душный полдень. На небе ни облачка. Выжженная солнцем трава глядит уныло, безнадежно. Хоть и будет дождь, но не зеленеть ей. Лес стоит молча, неподвижно, словно всматривается своими верхушками или ждет чего-то». И еще один штрих, играющий здесь роль «описания места действия»: «он идет по длинной прямой, как вытянутый ремень, дороге».

Рассказом, написанным «лежа в купальне», поста-

влена веха на пути художественной прозы, ищущей новых выразительных средств и уже не удовлетворенной «старой манерой». Пусть даже поставлена эта веха «машинально, бессознательно», но мы имеем дело с свершившимся фактом: после Антоши Чехонте, с его дерзким нарушением «традиций» в передаче пейзажа, с его стремлением дать не описание, а впечатление, после чеховского «Егеря» — тургеневское «Свидание» покажется устаревшим.

Когда появился «Егерь» в «Осколках» за 1885 год, Чехов еще был поставщиком «Комаров и мух», а в 1893 году тот же Чехов, перечитав Тургенева, пишет о нем Суворину: «Описания природы у Тургенева хороши, но чувствую, что мы уже отвыкаем от описания такого рода и что нужно что-то другое».

«Что-то другое» Чехов дал уже раньше. Еще в рассказах 1882 года можно отметить целый ряд лирических отступлений в описаниях природы, которые звучат совсем не в традиционных тонах.

«Степь обливалась золотом первых солнечных лучей и, покрытая росой, сверкала, точно усыпанная бриллиантовой пылью. Туман прогнало утренним ветром и он остановился за рекой свинцовой стеной. Ржаные колосья, головки репейника стояли тихо, только изредка покланиваясь друг другу и пошептывая». (Рассказ «29 июня».)

«Из-за далеких курганов всходила луна. Ей навстречу плыли облачки с серебрившимися краями. Небосклон побледнел, и во всю ширь его разлилась бледная, приятная зелень. Звезды слабо замелькали и, как бы испугавшись луны, втянули в себя свои маленькие лучи». (Рассказ «Барыня».)

Если первый из приведенных отрывков еще напоминает тургеневскую манеру, второй сделан в чисто

импрессионистическом приеме — в расчете создать впечатление. А что этот прием был приемом уже вполне осознанным молодым Чеховым, свидетельствует мысль, высказанная им в письме к брату Александру: «Природа является одушевленной, если ты не брезгуешь употреблять сравнения явлений ее с человеческими действиями». (Письма, том I, 1886 год 10 мая.)

В «Драме на охоте», написанной в пародийной форме уголовного романа, но занимающей свое особое и важное место в творчестве «осколочного» периода Чехова, этот прием сравнений явлений природы с человеческими действиями выступает с особенной рельефностью: «Поэтические сосны вдруг зашевелили своими верхушками и по лесу пронесся тихий ропот». «Свежий ветерок пробежал по просеке и поиграл травой». «Озеро проснулось после дневного сна и легким ворчанием давало знать о себе человеческому слуху». «Леса и прибрежные нивы стояли недвижимы, словно на утренней молитве».

Так боролся Чехов с «общими местами», краткий перечень которых мы находим в уже цитированном письме к брату Александру: «Заходящее солнце, купаясь в волнах темневшего моря, заливало багровым золотом...» и пр. «Ласточки, летая над поверхностью воды, весело чирикали»... Общие места надо бросать. В описаниях природы следует «хвататься за мелкие частности, группируя их таким образом, чтобы по прочтении, когда закроешь глаза, давалась картина», — советует он и иллюстрирует совет примером: «у тебя получится лунная ночь, если ты напишешь, что на мельничной плотине яркой звездочкой мелькало стеклышко от разбитой бутылки и покатилась шаром темная тень собаки или волка». Примечатель-

но, что здесь Чехов цитирует фразу из собственного рассказа: «На плотине, залитой лунным светом, не было ни кусочка тени, на середине ее блестело звездой горлышко от разбитой бутылки» (Рассказ «Волки», 1885 год).

И в области изображения психических движений акцент должен быть поставлен тоже на частности. «Храни бог от общих мест. Лучше всего избегать описывать душевное состояние героев; нужно стараться, чтобы оно было понятно из действия». Не только из действия — даже по подробности костюма. Так, А. С. Грузинский приводит наставления Чехова: «Для того, чтобы подчеркнуть бедность просительницы, не нужно тратить много слов, не нужно говорить о ее жалком несчастном виде, а следует только вскользь сказать, что она была в рыжей тальме».

Путь Чехова к маленькому рассказу, в котором можно почувствовать картину природы («закрыв глаза») и душевное соостояние действующих лиц, раскрытое в какой-нибудь одной подробности («рыжая тальма») — путь к маленькому рассказу шел через анекдот, через игру пародийными формами. Не только пародируется Тургенев для того, чтобы сказать «что-то новое» в описаниях природы: материалом для пародии — в самой разнообразной ее установке — служат Жюль-Верн и дамские романы, Виктор Гюго и Мавр Иокай, стиль визитных карточек и образцы разных письмовников. Маленький фельетон, именуемый «мелочишкой» или «финтифлюшкой» и появляющийся под рубрикой «То и се», или «Комары и мухи», и жанр газетной корреспонденции, данной в форме «Осколков московской жизни Рувера-Улисса, вводится Чеховым в целях то снижения превыспренной

романтики (Виктор Гюго), то осмеяния фантастики (Жюль-Верн), то иронии над пышной экзотикой (Мавр Иокай). Пародия допускает умышленное преувеличение. Гротеск — излюбленный прием Антоши Чехонте. Неправдоподобие положений соответствует явному неправдоподобию имен и фамилий. Ряд нарочито сочиненных прозвищ — Легавый-Грызлов, Укуси-Каланчевский, Пружино-Пружинский. Ряд фамилий, найденных по принципу характеристик действующих лиц: регистратор контрольной палаты Мэда, учитель Ахинеев, помощник полицейского надзирателя Очумелов, городовой Жратва, секретарь Жила, домовладелец Швейн, актер-любовник Поджаров, гимназист Высекин. И бесконечный ряд Запупыриных, Закусиных, Мердяевых, Навагиных, Дробескуловых, Плумбовых, Подзатылкиных, Черносвинских, Елдыриных, Голопесовых, Семирыловых, Одношекиных.

Гротеск вырастает в символическое обобщение. Унтер Пришибеев становится нарицательным именем. Диалог фельдшера Курятина, Сергея Кузьмича, с дьячком Вонмигласовым по вопросам «хирургии» давно обратился в поговорки. Автографы «Жалобной книги» стали ходовыми цитатами: «Хоть ты и седьмой, а дурак...»

ГОДЫ ПЕРЕЛОМА

На родине

Весной 1887 года Чехов собрался на родину. Семь лет прошло с тех пор, как он покинул Таганрог.

Какие резкие, мучительные впечатления вынес он от этой поездки!

«...Впечатления Геркуланума и Помпеи: людей нет, а вместо мумий — сонные дришпаки * и головы дынькой. Все дома приплюснуты, давно не штукатурены, крыши не крашены, ставни затворены. С Полицейской улицы начинается засыхающая, а потому вязкая и бугристая грязь, по которой можно ехать шагом, да и то с опаской».

«...Не люблю таганрогских вкусов, не выношу и, кажется, бежал бы от них за тридевять земель».

---

* Дришпаки — молодые люди; драгиля (см. стр. 98)—возчики; кавалер*и* и бар*и*шни — таганрогский жаргон.

«...Как грязен, пуст, ленив, безграмотен и скучен Таганрог! Нет ни одной грамотной вывески и есть даже «Трактир Расия»; улицы пустынны; рожи драгилей довольны; франты в длинных пальто, кавалери, баришни; облупившаяся штукатурка, всеобщая лень, умение довольствоваться грошами и неопределенным будущим».

Как не похожи эти язвительные строки на лирические описания «родины» у других писателей.

«О мое детство, о моя юность!» — это могло бы зазвучать у Чехова только иронически. С ненавистью говорит он о городе, в котором родился, и сколько желчи в тех его страницах из писем к сестре и брату, в которых он описывает пребывание у таганрогского дядюшки Митрофана Егорыча!

Откуда все это? Из ненависти к косному, застоявшемуся мещанскому быту. В детстве воспитанный «на чинопочитании, целовании поповских рук, на поклонении чужим мыслям», Чехов «ценою молодости», как выразился он в одном из позднейших писем, вырывал у жизни то, что «писатели дворяне берут у природы даром». Разночинец, выходец из мелкобуржуазной среды, сын лавочника, он чувствовал себя связанным по рукам и ногам предрассудками его среды.

По каплям выдавливал он из себя рабью кровь для того, чтобы, проснувшись однажды, почувствовать, что в его жилах течет настоящая человеческая кровь. Это был трудный процесс, потребовавший много усилий воли.

Поездка в Таганрог была одним из тех толчков, которые ускорили его духовное перерождение.

Отвращение к родному городу, которое явственно звучит в его апрельских письмах 1887 года, впослед-

ствии сгладится. Больше того: Чехов многое сделает для Таганрога и это будет свидетельствовать о его зрелости.

Выехав из Таганрога, Чехов предпринял путешествие по Донецкой области. Проездом побывал он в Святых горах. Поездка найдет свое отражение в рассказах «Печенег», «В родном углу», «Перекати-поле», «Святой ночью», «Степь». А Таганрог — «грязный, пустой, ленивый, безграмотный и скучный» будет изображен в повествованиях о городах, в которых «нет ни одного честного человека», о тех городах, где можно наблюдать лишь «длинный ряд глухих медлительных страданий: людей, сжитых со свега их близкими, замученных собак, сходивших с ума, живых воробьев, ощипанных мальчишками догола и брошенных в воду...»

Эти города, в которых живут «почтенные любители драматического искусства», но где — «на сто тысяч жителей» нет ни одного, «который не был бы похож на другого, ни одного художника, ни мало-мальски заметного человека, который возбуждал бы зависть или страстное желание подражать ему». Здесь только едят, пьют, спят, потом умирают... родятся другие и тоже едят, пьют, спят и, чтобы не отупеть от скуки, разнообразят жизнь свою гадкой сплетней, водкой, картами, сутяжничеством... И неотразимо пошлое влияние гнетет детей, и искра божья гаснет в них, и они становятся такими же жалкими, похожими друг на друга мертвецами, как их отцы и матери» *.

Провинциальную Россию Чехов знал только по Таганрогу — и города, в которых тоскуют три сестры, жиреет доктор Ионыч, страдает Мисаил Полознев, и

* См. „Моя жизнь“ и „Три сестры“.

где как некий символ косности царит учитель Беликов, страшный «Человек в футляре», — это все тот же Таганрог — чеховского детства и юности.

„Иванов"

Лето 1887 года Чехов с семьей проводил попрежнему в Бабкине, у Киселевых. Осенью в Москве поселились на Садово-Кудринской в доме Карнеева, в том самом доме, похожем на комод (как говорил Чехов), в котором он писал первые крупные свои произведения.

Несколько ярких строк, изображающих Чехова этой поры, дает В. Г. Короленко [13] в своих воспоминаниях: «Передо мною был молодой и еще более моложавый на вид человек, несколько выше среднего роста, с продолговатым, правильным и чистым лицом, не утратившим еще характерных юношеских очертаний. Простота всех движений, приемов и речи была господствующей чертой во всей его фигуре... Чехов произвел на меня впечатление человека, глубоко жизнерадостного, казалось, из глаз его струится неисчерпаемый источник остроумия и непосредственного веселья, которым переполнены его рассказы. Мне Чехов казался молодым дубком, пускающим ростки в разные стороны, еще корявым и порою бесформенным, но в котором уже угадываются крепость и цельная красота будущего молодого роста» (см. Сочинения В. Г. Короленко, изд. Маркса, т. I, 1914).

В один из следующих своих приездов в Москву Короленко застал Чехова уже озабоченным — как будто бы уже утратившим веселую жизнерадостность: он работал над «Ивановым».

Чехов придавал очень серьезное значение этому

произведению. Пьеса ему казалась значительной — по сюжету «сложному и не глупому». Ему думалось, что он «создал тип, имеющий литературное значение. Своим «Ивановым» ему хотелось поставить заключительную точку в том ряду произведений русской литературы, который посвящен так называемым «лишним людям».

Он говорил брату Александру, что в своей пьесе «не вывел ни одного злодея, ни одного ангела (хотя не сумел воздержаться от шутов), никого не обвинил, никого не оправдал». В этом он видел оригинальность пьесы, задуманной в разрез существующему шаблону у современных Чехову драматургов, «начиняющих свои пьесы исключительно ангелами, подлецами и шутами».

«Иванов» был включен в репертуар театра Ф. А. Корша. Но когда уже было подписано соглашение с Коршем, Чехову дали знать, что Малый театр был бы рад взять его пьесу. Чехову говорили, что она гораздо лучше всех, написанных в текущем сезоне, но что она должна провалиться благодаря бедности коршевской труппы. Так оно и случилось.

Чехов в письмах к родным оставил подробное описание первого спектакля 19 ноября 1887 года. Он жалуется на то, что Корш обещал десять репетиций, а дал лишь четыре. Роли знали только двое, а остальные играли «по суфлеру и по внутреннему убеждению». Третье действие имело громадный успех — автора вызывали три раза. Четвертое прошло отвратительно. Актер, исполнявший роль графа Шабельского, был пьян и из его поэтического коротенького диалога получилось что-то тягучее и гнусное. С недоумением публика встретила финал — смерть героя, не вынесшего нанесенного оскорбления. Вызовы были заглушены откровенным шиканием.

На следующий день Чехов читал в рецензиях, что его пьеса «ни более, ни менее как недоношенный плод противозаконного сожительства авторской невменяемости и самого тупого расчета». («Русский курьер» — 1887 года № 325). В «Московском листке» П. Кичеев, заявлявший, что «по некоторым данным, лично ему известным, он и не ждал от пьесы г. Антона Чехова чего-либо особенно хорошего», — горестно восклицал, что он и подозревать не мог, «чтобы человек молодой, человек с высшим университетским образованием рискнул преподнести публике такую наглоциническую путаницу понятий, какую преподнес ей г. Чехов в своем «Иванове», обозвав эту сумбурщину комедией в четырех действиях и пяти картинах».

Чехов был обвинен в «незнании жизни и людей», его пьеса названа «циническою дребеденью» и даже в отзывах наиболее благожелательных указывалось на «незрелость произведения» и на «неясность центральной фигуры» — самого Иванова.

Рецензии не могли не задеть авторского самолюбия, но указание на незаконченность образа Иванова Чехов принял, и когда пьеса была поставлена на сцене петербургского Александринского театра, — она уже шла в переработанном виде.

Конец 1888 года отмечен поездкой Чехова в Петербург. О своих петербургских впечатлениях он писал брату Михаилу так: «Питер великолепен. Я чувствую себя на седьмом небе. Улицы, извозчики, провизия — все это отлично... Каждый день знакомлюсь. Вчера, например, с десяти с половиной утра до трех я сидел у Михайловского [14] (критиковавшего меня в «Северном вестнике») в компании Глеба Успенского [15] и Короленко. Ели, пили и дружески болтали. Ежедневно видаюсь с Сувориным, Бурениным [16] и пр.

Все наперерыв приглашают меня и курят мне фимиам. От пьесы моей * все положительно в восторге, хотя и бранят меня за небрежность. Мой единственный оттиск ходит теперь по рукам, и я никак не могу поймать его, чтобы отдать в цензуру».

Отголосок обиды за московский провал «Иванова» слышится в этих строках. В другом письме Чехов прямо говорит, что «московские рецензии возбуждают в Петербурге смех». Но вообще нельзя не отметить тона этих чеховских писем из Петербурга, — это письма человека, у которого закружилась голова от первых успехов. Год назад, приглашенный Лейкиным в Петербург, он писал о своей поездке так: «Перед рождеством приехал в Москву один петербургский редактор и повез меня в Петербург. Ехал я на курьерском в первом классе, что обошлось редактору не дешево. В Питере меня так приняли, что потом месяца два кружилась голова от хвалебного чада. Квартира у меня там была великолепная, пара лошадей, отменный стол, даровые билеты во все театры. Я в жизни своей никогда не жил так сладко, как в Питере». Правда, письмо адресовано таганрогскому дядюшке Митрофану Егорычу, но разве не звучит в нем то наивное восхищение самого Чехова от «сладкой жизни», которое свидетельствует, что в нем все еще живет «молодой человек», далеко еще не свободный от предрассудков мещанской среды. К тому же речь здесь идет о Лейкине — человеке, которого Чехов не уважает и о котором уже злословит в письмах к литературным приятелям.

Но и во второй приезд в Петербург, уже в качестве автора трех сборников рассказов и сыгранной пьесы,

* То есть от „Иванова".

Чехов не может скрыть свое восхищение перед Петербургом: и провизия отличная, и много порядочных людей, и ежедневно видится он с Сувориным, Буренины, болтает в дружеской компании с Глебом Успенским, Михайловским, Короленко. Так и поставил в один ряд всех этих своих знакомых — о д и н а к о в о приятно проводить ему время и с Сувориным, и с Михайловским.

Кстати здесь привести строки из воспоминаний В. Г. Короленко, вносящие одну подробность в историю чеховского знакомства с Михайловским и Успенским. Короленко рассказывает, что редакция «Северного вестника» давно хотела привлечь Чехова к участию в журнале и сожалела, что Короленко этим не озаботился во время своего посещения Чехова в Москве. Памятуя это, Короленко сделал, — как он пишет, — попытку свести Чехова с Михайловским и Успенским.

«Мы вместе отправились с ним в назначенный час в «Пале-Рояль», где тогда жил Михайловский и где мы застали Глеба Ивановича Успенского и Александру Аркадьевну Давыдову (впоследствии издательницу журнала «Мир божий»). Но из этого как-то ничего не вышло. Глеб Иванович сдержанно молчал, Михайловский один поддерживал разговор. И даже Александра Аркадьевна — человек вообще необыкновенно деликатный и тактичный, — задела тогда Чехова каким-то резким замечанием относительно одного из тогдашних его литературных друзей. Когда Чехов ушел, я почувствовал, что попытка не удалась».

Да — попытка не удалась, но встреча с руководителями «Северного вестника» имела для Чехова то последствие, что он обещал журналу большую повесть. Это была «Степь».

„Степь" и замыслы романа

«Степь» пишу не спеша, как гастрономы едят дупелей, с чувством, с толком, с расстановкой»,— говорил Чехов в письме к Плещееву [17]— заведующему беллетристическим отделом «Северного вестника».

«Степь» — важнейший этап в истории чеховского творчества.

«Тема хорошая, пишется весело, но, к несчастью, от непривычки писать длинно, от страха написать лишнее, я впадаю в крайность. Каждая страница выходит компактной как маленький рассказ, картины громоздятся, теснятся и, заслоняя друг друга, губят общее впечатление», — говорил он В. Г. Короленко.

Я. П. Полонскому [18] Чехов сообщил, что эта «небольшая повесть», в которой он «изображает степь, степных людей, птиц, ночи, грозы», кажется ему «громоздкой и скучной».

«Каждая отдельная глава составляет особый рассказ и все главы связаны, как пять фигур в кадрили, близким родством» — раскрывал Чехов построение повести. В этом была новизна приема, но в этом была и опасность.

«Впечатления теснятся, громоздятся, выдавливают друг друга, в общем получается не картина, а сухой, подробный перечень впечатлений, что-то вроде конспекта». Эта авторская оценка (в письме к Д. В. Григоровичу) несправедлива: «Степь» создает неотразимое впечатление свежести, она действительно «пахнет сеном». Тот новый прием в описаниях природы, который впервые был введен Чеховым еще в ранних его рассказах, здесь, в «Степи», достигает своего полного раскрытия. То, что будет впоследствии названо критиками импрессионизмом Чехова, проступает

в «Степи» с особенной отчетливостью, быть может даже с известной навязчивостью.

Для того, чтобы изобразить молнию, ему достаточно сказать, что «налево будто кто-то чиркнул по небу спичкой, мелькнула бледная фосфорическая полоска и потухла».

Гром: «послышалось, как где-то очень далеко кто-то прошелся по железной крыше, вероятно по крыше шли босиком, потому что железо проворчало глухо».

Пейзаж дан не только в неподвижности, но и в движении. Так передан ветер: «из-за холмов неожиданно показалось пепельно-седое, кудрявое облако. Оно переглянулось со степью, — я, мол, готово — и нахмурилось. Вдруг в стоячем воздухе что-то порвалось, сильно рванул ветер и с шумом, с свистом закружился по степи. Тотчас же трава и прошлогодний бурьян подняли ропот. На дороге спирально закружилась пыль, побежала по степи, и, увлекая за собой солому, стрекоз и перья, черным вертящимся столбом поднялась к небу и затуманила солнце. По степи, вдоль и поперек, спотыкаясь и прыгая, побежали перекати-поле, а одно из них попало в вихрь, завертелось как птица, полетело к небу и, обратившись там в черную точку, исчезло из виду. За ним понеслось другое, потом третье и Егорушка видел, как два перекати-поле столкнулись в голубой вышине и вцепились друг в друга, как на поединке».

Степь показана одушевленной, очеловеченной. Она изнывает, тоскует, жалуется и страстно взывает: «Певца, певца!».

Пользуясь многими красками, Чехов для создания впечатления степной дали нашел одну, особенно убедительную, — л и л о в у ю. Лиловая краска пройдет через все чеховские пейзажи.

Многое из степных впечатлений воспринято сквозь призму ощущений Егорушки. Поэтому для того, чтобы создать картину заката, Чехов говорит, что Егорушка видел «как зажглась вечерняя заря, как потом она угасла, ангелы-хранители, застилая горизонт своими золотыми крыльями, располагались на ночлег. День прошел благополучно, наступила тихая, благополучная ночь и они могли спокойно сидеть у себя дома, на небе; видел Егорушка, как мало-помалу темнело небо и спускалась на землю мгла, как засветились одна за другой звезды». Но уже не Егорушка, а сам Чехов увидел «пьяное озорническое выражение» в оборванной и разлохмаченной туче.

Излишняя компактность каждой страницы разбивала «Степь» на ряд отдельных маленьких рассказов, в сущности искусственно связанных между собой тем, что через всю повесть проходило одно главное действующее лицо — Егорушка, выполнявший функции связи. Он был в положении наблюдателя: ехал сперва на бричке, потом на возу с шерстью.

Примечательно, что задумав писать роман, Чехов хотел взять форму «Мертвых душ», то есть поставить своего героя в положение гоголевского Чичикова, который разъезжает по России и знакомится с ее представителями. Этот герой неосуществленного чеховского романа должен был выполнять ту же функцию, что и Егорушка. Но роман написан не был. «Широкая рама ему как будто бы не давалась и он бросал начатые главы», — свидетельствует А. С. Суворин. Широкая рама — не «как будто», а действительно ему не давалась, хотя попыток создать роман Чехов сделал много. Мы знаем, например, содержание первой главы романа, переданное А. С. Грузинским-Лазаревым [19] со слов самого Чехова:

«Представьте тихую железнодорожную станцию в степи. Недалеко от станции имение вдовы-генеральши. Ясный вечер. К платформе подходит поезд с двумя паровозами. Затем, постояв на станции минут пять, поезд уходит дальше с одним паровозом, а другой паровоз трогается и тихонько подталкивает к платформе один товарный вагон. Вагон останавливается. Его открывают. В вагоне гроб с телом единственного сына вдовы-генеральши» *.

Что задуманный роман очень волновал творческую фантазию Чехова, убеждают многие его письма, определенно указывающие на уже начатую работу.

«Летом буду коптеть над романом», — пишет он в 1888 году Плещееву. И еще ему же: «Роман значительно подвинулся вперед и сел на мель в ожидании прилива. Посвящаю его Вам — об этом я уже писал. В основу всего романа кладу я жизнь хороших людей, их лица, дела, слова, мысли и надежды; цель моя — убить сразу двух зайцев: правдиво нарисовать жизнь и, кстати, показать насколько эта жизнь уклоняется от нормы. Норма мне неизвестна, как неизвестна никому из нас. Все мы знаем, что такое бесчестный поступок, но что такое честь — мы не знаем. Буду держаться той рамки, которая ближе сердцу и уже испытана людьми посильнее и умнее меня. Рамка эта — абсолютная свобода человека, свобода от насилия, от предрассудков, невежества, чорта, свобода от страстей и пр.».

Через год читаем о романе и в письме к Суворину (от 11 марта 1889 г.): «Я пишу роман, очертил уже ясно десять физиономий. Какая интрига! Назвал

* Пропавшие романы и пьесы Чехова. Воспоминания А. С. Грузинского-Лазарева в третьем сборнике „Энергия" — под ред. Амфитеатрова.

я его так: «Рассказы из жизни моих друзей» и пишу его в форме отдельных законченных рассказов, тесно связанных между собой общностью интриги, идеи и действующих лиц. У каждого рассказа особое заглавие... Еле справляюсь с техникой. Слаб еще по этой части и чувствую — делаю массу грубых ошибок. Будут длинноты, будут глупости. Неверных жен, самоубийц, кулаков, добродетельных мужиков, преданных рабов, резонирующих старушек, добрых нянюшек, уездных остряков, красноносых капитанов, и «новых» людей постараюсь избежать, хотя местами сильно сбиваюсь на шаблон».

Повидимому, следует рассматривать, пользуясь указанием письма на план романа, рассказы «Человек в футляре», «О любви» и «Крыжовник» как фрагменты задуманного большого произведения, написанного в форме отдельных рассказов, объединенных общим содержанием.

Но романа Чехов так и не создал. В самом «тоне» его творчества не было ничего отвечающего тому представлению, которое мы имеем о романе, с его построением, осложненном массой действующих лиц и многочисленностью вводных эпизодов.

Но не только трудности романа не были преодолены: все большие повести Чехова «Дуэль», «Три года», «Моя жизнь», «Мужики» — построены плохо. В них отсутствует самое важное — д в и ж е н и е. Чехов-мастер нашел свое полное выражение в новелле и в небольшой повести. Не «Рассказ неизвестного человека», не «Дуэль», не «Три года», не «Скучная история», а «Дама с собачкой», «Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви», «Архиерей» — вот вершина его творчества.

Чехов и сам понимал все недостатки своей компо-

зиции. «Привыкнув к маленьким рассказам, состоящим только из начала и конца, я скучаю и начинаю зевать, когда чувствую, что пишу середину», — признавался он в письме к А. Н. Плещееву, говоря о своих «Именинах». И о другой повести писал А. С. Суворину: «В моей повести нет движения и это меня пугает. Я боюсь, что ее трудно будет дочитать до середины, не говоря уже о конце».

Что же касается техники маленьких рассказов, то на этот счет у него были совершенно определенные требования экономии изобразительных средств. Поэтому он писал, что читателю нельзя давать отдыха— его нужно держать напряженным. Все дело в маленьком рассказе — это в достигнутом им «общем впечатлении». В маленьких рассказах «лучше не досказать, чем пересказать, потому что... потому что... не знаю почему». (Из письма И. Л. Щеглову, 22 января 1888 года).

О пользе водевиля

Зимой этого года Чехов, продолжая работать над большими произведениями для «Северного вестника» (после «Степи» — «Огни» и «Именины») писал и водевили. Писал и боялся, что его осудят в «толстом» журнале за «легкомыслие» и, как бы оправдываясь, говорил, что это у него всегда «серьезное чередуется с пошлым». В феврале на сцене театра Корша шел «Медведь», а затем Чехов «нацарапал»,—как едва ли искренно он выражался, — «паршивенький водевиль для провинции» — «Предложение».

«Медведь» имел огромный и, кажется, для автора совершенно неожиданный успех. А как только появилось в «Новом времени» «Предложение», так оно тот-

час же стало играться решительно на всех сценах — императорских, столичных, провинциальных.

И неслучайно, что Чехов, восторгаясь лермонтовской «Таманью», говорил: «Вот бы написать такую вещь, да еще водевиль хороший, тогда и умереть можно спокойно».

Чехов очень ценил в себе то, что он любит и умеет писать водевили. Он доказывал П. П. Гнедичу [20], что «водевиль приучает смеяться, а кто смеется, тот здоров». Он уговаривал Гнедича приучать публику к смеху: «Шекспировских им комедий побольше с шутками. Тот не стеснялся, как мы». И обещал, что напишет «пьеску минут на двадцать пять, да такую, чтобы от смеха все полопались, чтобы на утро из театра сотни три пуговиц вымели».

Он писал водевили еще в пору своего шатания по юмористическим журнальчикам: «О вреде табака», «Трагик поневоле» — потом, как мы уже знаем, «Медведь» и «Предложение», а за ними «Скоропостижную конскую смерть», «Свадьбу» и «Юбилей».

Интересно, что большинство его водевилей — инсценировка собственных рассказов эпохи Антоши Чехонте. Так, подписи под рисунками брата Николая «Свадебный сезон» — первые зерна, из которых вырастает «Свадьба», сложившаяся из двух рассказов «Брак по расчету» и «Свадьба с генералом», причем в водевиль попало несколько фраз еще из двух рассказов все на ту же «свадебную тему» — «Перед свадьбой» и «Свадьба».

«Юбилей» переделан из рассказа «Беззащитное существо». Незаконченный водевиль «Ночь перед судом» написан на тему одноименного рассказа. А рассказ «Один из многих» переделан в водевиль «Трагик поневоле».

В работе над водевилем Чехов не ограничивается переделкой собственных рассказов. Тот же прием, которым он так широко пользуется для своих маленьких рассказов — прием пародирования — не забыт и для водевиля. Так, «Медведь» пародирует французский водевиль «Победителей не судят», весьма топорно переделанный на русские нравы.

Одно только «Предложение» совершенно самостоятельного происхождения. Да и по мастерству это едва ли не самый удавшийся Чехову водевиль.

Все приемы маленьких рассказов Антоши Чехонте обнажены и заострены в его водевилях. Преувеличения и игра с явно сочиненными смешными фамилиями отчетливо проступают и в «Свадьбе», и в «Юбилее», и, конечно, в «Предложении». Ведь в «Предложении» все содержание построено на преувеличенном обострении болезненной страсти к спору.

И если в чеховских рассказах фигурируют чиновники Брюзденко, Жилин, Милкин, Пробкин, Мердяев, музыкант Смычков, парикмахер Гребешков, первый любовник Поджаров, французы Шампунь и Падекуа, дьячки Отлукавины и Вонмигласовы, то в водевилях действуют: Жигалов, Апломбов, Ревунов-Караулов, телеграфист Ять, акушерка Змеюкина, кондитер греческого происхождения Харлампий Спиридонович Дымба, матрос Мозговой, директор банка Шипучин, бухгалтер Хирин, надоевшая просительница Мерчуткина, а человек, читающий лекцию о вреде табака, называется Нюхин.

В записной книжке Чехова значится еще какой-то Капитон Иванович Чирий, который должен был стать героем водевиля. Здесь же Варвара Недотепина,— вероятно, родоначальница той самой «недотепы», которая из «Вишневого сада» перешла в бытовой язык.

В записной книжке есть немало отметок, указывающих и на замыслы водевилей — несколько фамилий: Фильдекосов, мадам Гнусик, Зюзиков. И целый разговор из ненаписанного водевиля: «У меня есть знакомый Кривомордый, и ничего. Не то, чтобы Кривоногий или Криворукий, а Кривомордый. Женат был и жена любила». И еще: «N, чтобы жениться, вымазал плешь на голове мазью, о которой прочел публикацию, и у него неожиданно стала расти на голове свиная щетина».

И еще был задуман водевиль: «Я придумал для Савиной, Давыдова * и минисгров водевиль под заглавием «Гром и молния». Во время грозы ночью я заставляю земского врача Давыдова заехать к девице Савиной. У Давыдова зубы болят, а у Савиной несносный характер. Интересные разговоры, прерываемые громом. В конце женю». Это в том письме к А. С. Суворину, в котором Чехов говорит, что когда он испишется, то станет сочинять водевили. «Из меня водевильные сюжеты прут, как нефть из бакинских недр». Можно уверенно сказать, что если бы Чехов ничего иного как драматург кроме своего водевильного цикла не создал, то и этого было бы совершенно достаточно для очень прочной и большой театральной славы.

Начало болезни

1888 год в биографии Чехова один из самых содержательных годов. Чехов много пишет. Наряду с постоянным участием в «Новом времени», печатается в «Северном вестнике», выпускает книги, ставит пьесы.

---

* Савина и Давыдов — артисты Александринского театра.

Заводится большой круг литературных знакомств. Он в постоянной переписке с Плещеевым, Полонским, Григоровичем, не говоря уже о Суворине, дружба с которым, как раз в этот год особенно крепка. В его квартире — в доме похожем на комод — шумно. Постоянные гости: из Петербурга наезжают и старик Григорович, и Щеглов, и Тихонов. Несколько раз посетил Чехова знаменитый композитор П. И. Чайковский [21], восхищенный его рассказами и предполагавший писать оперу на либретто Чехова.

Одно только тревожит родных — признаки начавшегося у Антона Павловича процесса легочного туберкулеза. 14 октября 1888 года Чехов, кажется, впервые заговорил с Сувориным о своей болезни: «Каждую зиму, осень и весну, — пишет он, — и в каждый сырой летний день я кашляю. Но все это пугает меня только тогда, когда я вижу кровь: в крови, текущей изо рта, есть что-то зловещее, как в зареве...» И, сообщая о кровохарканьи говорит, что он заметил его в 1884 году в Окружном суде во время процесса о крахе Скопинского банка, о котором он писал в «Петербургской газете». Тогда кровохарканье продолжалось дня три-четыре и произвело «немалый переполох в моей душе и моей квартире», — свидетельствует Чехов. Хотя после этого он и замечал у себя кровь, — раза два в год, — но он все-таки убежден, что у него нет чахотки, «так как серьезные легочные страдания узнаются по совокупности признаков», а у него, — утверждает Чехов, — этой совокупности нет. Если бы кровотечение, какое случилось в Окружном суде было симптомом начинающейся чахотки, то он был бы на том свете — «вот моя логика», — заключает Чехов.

Однако, его продолжает мучить кашель и, как бы ни рассуждал Чехов о его происхождении, это и было

началом процесса. Впрочем, где-то в глубине души он таил догадки об истинной природе и этого кашля, и этих повторяющихся кровотечений. Не потому ли и был он так озабочен подысканием на лето дачи где-нибудь на юге, на Украине?

И на Украине, действительно удалось снять дачу на берегу реки Псла, на хуторе помещицы Линтваревой — «Лука».

В чеховских письмах находим любопытное описание линтваревской усадьбы: «Живу я во флигеле старой барской усадьбы, — пишет Чехов. — ...Река широка, глубока, изобильна островами, рыбой и раками. Берега красивы, зелени много...»

«Природа и жизнь построены по тому самому шаблону, который теперь так устарел и бракуется в редакциях: не говоря уже о соловьях, которые поют и день и ночь, о лае собак, который слышится издали, о старых запущенных садах, о забитых наглухо, очень поэтических и грустных усадьбах, в которых живут души красивых женщин, не говоря уже о старых, дышащих на ладан лакеях-крепостниках, о девицах, жаждущих самой шаблонной любви, недалеко от меня имеется даже такой заезженный шаблон, как водяная мельница (о шестнадцати колесах), с мельником и его дочкой, которая всегда сидит у окна, и, повидимому, чего-то ждет. Все, что я теперь вижу и слышу, мне кажется давно уже знакомо по старинным повестям и сказкам. Новизной повеяло на меня только от таинственной птицы «водяной бугай», которая сидит где-то далеко в камышах и днем и ночью издает крик, похожий отчасти на удар по пустой бочке, отчасти на рев запертой в сарае коровы...»

Отрывок из этого письма один из блестящих образчиков своеобразной литературной пародии. Чехов,

описывая природу, в то же время как бы иронизирует над стилем литературных «поэтических изображений».

Не менее замечательны и отрывки из тех писем, в которых он дает характеристики своих новых хозяев. Вот старуха Линтварева: «Очень добрая, сырая, настрадавшаяся вдоволь женщина, читает Шопенгауера и ездит в церковь на акафист; добросовестно штудирует каждый номер «Вестника Европы» и «Северного вестника». Придает большое значение тому, что в ее флигеле жил когда-то художник Маковский, а теперь живет молодой литератор».

Старшая дочь — З. М. Линтварева [22] — врач. «Мужики величают ее святой» и она «изображает из себя воистину что-то необыкновенное. У нее опухоль в мозгу, от этого она совершенно слепа, страдает эпилепсией и постоянной головной болью. Она знает, что ожидает ее, и стоически, с поразительным хладнокровием, говорит о смерти, которая близка». «Врачуя публику, — пишет Чехов, — я привык видеть людей, которые скоро умрут и я всегда чувствовал себя как-то странно, когда при мне говорили, улыбались или плакали люди, смерть, которых была близка». Но здесь, когда Чехов видит на террасе слепую, которая смеется, шутит или слушает, как ей читают его рассказы, то ему уже «начинает казаться странным не то, что докторша умрет, а то, мы не чувствуем своей собственной смерти и пишем «Сумерки», точно никогда не умрем». Так раздумье о смерти — впервые зазвучало в чеховской переписке.

Вторая дочь — Е. М. Линтварева — тоже врач. «Тихая, застенчивая, бесконечно добрая, любящее всех создание. Она никому не сделала зла». Но Чехову кажется, что она «никогда не была и не будет счастлива ни одной минуты». И это очень типичное

для Чехова заключение: в его рассказах всегда так — тихие, добрые, любящие никогда не бывают счастливы. Об этом он говорит и в «На подводе», и в «Доме с мезонином», и в «Дяде Ване» и в «Трех сестрах».

Третья Линтварева — Наталья Михайловна — курсистка, кончившая Бестужевку* «Сильная, загорелая, горластая, хохочет так, что за версту слышно. Страстная хохломанка, построила себе в усадьбе на свой счет школу и учит хохолят басням Крылова в малороссийском переводе... Ездит на могилу Шевченко, как турок в Мекку».

Старший сын — Павел Линтварев — «скромный, умный, бесталанный. Исключен из четвертого курса университета, чем не хвастает». Младший — Георгий — пианист, «мечтает о жизни по Толстому».

У Линтваревых жили весело. Наезжало много гостей — были Суворин, Плещеев, писатель Баранцевич, актер Александринского театра Свободин.

Конец лета 1888 года Чехов провел в Феодосии: гостил у Суворина, с которым собирался писать вместе пьесу. Из Феодосии отправился с сыном Суворина в Батум, затем в Сухум, на Новый Афон, в Тифлис, проехался по Военно-Грузинской дороге, был в Баку, из Баку хотел плыть по Каспию — в Бухару и в Персию. Но его спутник был вызван телеграммой — умер его брат, поездку пришлось прервать. По дороге в Москву Чехов заезжал в Кисловодск.

Чехов — публицист

Осенью он с увлечением принялся за публицистические статьи — вернулся к тому жанру фельетона на

* Бестужевские женские курсы в тогдашнем Петербурге.

общественные темы, которым пытался овладеть в «Осколках московской жизни» — у Лейкина.

В суворинском «Новом времени» он помещает ряд статей, если и не свидетельствующих о большом публицистическом темпераменте, то, во всяком случае, по манере письма и по серьезности затронутых тем, стоящих на много выше его «осколочных» заметок.

Сам испытавший в детстве всю тяжесть пребывания за прилавком — в бакалейной торговле отца — Чехов, в статье «Московские лицемеры» — взял под защиту приказчиков, праздничный отдых которых был отменен московскими купцами. Рассказывая о заводчике Ланине, особенно настаивавшем на праздничной торговле, Чехов говорит о людях этого типа, что в них «чувствуется та лисица, которая прячется под маскою московского купца и юродивого, когда разглагольствует на ярмарках или в заседаниях думы», — и приводя их доводы с ссылкой на церковь, Чехов восклицает: «не лицемерие ли, защищая торговлю по праздникам, говорить о церкви!». Чехов хорошо знал эти традиционные ссылки на религию: в его детстве так же говорили, что сидельцы в лавках по праздникам будут бить баклуши, а в церковь все равно не пойдут, так не лучше ли, чтобы они работали в то самое время, когда «интеллигенция» будет отдыхать. Московские купцы рассуждают точно также: святость праздника, уверяют они, будет осквернена тем, что приказчики начнут шататься по трактирам.

И заключение: «пусть святоши не забывают, что тысячи развратных канареек или кроликов гораздо лучше, чем один благочестивый волк».

В фельетоне о «Нашем нищенстве» Чехов, утверждая, что нужно бороться «не с самим нищенством, а с производящею причиной», предрекает, что «когда

общество во всех своих слоях, сверху донизу научится уважать чужой труд и чужую копейку, то нищенство уличное, домашнее и всякое другое исчезнет само собой».

Так пытается он разрешить одно из социальных противоречий наивным указанием на необходимость «уважения» к чужому труду и к чужой копейке!

Из публицистических статей Чехова особенно интересен некролог о Пржевальском, где с предельным для него темпераментом Чехов выражает свои тогдашние убеждения. Он говорит, что такие люди, как Пржевальский, имеют громадное воспитательное значение. «Один Пржевальский, или один Стенли стоят десятков учебных заведений и сотни хороших книг. Их идейность, благородное честолюбие, имеющее в основе честь родины и науки, их упорство, стремление к раз намеченной цели, богатство их знаний, их фанатическая вера в христианскую цивилизацию и науку — делают их в глазах народа подвижниками, олицетворяющими высшую нравственную силу».

Чехов утверждает, что «в наше больное время», когда всюду «царят лень, скука жизни, нелюбовь к жизни и страх смерти, когда даже лучшие люди сидят сложа руки, оправдывая свою лень и свой разврат отсутствием определенной цели в жизни», подвижники, — а Пржевальский в его глазах подвижник — нужны, как солнце.

Стенли и Пржевальский, это «живые документы, указывающие обществу, что кроме людей, ведущих спор об оптимизме и пессимизме, пишущих от скуки неважные повести, ненужные проекты и дешевые диссертации, развратничающих во имя отрицания жизни и лгущих ради куска хлеба, что кроме скептиков, мистиков, психопатов, иезуитов, философов, либералов и

консерваторов есть еще люди иного порядка, люди подвига, веры и ясно сознанной цели».

И утверждая все это в газетной статье, Чехов и в дружеском письме к Линтваревой свидетельствует: «Таких людей, как Пржевальский, я люблю бесконечно».

Но ведь и этот гимн, пропетый во славу людей подвига, весь насыщен, по существу говоря, теми же мыслями о нравственном совершенствовании, которое поможет устранить «нищенство», и которое поднимет человека над философией и политикой. Неприемля скептиков, мистиков, психопатов, иезуитов, Чехов неприемлет также и либералов и консерваторов. Стенли и Пржевальский ценнее десятка учебных заведений и сотни хороших книг, но это потому, что они культуртрегеры. И сам Чехов хотел бы быть именно культуртрегером, причем рост страны он ставит в прямую зависимость от морального совершенствования общества. Но ведь такую программу защищало «Новое время», и статья о Пржевальском, при всем уважении, которое питает Чехов к его памяти, не более, чем отражение суворинской идеологии. В эти переломные годы своей жизни, Чехов еще не освободился от «поклонения чужим мыслям». А такое поклонение, по словам самого же Чехова, — один из признаков «рабьей крови».

„В литературе я — Потемкин..."

Еще в 1887 году до Чехова дошли слухи, что он является одним из кандидатов на получение от Академии наук так называемой Пушкинской премии. Чехов этому не верил. В письме к брату Александру он говорит, что «премия, кроме хлопот и недоумений, ни-

чего ему не даст». В Москве будут только одни нарекания на его счет, да и вообще премию следовало бы поделить между Короленко и им — ведь «Короленко знает вся Москва и весь Петербург», а его, Чехова, «ценят лишь десять-пятнадцать человек». «Дать премию мне, — говорит Чехов, — значило бы сделать приятное меньшинству и уколоть большинство».

Но премию присудили все-таки Чехову. Выяснилось, что Я. П. Полонский первый среди ближайших друзей Чехова предложил послать в Академию чеховский сборник рассказов «Сумерки», Суворин поддержал эту мысль. Григорович же был в Академии и «стоял горой за Чехова».

Известие о премии «имело ошеломляющее действие, — сообщает Чехов А. С. Суворину, — оно пронеслось по моей квартире в Москве, как грозный гром бессмертного Зевеса».

Получив премию — пятьсот рублей — Чехов не скрывал своей радости. «Если бы я сказал, — пишет он Г. В. Григоровичу, — что она не волнует меня, то солгал бы. Я себя так чувствую, как будто кончил курс, кроме гимназии и университета, еще где-то в третьем месте».

Он не хотел скромничать и уверять близких, что не стоит премии — «это было бы старо и скучно», но продолжал утверждать, что «своим счастьем обязан не себе».

На себя, как писателя, у него трезвый взгляд. Он знает, что и большие художники бывают подвержены риску исписаться, надоесть и попасть в тираж. Лично он подвержен этому в сильнейшей степени. Чехов объясняет почему: «Во-первых, — говорит он в письме к А. С. Лазареву-Грузинскому, — я «счастья баловень безродный», в литературе я — Потемкин, выско-

чивший из недр «Развлечения» и «Волны». Я — мещанин по дворянстве, а такие люди не долго выдерживают, как не выдерживает струна, которую торопятся натянуть. Во-вторых, наибольшему риску сойти с рельсов подвержен тот поезд, который едет ежедневно без остановок, не взирая ни на погоду, ни на количество топлива». В этом объяснении слышится глубокое сожаление о той ежедневной, форсированной, почти всегда наспех выполняемой работе, которой ему пришлось заниматься в течении целого ряда лет. Воспоминания о его писательской молодости, вряд ли дававшей ему много радости, пробуждались в нем с особенной силой каждый раз, когда заходила речь о его литературных успехах. Он считал, что мог бы сделать гораздо больше и лучше, если бы не было этой необходимости писать изо дня в день, долгое время не зная ни цели этого многописания, ни того читателя, на которого он работал. Но он был твердо убежден в одном — в том, что указал многим писателям путь к толстым журналам. «Все мое написанное забудется через пять-десять лет, но пути мною проложенные будут целы и невредимы — в этом моя единственная заслуга», — утверждал он.

Не надо понимать это утверждение ни в каком ином смысле, как только в самом прямом: Чехов говорит не о своем новаторстве, не о завоевании новой художественной формы, а только о тех путях в серьезную литературу («толстые журналы»), которые он проложил для своих современников, выйдя из недр «Развлечения» и «Волны» и добившись признания со стороны и «Северного вестника», и даже Академии. Он так и говорит в письме к А. С. Суворину: «Газетные беллетристы второго и третьего сорта должны воздвигнуть мне памятник или, по крайней мере,

поднести серебряный портсигар. Я проложил для них дорогу в толстые журналы, к лаврам и к сердцам порядочных людей». Дальше он повторяет то же, что сказал Лазареву-Грузинскому — «пока это моя единственная заслуга. Все же, что я написал и за что мне дали премию, не проживет в памяти людей и десяти лет».

В этом он ошибся.

Конец 1888 года — одного из удачнейших годов своей жизни — Чехов провел в хлопотах по постановке пьесы А. С. Суворина «Татьяна Репина» на сцене московского Малого театра, являясь представителем Суворина в переговорах с дирекцией и исполнителями.

Начало нового, 1889, года было также удачливым: 26 января на сцене петербургского Александринского театра прошел с огромным успехом «Иванов», значительно переработанный и переделанный. Петербургская критика встретила пьесу единодушными похвалами. Это был реванш Чехова за московский провал.

Но «за благом вслед идут печали». В апреле заболел брат Николай — художник, у которого обострился процесс легочного туберкулеза. Пришлось его везти на «Луку», к Линтваревым. Для Чехова было ясно, что дни брата уже сочтены. «Нельзя было сказать, когда умрет Николай, — пишет Чехов А. Н. Плещееву, — но что он умрет скоро, для меня было ясно».

Брат умер 17 июня. Развязка произошла при следующих обстоятельствах. У Чехова гостил Н. М. Свободин *. Воспользовавшись приездом брата Александра, который мог сменить Антона Павловича, затеяли поездку с Линтваревыми и со Свободиным в Полтав-

* Артист Александринского театра.

скую губернию, к Смагиным. К Смагиным приехали ночью, а утром привезли телеграмму о смерти Николая. Чехову пришлось скакать обратно на лошадях до станции, потом по железной дороге. В Ромнах он просидел с семи часов вечера до двух часов ночи. От скуки пошел шататься по городу. «Помню, — рассказывает он А. Н. Плещееву, — сижу в саду, темно. Холодище страшный, скука аспидная, а за бурой стеной, около которой я сижу, актеры репетируют какую-то мелодраму».

«...Похороны устроили художнику отличные. Несли его на руках, с хоругвями и пр. Похоронили на деревенском кладбище, под медовой травой; крест виден далеко в поле. Кажется, что лежать ему очень уютно».

С братом Николаем были связаны воспоминания юности, той поры шатания по журнальчикам и газетам, когда Антоша Чехонте сочинял остроумные подписи под талантливыми карикатурами и рисунками Николая Чехова.

Без всякой цели, не зная зачем и почему, гонимый тоской и грустными мыслями, Чехов уехал в Одессу и несколько недель прожил здесь, ведя компанию с актерами и актрисами труппы московского Малого Театра. Прожил потом некоторое время в Ялте и в сентябре вернулся в Москву.

„Припадок" и „Скучная история"

В 1889 году Чехов написал «Припадок» (для сборника памяти В. М. Гаршина), «Скучную историю» («Северный вестник» № 11), напечатал в том же «Северном вестнике» переработанного «Иванова» и пьесу «Леший».

«Припадок», — по признанию самого Чехова, — это

та дань памяти Гаршина [23], какую он «хотел и умел воздать ему». Гаршин умер 19 марта 1888 года, — в припадке острой меланхолии бросившись в пролет лестницы.

Участвуя в сборнике, посвященном его памяти, Чехов считал своим долгом «публично расписаться в симпатии к таким людям». Гаршин в последние дни своей жизни интересовался Чеховым (Чехов пишет: «много занимался моей особой, чего я забыть не могу»). Лично он мало знал Гаршина — пришлось ему говорить с ним только один раз, да и то мельком. Два раза он заходил к нему домой, и не заставал.

Тема рассказа в передаче самого Чехова о том, что «молодой человек гаршинской закваски — недюжинный, честный, глубоко чуткий попадает первый раз в жизни в публичный дом терпимости». Чехову хотелось написать рассказ так, чтобы он произвел «гнетущее впечатление». Отослав его в сборник, он говорил Плещееву, что теперь его совесть спокойна, хотя «рассказ не грациозный и отдает сыростью водосточных труб». Он ценил в «Припадке» то, что «душевную боль он описал правильно, по всем правилам психиатрической науки».

Он был несколько разочарован тем приемом, какой оказали рассказу читатели и критики. Идейное содержание рассказа было оценено достаточно высоко. «Литературное общество, студенты, Евреинова *, Плещеев, девицы и пр. расхвалили мой «Припадок» во всю, а описание первого снега заметил только один Григорович», с горечью восклицает Чехов в письме к Суворину. В этом восклицании голос взыскательного художника, который хотел бы получить оценку

* Редактор журнала „Северный вестник".

качества исполнения. И как подлинный «взыскательный художник», он никогда не был доволен собой, но, вместе с тем, ясно понимал, что он нашел новую форму.

Вот описание первого снега, которое заметил один только Григорович:

«В воздухе пахло снегом, под ногами мягко хрустел снег, земля, крыши, деревья, скамьи на бульварах — все было мягко, бело, молодо; и от этого дома выглядывали иначе, чем вчера, фонари горели ярче, воздух был прозрачней, экипажи стучали глуше, и в душу вместе со свежим, легким морозным воздухом просилось чувство, похожее на белый, молодой пушистый снег.

Шел снег, хлопья его, попав в свет, лениво кружились в воздухе, как пух, и еще ленивее падали на землю. Снежинки кружились толпой около Васильева и висли на его бороде, ресницах, бровях. Извозчики, лошади и прохожие были белы.

И как не стыдно снегу падать в этот переулок, — думал Васильев. Будь прокляты эти дома».

Именно это место и отметил Григорович. Заметим, однако, что фраза «как не стыдно снегу падать в этот переулок» была изменена Чеховым: редактируя текст своих рассказов для собрания сочинений, он зачеркнул слова «и как не стыдно снегу» и написал «и как может снег». Новый текст звучит проще, сильнее и выразительнее. А самое, конечно, замечательное в этом «описании» первого снега — это необычайно смелое сравнение: «Чувство, похожее на белый, молодой, пушистый снег».

«Скучная история» была встречена критикой с некоторым недоумением. Повествование ведется от лица старого профессора Николая Степановича. Он причи-

сляет себя к людям шестидесятых годов. С гордостью говорит о себе, что в числе его друзей были Пирогов, Некрасов, Кавелин. Однако рассуждает Николай Степанович так, как может рассуждать человек конца восьмидесятых годов. Николай Степанович нашел причину своего душевного краха: она в отсутствии «общей идеи — бога живого человека». Но ведь то поколение интеллигенции, от имени которого выступает Николай Степанович, имело «общую идею», так же как имело совершенно определенные цели, устремления, задачи. И даже не очень отдаленные, а ближайшие: борьбу с крепостным правом, борьбу с самодержавием. Николай же Степанович типичный восьмидесятник и Чехов совершенно точно называет болезнь его поколения: «отсутствие общей идеи». Старый профессор мыслит чеховскими мыслями. Чехов прячет себя за высказываниями своего героя. Так это и понял, например, Суворин, а Чехов в ответ на этот упрек, говорит: «Когда вам дают кофе, не ищите в нем пиво — не принимайте чужих мыслей за мои. Если я преподношу вам профессорские мысли, то верьте мне и не ищите в них чеховских мыслей».

Но вот две цитаты — одна из чеховского письма, другая из «Скучной истории».

— «Бурже увлекателен для русского читателя, как гроза после засухи, и это понятно. Читатель увидел в романе героев, и автора, которые умнее его, и жизнь, которая богаче его жизни; русские беллетристы глупее читателя, герои их бледны, ничтожны, третируемая ими жизнь скучна и неинтересна». (Из письма к А. С. Суворину 15 мая 1889 года.)

«Я не скажу, чтобы французские книжки были и умны, и талантливы, и благородны, но они не так скучны, как наши русские и в них не редкость найти

главный элемент творчества, чувство личной свободы» («Скучная история»).

Эти цитаты так схожи по мыслям в них выраженным, что их легко спутать: отрывок из письма вставить в рассказ, а фразу рассказа поместить в письмо.

Рассуждения Николая Степановича о театре, который он не любит, потому что театр отнимает у государства много талантливых людей для дела, по существу ничтожного, повторяют мысли самого Чехова, находившего, что театр «это болезнь, вроде сыпи на теле больших городов».

Для уяснения того внутреннего процесса, который шел в Чехове, «Скучная история» дает огромный материал. Если мы примем, что за Николаем Степановичем скрывается Чехов, выразитель идеологии русской интеллигенции восьмидесятых годов, то мы поймем, что душевный крах старого профессора выражает нечто глубоко личное в чувствах и в мыслях самого Чехова. Чехов мучительно ищет выхода из тупика. Он стремится найти «общую идею». В чем она выражается для Чехова — мы увидим в истории его борьбы с «рабом», когда он стремился обрести «чувство личной свободы», то есть как раз то самое, чего, по замечанию Николая Степановича (он же Антон Павлович Чехов), нет у русских писателей.

Конец 1889 года принес неудачу с «Лешим», поставленным 27 декабря на сцене частного московского театра Абрамовой. Как мы знаем, Чехов предполагал писать пьесу вместе с Сувориным. Была составлена «афиша», т. е. выработан список всех действующих лиц с подробной характеристикой каждого, был разработан и сценарий. В конце концов Суворин от участия отказался, а Чехов отложил работу над «Лешим» и, лишь уступая просьбам режиссера теа-



Виньетки для книги „Пестрые рассказы" работы Ф. О. Шехтеля



Виньетка для книги „Пестрые рассказы" работы Ф. О. Шехтеля

тра — «выручить сезон и дать новую пьесу», согласился срочно дописать «Лешего».

Пьеса не имела никакого успеха и Чехов почувствовал к ней ненависть. Когда его просили напечатать «Лешего», он ответил решительным отказом: «Эту пьесу я ненавижу и стараюсь забыть о ней. Сама ли она виновата, или те обстоятельства, при которых она писалась и шла на сцене, не знаю, но только для меня было бы истинным ударом, если бы какие-нибудь силы извлекли ее из-под спуда и заставили жить». (Из письма к А. И. Урусову.)

Несколько лет спустя Чехов написал «Дядю Ваню» — одно из совершеннейших созданий своей драматургии. Здесь воскресли многие персонажи «Лешего».

„Я хотел бы быть свободным художником..."

19 января 1887 года умер поэт С. Я. Надсон [24], один из самых ярких выразителей глубоко безнадежных настроений своей эпохи. «Облетели цветы, догорели огни, непроглядная ночь как могила темна» — эти слова раскрывали основное звучание всей его поэзии.

Через год — 19 марта 1888 года бросился с лестницы и разбился насмерть писатель Всеволод Гаршин, душевная болезнь его имела своими истоками сознание той же безнадежности, того же отчаяния.

Надсон и Гаршин искали выхода и не находили его. Другие этот выход видели в «чистой поэзии», в проповеди «искусство для искусства». Так Фофанов [25] пел о «звездах ясных, звездах прекрасных», изгнав из своих стихов всякое идейное содержание, а Иероним Ясинский [26] провозглашал, что «цель искусства заключается вовсе не в том, чтобы учить, а в том,

чтобы сделать людей счастливыми, доставляя им одно из самых высоких наслаждений». И ему вторил поэт Минский [27]: «Требовать от поэзии чего-либо, кроме эстетического наслаждения, — это все равно, что требовать от глаза, чтобы он не только смотрел, но и слышал или обонял. Наука раскрывает законы природы, искусство творит новую природу. Творчество существует только в искусстве, и только одно творчество доставляет эстетическое наслаждение».

Одни уходили от общественной борьбы и разрешения социальных конфликтов в поэзию, другие, не удовлетворившиеся одной только эстетикой, создавали — себе на утешение — философию «малых дел», призывающую применить свою инициативу в «малых делах», ссылаясь на пример земских врачей, сельских учительниц, акушерок. Общественное сознание этой части интеллигенции, еще сохранившей долю социального оптимизма, было узко, а теория «малых дел» в практическом своем применении была ничем иным, как выражением того же общественного индиферентизма. И было совершенно естественным то огромное влияние, которое имело на русское общество восьмидесятых годов учение Л. Н. Толстого. Еще в 1879 году, т. е. в год окончания Чеховым гимназии, появилась толстовская «Исповедь», за которой были написаны «Критика православного догматического богословия», «В чем моя вера» и другие работы.

Для широких кругов интеллигенции, тяготевшей к замене социальных проблем проблемами моральными, учение Толстого нашло благоприятную почву. Общественные настроения были понижены, энергия упала, дух активизма рассеялся. Л. Н. Толстой проповедывал «неделание», «непротивление злу», личное самоусовершенствование, и на все это стали ссылаться

люди, общественно равнодушные, ленивые, впавшие в уныние и отчаяние *.

Это была эпоха безвременья. Революционное народничество было уже в прошлом, а возникновение организованного рабочего движения было еще в будущем. Шел сложный процесс смены патриархально-земледельческой культуры промышленно-капиталистической. Народники эту смену переживали драматически.

Очень ценные воспоминания об общественных настроениях тех лет оставил В. В. Вересаев [28] в «Автобиографической справке» **: «Активное народничество, — говорит Вересаев, — в это время шло уже сильно на убыль. Начинало распространяться толстовство, культ Платона Каратаева ***, усердно читались «Основы народничества» Юзова, статьи о русских сектантах. Во мне лично такое народничество симпатий не возбуждало, веры в народ не было, было только

---

* Вл. И. Ленин в своей известной статье „Лев Толстой как зеркало русской революции", говоря о „кричащих противоречиях во взглядах, учениях, в школе Толстого", указывает, что в произведениях Толстого раскрывается, с одной стороны, „замечательный, сильный, непосредственный и искренний протест против общественной лжи и фальши, — с другой стороны, толстовец, т. е. истасканный, истеричный хлюпик, называемый русским интеллигентом, который публично бия себя в грудь, говорит: „Я скверный, я гадкий, но я занимаюсь нравственным самоусовершенствованием, я не кушаю больше мяса и питаюсь теперь рисовыми котлетками". Цитирую по сборнику „Ленин и Толстой", изд-во „Коммунистической академии", М. 1928.

** „Русская литература XX века", под ред. Венгерова.

*** Платон Каратаев — одно из действующих лиц в романе Л. Н. Толстого „Война и мир" — солдат-философ, основы миросозерцания которого предвосхищают позднейшие философские положения „неделания" и „непротивления".

сознание вины перед ним и стыд перед ним за свое привиллегированное положение. Но путей не виделось. Борьба представлялась величественной, привлекательной, но трагически бесплодной борьбой гаршинского безумца против «красного цветка» *.

Чехов в эти годы был уже автором целого ряда произведений, в которых он дал отклик общественным настроениям эпохи. Но не случайно название сборника его рассказов «В сумерках», как не случайны и те пессимистические настроения, которые звучали и в «Именинах», и в «Припадке», и в «Скучной истории». Если не останавливаться на том влиянии, которое в известной мере оказало на Чехова толстовство, о чем мы будем говорить позже — в связи с той внутренней эволюцией, которую переживает Чехов, освобождаясь от «поклонения чужим мыслям», если миновать эти толстовские влияния, то как определить место Чехова среди наиболее ярких представителей идеологических направлений, характеризующих восьмидесятые годы?

Что Чехов не был проповедником «чистой поэзии» в духе Фофанова, Ясинского, Минского — об этом говорят все его рассказы, написанные между 1884-1888 гг. И «На пути», и «Верочка», и «Огни», и «Именины», и «Припадок» и «Скучная история — неизменно ставят проблемы о смысле и цели существования. Это произведения «большой темы», на что и обращала внимание современная Чехову критика. Правда, Чехов не решает этих вопросов, убежденный, что не дело художника разрешать их. Дело художника — повторяет Чехов — лишь правильно поставить

* Герой рассказа Гаршина — безумец, посвятивший свою жизнь борьбе со злом, олицетворенном в „красном цветке".

ту или иную проблему. Дело «специалиста» их разрешить.

Нельзя причислить его и к сторонникам проповеди «малых дел». Правда, его «Иванов» говорит: «Не женитесь ни на еврейках, ни на психопатках, ни на синих чулках, а выбирайте себе что-нибудь заурядное, серенькое, без ярких красок, без лишних звуков. Вообще всю жизнь стройте по шаблону. Чем серее и монотоннее фон, тем лучше. Не воюйте в одиночку с тысячами, не сражайтесь с мельницами, не бейтесь лбом о стены... Заприте себя в свою раковину, и делайте свое маленькое, богом данное дело».

И это принимали за проповедь «малых дел», будто бы разделяемую самим Чеховым. Но Чехов в огромном письме к А. С. Суворину, накануне постановки в Александринском театре «Иванова», дал подробнейший анализ образа своего героя, подчеркивая, что все его речи о малых делах являются лишь выражением душевной усталости.

Нет, Чехов глубже и шире философии «малых дел». Но так же, как и большинство интеллигенции восьмидесятых годов, он склонен социальные проблемы подменить проблемами моральными. Очень в этом отношении характерны строки его письма к Плещееву по поводу повести «Именины». Плещеев недоумевает: кому же симпатизирует Чехов, кого он любит — либеральную Ольгу Николаевну, героиню повести, или консервативного ее мужа? Не смеется ли он над человеком шестидесятых годов, показанном в карикатурном виде, и не потерял ли он уважение к земству? Чехов отвечает на это: «Если мне симпатична моя героиня Ольга Михайловна, либеральная, бывшая на курсах, то я этого в рассказе не скрываю. Не прячу я свое уважение к земству, которое люблю, и к суду

присяжных. Правда, подозрительно в моем рассказе стремление к уравновешиванию плюсов и минусов. Но ведь я уравновешиваю не либерализм и консерватизм, которые не представляют для меня главной сути, а ложь героев с их правдой».

И дальше — по поводу затронутых Плещеевым вопросов — он категорически протестует против тех, кто «ищет тенденции» в его произведениях, — против тех, кто хочет видеть в нем «непременно либерала или консерватора». И заявляя о том, что он «не либерал, не консерватор, не постепеновец, не монах, не индифферентист», Чехов развертывает свою программу:

«Я хотел бы быть свободным художником — и только, и жалею что бог не дал мне силы, чтобы быть им. Я ненавижу ложь и насилие во всех их видах, и мне одинаково противны как секретари консисторий, так и Нотович с Градовским *. Фарисейство, тупоумие и произвол царят не в одних только купеческих домах и кутузках; я вижу их в науке, в литературе, среди молодежи... Поэтому я одинаково не питаю особого пристрастия ни к жандармам, ни к мясникам, ни к ученым, ни к писателям, ни к молодежи. Фирму и ярлык я считаю предрассудком. Мое святое святых — это человеческое тело, здоровье, ум, талант, вдохновенье, любовь и абсолютнейшая свобода, свобода от силы и лжи, в чем бы последние две ни выражались. Вот программа, которой я держался бы, если бы был большим художником». (Из письма к А. Н. Плещееву, 1888 года 4 октября.)

Так отвечает он на вопрос о своих убеждениях. Желая остаться в «стороне от схватки», Чехов и не

---

* Нотович—издатель либеральной газеты в Петербурге восьмидесятых—девяностых годов, Градовский—публицист-либерал.

пытается разрешить социальных противоречий. Но не потому ли это, что он не понимает предпосылок, создающих «схватку», как не понимает причин социальных конфликтов и противоречий? Мы помним его рецепт борьбы с нищенством: научитесь ценить чужую копейку, воспитайте всех в уважении к труду, и нищенство исчезнет «само собой».

Широкая программа, заявленная Чеховым-художником, соответствует и той программе, которую он разделяет как общественный деятель. Когда он получил от одного петербуржца письмо, извещавшее о состоявшемся соглашении нескольких молодых литераторов печатать объявления друг о друге на своих книгах, причем в это соглашение включались «лица более или менее солидарные», Чехов очень сердито заявил, что «солидарность молодых литераторов невозможна и ненужна». «Солидарность и прочие штуки» он понимает «на бирже, в политике, в делах религиозных, а для того, чтобы помочь своему коллеге уважать его личность и труд, чтобы не сплетничать на него, не завистничать, чтобы не лгать ему и не лицемерить перед ним, для всего этого нужно быть не столько молодым литератором, сколько вообще человеком». И он приглашает своего приятеля И. Л. Щеглова[29] относиться одинаково ко всем — тогда «не понадобится искусственно взвинченной солидарности» и обещает ему: «Вы можете писать где и как угодно, мыслить хотя бы на манер Корейши *, изменять тысячи раз убеждения и направления и проч. и проч. и человеческие мои отношения к Вам не изменятся». (Из письма к Щеглову, 3 мая 1888 года.)

---

* Корейша — „предсказатель"-юродивый, популярный среди московского мещанства и купечества.

И Чехов не скрывает, что лично у него «политического, религиозного и философского мировоззрения еще нет. Я меняю его ежемесячно». (В письме к Д. В. Григоровичу, 9 октября 1888 года.)

Чехов предпримет энергичную борьбу за освоение тех моральных начал, о которых он говорит в своих письмах. За вдохновение и любовь, за человеческое здоровье и ум, за талант и свободу — против фирмы, ярлыка, предрассудков, силы и лжи.

В восьмидесятых годах он переживает известный кризис сознания, не чувствуя себя свободным от предрассудков. Но он найдет выход из тупика. Он не повторит надсоновских жалоб, не впадет в гаршинскую тоску, не уйдет от жизни в скорлупу собственного самоусовершенствования, не будет читать проповедей о пользе малых дел, не примет толстовского неделания, откажется от непротивления, так же как он не станет и заниматься игрой в эстетические бирюльки.

Но долгое понадобится время для того, чтобы раскрылась перед Чеховым правда о «либерализме и консерватизме», много потратит он усилий, прежде чем подойдет к этим проблемам не в этическом, а в социальном разрезе. Ему нужно будет возмужать для того, чтобы понять всю беспочвенность заявления о желании быть свободным художником и только. Рост же социального сознания Чехова шел медленно, этот рост шел у него зигзагообразно. На пути к освобождению от тех социальных предрассудков, которыми Чехов был окутан, перед ним стояли преграды и влияния, тормозившие его освобождение. Одним из сильнейших и продолжительнейших влияний — было влияние А. С. Суворина. На нем мы остановимся подробнее.

Суворинская отрава

А. С. Суворин (родился в 1834 г., умер в 1912 г.) — журналист, книгоиздатель, беллетрист, драматург, редактор газеты «Новое время» — одного из самых продажных органов русской печати последней четверти XIX века — начал свою литературную деятельность еще в шестидесятых годах и сразу выдвинулся, как один из талантливейших публицистов. Он примыкал тогда к радикальному лагерю и его фельетоны, подписанные псевдонимом «Незнакомец», пользовались огромным успехом. Один из сборников его статей был даже сожжен по приговору царской цензуры. Он редактировал в семидесятых годах либеральную газету «С. Петербургские ведомости», а потом приобрел маленькую газету «Новое время», которую впоследствии превратил в боевой орган воинствующего великодержавного национализма. Эта газета, которую так метко назвал Салтыков-Щедрин «Чего изволите», выражала официальную программу правительства.

Суворин был несомненно талантлив и умен, и тем больше зла приносили его статьи, в которых проповедывалась ненависть к инородцам — в особенности к евреям — и утверждалась реакция Александра III — Победоносцева и Николая II.

Он импонировал Чехову и своей необычайной энергией, и разносторонней начитанностью, и оригинальным умом, и той личной обаятельностью, которая как бы противопоставлялась тому продажному и гнусному, что являло собой «Новое время».

Русская интеллигенция, даже и не радикального оттенка, не говоря уже о передовых ее слоях, относилась к «Новому времени» с определенным и

понятным предубеждением. Сотрудники суворинской газеты пользовались очень незавидной репутацией, но газета была в известных сферах влиятельной, выходила в небывалых, для того времени, тиражах, располагала огромными средствами, — наряду с изданием «Нового времени» Суворин прекрасно наладил большое книгоиздательское дело и организовал целую сеть книжных магазинов, в том числе и на всех железнодорожных станциях России.

Он хорошо платил своим сотрудникам и умел привлекать в газету талантливых людей. В «Новом времени» печатались известные писатели, убежденные в том, что они сохраняют свою «независимость» — им, очевидно, казалось, что их «чистая литература» — в фельетоне — непроницаемой стеной отгорожена от грязной политики газеты в целом.

В 1886 году Суворин пригласил и Чехова писать в «Новом времени» субботники.

Мы уже знаем ряд заявлений Чехова о том, что он не причисляет себя ни к либералам, ни к консерваторам, и больше всего боится тенденции. Он хотел бы быть свободным художником.

Эти заявления характерны не только для Чехова. Его современник — один из создателей московского Художественного театра Вл. Ив. Немирович-Данченко [30], в восьмидесятых годах сотрудник того же «Будильника», где работал и Чехов, дал яркую зарисовку одного из тех кружков, в которых вращался он, его сверстники и в их числе А. П. Чехов.

«Кружок был довольно пестрый, но в нем рельефно вырисовывались направления, так называемых, девятидесятников. В политическом смысле общее направление кружка было либеральным, но со значительными уклонами и влево и вправо. Были в этом

кружке убежденные, горячие конституционисты; двое-трое из них примешивали свои политические убеждения решительно ко всякой теме беседы. За ужином непременно говорили такие речи, которые требовали оглядки. В ту пору выработался даже трафарет: каждый ужин непременно заканчивался приветственной телеграммой Щедрину.

Были и более умеренные, но большинство состояло из людей, искавших в этих сборищах не только единодушия в политических убеждениях, сколько отдыха от них. И время, как известно, было реакционное и, чем сильнее чувствовалась тягота сверху, тем более сгущались политические мечты. Но на этих вечеринках хотелось отойти от них, и искали смеха, поэтому некоторые из молодых профессоров тогдашнего университета скоро отошли от этого кружка.

Генерация молодых писателей, собиравшихся здесь, выросла из гимназистов семидесятых годов и студентов начала восьмидесятых, в гимназии увлекавшихся одновременно и Писаревым, и Спенсером, и Прудоном, и Кантом, поэтому, если не участвовавших лично, то не совсем чуждых революционному движению конца семидесятых и самого начала восьмидесятых годов, но силою ли судьбы, отсутствием ли истинного пафоса, или тяготением к художественной литературе, преимущественно перед публицистикой, оторвавшихся от этого движения.

У всех этих молодых людей, искавших и имевших возможность проявить свои литературные наклонности, не было ни той прямолинейности, с какой одни отдавались своим политическим тенденциям, ни той освобожденности от всякой политики, какой были отмечены другие сверстники, потянувшиеся за общим доминирующим движением. Наметилось как будто

два течения, настолько противоположные друг другу, что они как бы никогда нигде не сливались.

Если писатели отдавались исключительно художественной литературе, искали красок от жизни, не думая о том, чему они служат — либеральным ли, или консервативным идеям, то они считались безыдейными и иметь успех им было не только трудно, но почти невозможно. С другой стороны, тенденциозность, непременная подчеркнутость либерализма претила. Людей с настоящим художественным чутьем, так умевших соединить в своих произведениях истинную художественность с красотой своей идеи, как это делал Короленко, было один-два и почему-то в ту пору он и пользовался исключительным успехом.

Владевший молодыми умами Н. К. Михайловский, своими критическими статьями как бы держал на вожжах молодую художественную литературу. Существовало тогда, ставшее даже шаблонным, убеждение, что добиться успеха немыслимо без того, чтобы не пострадать и, по меньшей мере, не быть сосланным на несколько лет. Когда теперь вспоминаешь о тех, кто не испытал кары, а продолжал работать на свободе, то не находишь никаких данных упрекать их в трусости, все-таки, это были люди лучшие в художественной литературе, прежде всего, желавшие правды в искусстве и оригинальности.

Это были люди, относящиеся с уважением, даже с поклонением к горячим, убежденным, самопожертвованным идеям, но не терпевшие халатности в этой области, скрытой погони за популярностью, пользования, злоупотребления общими местами. Если у левых бился живой дух к благородным завоеваниям политической свободы, то у других он стремился к восприятию живой правды и к установке таких

идей, в которых не было бы нужно безжизненное доктринерство. Если такой беллетрист, как Григорий Мачтет, мог иметь тогда огромный успех у молодежи, в либеральной прессе, то в среде писателей второй категории он не вызывал ничего кроме усмешки, до такой степени он казался ей лишенным всякого художественного таланта.

На одном из таких сборищ в отдельной, не очень большой комнате гостинницы «Россия», Николай Кичеев познакомил меня с Чеховым. Он тогда только что написал и поставил в театре Корша «Иванова». Под многими произведениями он уже подписывался полной фамилией, под мелочами оставляя еще подпись Чехонте.

Я увидал довольно красивого, положительно красивого молодого человека, с приятно вьющимися, забранными назад волосами, с бородкой и усами, очевидно избегавшими парикмахера, державшегося скромно, но без излишней застенчивости, и, очевидно, склонного к невычурной чистоплотности и внешней порядочности, голос очень низкий, молодой бас, дикция настоящая русская, даже с каким-то оттенком чисто великорусского наречия, интонация гибкая, даже переливающаяся в легкий распев, однако без малейшей сантиментальности и, тем более, театральности».

Если вспомним высказывания Чехова по вопросам общественным и этическим, то убедимся, что в этом кружке Чехов занимал позицию сторонников «чистой литературы». Ему претила тенденциозность, непременная подчеркнутость либерализма, как выражается Вл. Ив. Немирович-Данченко. Он был в числе тех, которые, ценя В. Г. Короленко, посмеивались над Григорием Мачтетом.

Чехов, участвуя в этом кружке, конечно, иронизировал над теми «убежденными, горячими конституционистами, которые примешивали свои политические убеждения решительно ко всякой теме беседы». Но и при всей широте своей художественной программы, которая заставляла его быть на «одинаковом» расстоянии и от либералов и от консерваторов, Чехов, если бы захотел быть до конца искренним, должен был бы признать, что все его тогдашние симпатии все же лежали не в либеральном лагере. Ведь ставя на один уровень консисторских чиновников и передовых публицистов, он в этот ряд не включил ни Суворина, ни Буренина. Да и печатался он в ту пору не в органах российского либерализма — «Русских ведомостях» и «Русской мысли», а в беспринципной «Петербургской газете» и в очень «принципиальном» «Новом времени». Он долго жил настроениями кружка, описанного Немировичем-Данченко.

Отголосок тех насмешливых бесед, которые там несомненно велись по поводу «пострадавших» и этим приобретших успех и авторитетность, слышится в позднейшем чеховском фельетоне — «В Москве», напечатанном в 1891 году в «Новом времени» за подписью «Кисляев».

В фельетоне речь идет о некоем московском интеллигенте — московском гамлетике, решительно всем недовольном. Раб по натуре, лицемер и трус, боящийся иметь свое мнение и повторяющий чужие мысли, он требует «от журналов честного направления» и, главным образом, чтобы «статьи были подписаны профессорами или людьми, побывавшими в Сибири. Кто не профессор, и кто не был в Сибири, тот не может быть истинным талантом».

Это почти дословное повторение строк из воспоми-

наний Немировича-Данченко о кружке, в котором он познакомился с Чеховым. Но, по существу говоря — все это лишь перепев передовиц «Нового времени»! Нет, надо прямо сказать, что Чехов, декларировавший о своей полной «беспартийности», и очень боявшийся тех, кто, читая между строк, причислял его к либералам, на самом деле исповедывал тогда совершенно определенные лозунги и разделял совершенно определенную идеологию. Лозунги — нововременские, идеология — суворинская.

Принимая приглашение Суворина, он великолепно понимал, какому риску подвергает он свою литературную репутацию, печатаясь в «Новом времени». Он пишет В. В. Билибину [31]: «Надо полагать, что после дебюта в «Новом времени» меня едва ли пустят теперь во что-нибудь толстое». И через год, когда пошли слухи о том, что его книга представлена на Пушкинскую премию, он заявлял брату Александру, чте премия не может быть ему дана, «уже по одному тому, что он работает в «Новом времени».

Но Суворин импонировал Чехову, а Чехов долгое время оставался для Суворина тем человеком, на которого он мог влиять и заражать своими убеждениями, тем более, что в его горячих, и как тогда казалось Чехову, искренних речах — не было заметно грубой «тенденции». Из всех литературных авторитетов, с которыми сталкивался молодой Чехов, Суворин был, конечно, самым значительным. До сих пор, до дебюта в «Новом времени», Чехов имел дело с Кичеевым, Уткиной, Лейкиным, Худяковым. Он хорошо знал цену этим людям и не уважал их. Да и что могли они ему дать, какие горизонты открыть, чем расширить его познания, воспитать вкус? А Суворин, за которым Чехов видел прежде всего редактора

большой и влиятельной газеты, был блестящ, талантлив, умен, умел пленять и крепко держал в плену своей личной обаятельностью.

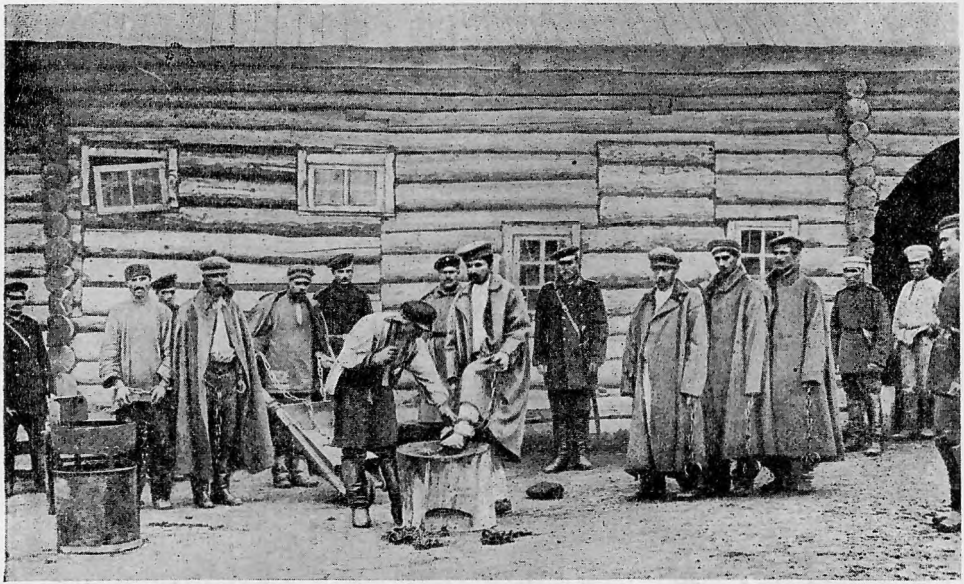
Мы легко проследим по чеховским письмам * историю растущей и крепнущей дружбы между старым редактором и молодым писателем. Чехов уже в первом своем письме к Суворину начинает с благодарности за скорое напечатание рассказа — («Панихида») и восклицает: «Как освежающе и даже вдохновляюще подействовало на мое авторство любезное внимание такого опытного и талантливого человека, как вы, можете судить сами». И он был вполне искренен: ему было за что благодарить. «Работаю я уже шесть лет, но вы первый, — говорил он Суворину, — который не затруднились указанием и мотивировкой». Так завязывается близость с Сувориным. Ее зерно в естественном чувстве признательности молодого писателя к опытному литератору за полезное, а главное — мотивированное указание. Потом, когда заочное знакомство вылилось в очень дружественные личные отношения, Чехов дал очень тонкий анализ своих чувств к Суворину. У него, необыкновенно сдержанного в интимных признаниях, вырываются такие строки в письме к Суворину:

«Я страшно испорчен тем, что родился, вырос, учился и начал писать в среде, в которой деньги играют безобразно большую роль». И он говорит, что сперва радовался, чувствуя себя в «Новом времени», как в Калифорнии. Ведь он не получал раньше больше семи-восьми копеек со строки и потому «дал себе слово писать возможно чаще, чтобы получать больше.

* К сожалению, письма самого Суворина к Чехову до сих пор не обнаружены, и вопрос о взаимоотношениях Суворина и Чехова может решаться только на материале чеховских писем.



Вл. И. Немирович-Данченко



Заковка в кандалы перед отправкой на Сахалин

Из собр. Лит. музея при б-ке СССР им. Ленина

В этом ведь нет ничего дурного». Но когда ближе познакомился с Сувориным и тот стал для него своим человеком, его «мнительность стала на дыбы»: Чехов начал бояться, чтобы его отношения с Сувориным не были омрачены чьей-либо мыслью, что он нужен Чехову, как издатель, а не как человек.

Эти строки определенно указывают на то, что Чехов отделяет Суворина-издателя от Суворина-человека. Но он не замечает, что эта его приязнь к Суворину-собеседнику перерастает невольно в приязнь к Суворину-редактору.

Когда он начал печататься в «Северном вестнике», это дало повод некоторой части критики предположить, что Чехов «порвал с «Новым временем». Чехов же спешит по этому поводу написать А. С. Суворину: «Мои доброжелатели критики радуются, что я ушел из «Нового времени». Надо бы поэтому, пока радость их не охладилась, возможно скорее напечататься в «Новом времени».

И как он восхищен Сувориным! Как старается заразить своим восхищением и родных, и друзей. Суворин, например, выпустил собрание сочинений Пушкина, причем известно, что в этом деле он сыграл очень некрасивую роль, едва не сорвав издание Пушкина, предпринятое Литературным фондом. Но Чехов, восхищенный его издательской ловкостью («весь Пушкин за два рубля, с пересылкой») пишет Митрофану Егоровичу Чехову, что «такие дела может обделывать только такой великий человек и умница, как Суворин, который для литературы ничего не жалеет. У него пять книжных магазинов, одна газета, один журнал, громадная издательская фирма, миллионное состояние и все это нажито самым честным, симпатичным трудом».

Когда была в разгаре история с изданием Пушкина, когда передовая интеллигенция возмущалась статьями Буренина, издевавшегося над смертельно больным Надсоном, Чехов счел своим долгом заступиться за Суворина. «Меня чуть не обливают презрением за сотрудничество в «Новом времени», — пишет он брату Александру, и, опасаясь, как бы он не поверил слухам о «злодеяниях Суворина», на которого «возводят небылицы», уведомляет Александра Павловича, что «многие из интеллигентов собираются послать Суворину адрес за его издательскую деятельность».

Суворин пленил не одного Чехова. К нему восторженно относился, например, И. Л. Щеглов-Леонтьев и Чехов, вполне разделяющий его чувства, в свою очередь поет в честь Суворина целый гимн:

«...Быть с Сувориным и молчать так же не легко, как сидеть у Палкина и не пить. Действительно, Суворин представляет из себя воплощенную чуткость. Это большой человек. В искусстве он изображает из себя то же самое, что сетер в охоте на бекасов, то есть работает чертовским чутьем и всегда горит страстью. Он плохой теоретик, наук не проходил, многого не знает, во всем он самоучка — отсюда его чисто собачья неиспорченность и цельность, отсюда и самостоятельность взгляда. Будучи беден теориями, он поневоле должен был развить в себе то, чем богато наделила его природа, поневоле он развил свой инстинкт до размеров большого ума. Говорить с ним приятно. А когда поймешь его разговорный прием, его искренность, которой нет у большинства разговорщиков, то болтовня с ним становится почти наслаждением. Ваше Суворин-шмерц я отлично понимаю». (Из письма к И. Щеглову. 18 июля 1880 года.)

За Суворина и против... „Нового времени"

Чехов болезненно относился к разговорам, которые шли вокруг его отношений к Суворину и участию в «Новом времени». На этой почве у него возникло недоразумение с Н. К. Михайловским, одним из редакторов «Северного вестника».

Михайловский, прочитав в корректуре «Степь», тотчас же откликнулся большим письмом, в котором, выражая свое искреннее восхищение перед отдельными кусками повести, говорил, что Чехов совершил грех, разрываясь на клочки. «Читая, — пишет ему Н. К. Михайловский, — я точно видел силача, который идет по дороге, сам не зная куда и зачем, так — кости разминает, и, не сознавая своей огромной силы, просто не думая о ней, то росточек сорвет, то дерево с корнем вырвет. Все с одинаковой легкостью и разницы между этими действиями не чувствует».

Михайловский признает, что Чехов — сила. Но сила бывает мрачная (Достоевский) и ясная (Толстой до своего повреждения). Сила Чехова — ясная, она злу не послужит, не может послужить, и Михайловский поражен чеховской неиспорченностью, потому что «не знал школы хуже», той, которую Чехов проходил в «Новом времени» и «Осколках» и пр.

Грязь к Чехову не пристала, но «школа сделала, однако, что могла — приучила к отрывочности и прогулке по дороге, незнамо куда и незнамо зачем». Михайловский уверен, что это должно пройти, и Чехов не только не послужит злу, а прямо послужит добру, тогда ему предстанет блестящая будущность. И в заключение он призывает Чехова не возвращаться ни на минуту на этот путь разбрасывания себя на клочки. «Не то, чтобы вы непременно писали большие

вещи, пишите, что хотите, — убеждает Михайловский, — пишите мелкие рассказы, но вы не должны, не смеете быть дилетантом в литературе, вы в нее должны душу положить».

Письмо обидело Чехова. А. С. Лазарев-Грузинский передает любопытнейший разговор, который он имел с Чеховым по поводу Михайловского, намеки которого на Суворина («не знаю школы хуже той, которую вы проходили») — были ему крайне неприятны. Чехов сказал, что много раз начинал и рвал ответ Михайловскому. Он прочел Грузинскому черновые отрывки своего ответа и Грузинский уверяет, что хорошо помнит основные мысли Чехова.

Чехов писал, что не чувствует никакой антипатии к «Новому времени», но если бы и чувствовал, — не затруднился бы печататься там, потому что слишком многим обязан Суворину, чтобы уходить от него. Когда он был слаб и неизвестен и страстно карабкался вверх, никто не протянул ему руки, никто не пришел на помощь. Это сделал один лишь Суворин.

Прочитав свой ответ, Чехов добавил с досадой:

«Далось им «Новое время»! Ведь поймите же, тут может быть такой расчет. У газеты пятьдесят тысяч читателей — я говорю не о «Новом времени», а вообще о газете — этим пятидесяти, сорока, тридцати тысячам гораздо полезнее прочитать пятьсот моих безвредных срок, чем те пятьсот вредных, которые будут итти в фельетоне, если своих я не дам. Ведь это же ясно! Поэтому я буду писать решительно в каждой газете, куда меня пригласят» *.

Ответ, который так трудно давался, Чехов все же

---

* Воспоминания Грузинского-Лазарева в газете „Русская правда“ № 99, 1904.

послал Михайловскому. До нас он не дошел, но в Чеховском архиве сохранилось второе письмо Михайловского, по которому можно восстановить основные пункты чеховского возражения.

Чехов, прежде всего, указывал на отсутствие у него целостного политического миросозерцания — «определенной веры».

«Я ничего не могу возразить против отсутствия в вас определенной веры, — на нет и суда нет», — отвечал ему на это Михайловский.

Второй пункт возражения — это ссылка на личные отношения с Сувориным. По этому поводу Михайловский пишет:

«Не считаю себя, разумеется, вправе касаться ваших личных чувств с Сувориным».

Третий — и главный мотив чеховской защиты против нападок на его участие в «Новом времени» в его письме был изложен так, как передает и А. С. Лазарев-Грузинский. У Михайловского читаем:

«Позволю себе не согласиться с одним Вашим аргументом. Вы пишите, что лучше уж читатели «Нового времени» получат Ваш индиферентный рассказ, чем какой-нибудь недостойный ругательный фельетон. Без сомнения, это было бы лучше, если бы Вы в самом деле могли заменить собой что-нибудь дрянное. Но этого никогда не будет и быть не может. Ради Вашего рассказа не изгонится ни злобная клевета Буренина, ни каторжные писания Жителя *, ни патриотическая наука Л. П. *, я думаю, Вы сами с этим согласитесь. Ваш рассказ поступит в общий котел, ничего собой не заменив и не изменив. Вы своим талан-

* Житель-Дьяконов, Л. П. Петерсон, сотрудники „Нового времени".

том можете только дать лишних подписчиков и, стало быть, читателей Буренину, Жителю, Л. П., которых Вы не замените, и разным гнусным передовицам, которых Вы заменить не пожелаете. Колеблющиеся умы, частью благодаря Вам, въедятся в эту кашу и, привыкнув, найдут, что она не так уж дрянна, а уж чего дрянней!»

И был очевидно еще один пункт в чеховском ответе, может быть, наиболее важный для уяснения тех внутренних мотивов, которые приводил Чехов в свое, если так можно выразиться, оправдание. Чехов принял укоры Михайловского, как проявление той «аристократической брезгливости», которая свойственна людям определенной веры, не прощающим ошибок тех, кто еще не успел избрать определенного пути. В этом «аристократизме» скрывается для Чехова та «узость» партийной мысли, против которой он выступал, доказывая свое право быть «свободным художником и только». Мы не знаем, что собственно писал Чехов по поводу «аристократизма» Михайловского, но из контекста его ответа можно понять, что речь шла именно об этой «узости мысли».

Михайловский отвечает Чехову: «Вы говорите об аристократической брезгливости ясной силы, не делающей чести ее сердцу. Здесь нет аристократизма, Антон Павлович, а сердце есть, — сердце и участие к тем, кто по тяжелым обстоятельствам времени вынужден ежедневно питаться гнусностями. Не индифферентны Ваши рассказы в «Новом времени» — они прямо служат злу».

Переписка оборвалась и на отношениях Чехова к Михайловскому на всю жизнь легла некоторая тень. Что Михайловский, много впоследствии писавший о Чехове, в некоторых своих оценках был недостаточно

широк и не понимал всей значительности чеховского творчества в целом, — это не подлежит никакому сомнению. Но не подлежит никакому сомнению и то, что его доводы против участия Чехова в «Новом времени» вполне разумны. Михайловский нащупал правильно наименее защищенную позицию Чехова: его постоянные ссылки на то, что Суворин дорог ему «сам по себе», лично как Суворин — талантливый литератор и увлекательный собеседник, а «Новое время» ему чуждо.

В течение многих лет он будет пытаться отделить Суворина от его газеты. Но когда он станет нападать на нововременцев, он воспользуется эпитетами... Михайловского. Так, Чехов скажет по поводу Жителя — «каторжный Житель» — забыв, что это определение принадлежит Михайловскому и что сам он, Чехов, еще недавно писал Суворину по поводу этого же Жителя следующее: «Житель прислал мне свою книжку. Я просил об этом. Хочу прочесть его в массе. Мне кажется, что время его еще не пришло. Может случиться, что он станет модным человеком». (19 декабря 1888 года.)

Когда Чехов только начинал свое сотрудничество в «Новом времени», то искренне думал, что Суворина нужно спасать от... «Нового времени».

Надо иметь в виду, что Суворин был натурой сложной, не без истерического кликушества и не без вкуса к самообличениям и самоистязаниям. В этом отношении его «Дневник», частично опубликованный, дает любопытнейший материал. Здесь целый ряд страниц — сплошь покаянные речи, в которых старик не жалеет злых слов по собственному адресу и ядовитых замечаний насчет сотрудников «Нового времени».

Сам Чехов при всяком свидании говорит с Суво-

риным откровенно и думает, что эта откровенность не бесполезна. Вряд ли была она полезной, потому что года через два, когда Суворин стал печатать его повесть «Дуэль» в фельетонах «Нового времени», но не только по субботам, как это было заведено, но и по средам, то это вызвало такую бурю возмущения среди нововременцев, что Антон Павлович вынужден был написать брату, чтобы Суворин отменил новый порядок — отдал среды другим сотрудникам.

«Разве они мне нужны, — восклицает он, — они мне так же не нужны, как и мое сотрудничество в «Новом времени», которое не принесло мне как литератору ничего кроме зла. Те отличные отношения, какие у меня существуют с Сувориным, могли бы у меня существовать и помимо моего сотрудничества в газете». (Из письма 24 октября 1891 года).

И тут же он объясняет причины, побудившие его согласиться на помещение «Дуэли» два раза в неделю: за ним числился крупный аванс, да кроме того он был «великодушен и не печатался около двух лет, предоставляя 104 понедельника и 104 среды и Петерсону и Каторжному Жителю».

И все-таки из «Нового времени» Чехов не уходил, потому что «был привязан к Суворину, к тому же, как вырвалось у него однажды в письме к Григоровичу, ведь «Новое время» — немалая пресса».

Но может быть, суворинское влияние не принесло того зла, о котором говорил Чехову Михайловский? Нет, принесло. Оно на несколько лет затормозило его борьбу с внутренним рабом, наложило отпечаток на его политические взгляды, отразилось в его этике, нашло свой отклик в его суждениях об общественных явлениях. Это Суворин наговорил ему, что во всех толстых журналах «царит кружковая партийная ску-

ка» — в них душно — и Чехов в свою очередь заявил, что «не любит толстые журналы и не соблазняется работать в них» и делал при этом вывод: «Партийность, особливо если она бездарна и суха, не любит свободы и широкого размаха», — как он и писал Плещееву 23 января 1888 года.

Но ведь и Суворин — в своей рецензии об «Иванове» * (после постановки пьесы в Петербурге на Александринской сцене), сообщая некоторые биографические подробности о Чехове, в высшую похвалу вменил ему то, что «Чехов не лазил к авторитетам журнализма за освящением своих начинаний и когда появилась первая книжка его рассказов, один толстый журнал строго погрозил ему погибелью за то, что он не сохраняет традиций и не подходит под благословение архиереев, управляющих епархиями русской мысли на полях толстого журнализма.

Но он не испугался угроз и сохранил свою музу во всей неприкосновенности и независимости».

И еще о Чехове писал Суворин: «Миросозерцание у него совершенно свое, крепко сложившееся, гуманное, но без сантиментальности, независимое от всяких направлений, какими бы яркими или бледными цветами они не украшались... Ничего отравленного какими-нибудь предвзятыми идеями нет у этого талантливого человека... Он сам как будто хочет сказать, что надо жить просто, как все и вносить свои лучшие намерения в развитие этой простой, обыкновенной жизни, а не тратить их на подвиги несоразмеримые и без пути не стремиться зажигать моря».

* Эту рецензию Чехов ценил „на вес золота", как говорил он Суворину.— Суворинская рецензия перепечатана из „Нового времени" в книге Юр. Соболева „Антон Чехов — неизданные страницы", М., изд. „Северные дни", 1916, стр. 87—90.

Разве не угадывается в этих суворинских комплиментах та философия «Нового времени», которой был отравлен Чехов? И намек на «архиереев, управляющих епархиями русской мысли на полях толстого журнализма», и определение чеховского миросозерцания как «независимого от всяких направлений» и даже облыжные утверждения, что Чехов «призывает не тратить лучшие силы на подвиги несоразмерные», — все это из передовиц «Нового времени», и Чехов, когда пишет о неприязни своей к «партийности», то он имеет, конечно, в виду либералов, а вовсе не нововременцев.

Послушайте, как отзывается он о редакторах «Русской мысли» *: они — невоспитаны, недогадливы, грошевый успех запорошил им глаза, они «только одно могут дать охотно — конституцию», у них — узкость, большие претензии, чрезмерное самолюбие и полное отсутствие литературной и общественной совести! Они — под флагом науки, искусства и угнетаемого свободомыслия сделают то, что «у нас на Руси будут царить такие жабы и крокодилы, каких не знавала даже Испания во времена инквизиции». Редакторы-либералы — всплошную неудачники; в своих журналах они ввели унылую цензуру, они «литературные таксы», помесь чиновников-профессоров с бездарными литераторами». И вообще, в «Русской мысли» сидят не литераторы, а копченые сиги, и т. д. и т. д. Все это мы читаем в письмах Чехова к литератору А. Н. Маслову, поэту А. Н. Плещееву и, конечно, А. С. Суворину, в 1887 и 1888 годах.

Да, конечно, Чехов не либерал, и нужно будет пройти целому десятилетию, прежде чем он освобо-

---

* Либеральный журнал, издаваемый Лавровым и редактируемый В. Гольцевым в девяностых годах.

дится от этой своей предвзятости, потому что иначе чем предвзятостью нельзя и назвать отношение Чехова к либеральным журналам. Впрочем, он и в неприятии либерализма остается на позиции чисто этической, моральной. Он спорит с Сувориным, утверждающим, что «презреннее нашей либеральной оппозиции ничего выдумать нельзя». «Ну, — спрашивает Чехов, — а те, которые не составляют оппозицию?» И отвечает: «Едва ли эти лучше», — объясняя почему: «Мать всех российских зол, это грубое невежество, а оно присуще в одинаковой степени всем партиям и направлениям».

И оказывается, что в его широкую программу, в которой он заявляет о своей непричастности ни к либералам, ни к консерваторам, ни к индифферентистам, ни к постепенновцам, нужно внести дополнение: он культуртрегер. Он и А. С. Суворина уважает именно за то, что тот «хвалит немецкую культуру и подчеркивает всеобщую грамотность». (Из письма к А. С. Суворину, 28 октября 1889 года).

Фосфор и железо

Гораздо быстрее, чем освоение элементарных политико-социальных истин, развивается в Чехове процесс освоения этических норм. Это идет, прежде всего, по линии критической самооценки. Он признает себя «из всех ныне благополучно пишущих россиян самым легкомысленным и несерьезным». Он кается перед В. Г. Короленко в том, что «свою чистую музу любил, но не уважал, изменял ей и не раз водил ее туда, где ей не подобает быть». (Из письма к В. Г. Короленко 17 сентября 1887 года).

А оглядываясь на целое пятилетие литературной

работы своей, он с горечью говорит о том, что за ним числится множество очерков, фельетонов, глупостей, водевилей, скучных историй, многое множество ошибок и несообразностей, груды исписанной бумаги, академическая премия, житие Потемкина и при всем том нет ни одной строчки, которая в его глазах имела бы серьезное литературное значение. «Была масса форсированной работы, но не было ни одной минуты серьезного труда».

Ему страстно хочется «спрятаться куда-нибудь лет на пять и занять себя кропотливым серьезным трудом». Он признает, что ему надо учиться с самого начала, ибо как литератор он «круглый невежда». «Мне надо писать, — говорит он, — добросовестно, с чувством, с толком, писать не по пяти листов в месяц, а один лист в пять месяцев. Надо уйти из дому, надо начать жить за семьсот-девятьсот рублей в год, а не за три-четыре тысячи, как теперь. Надо на многое наплевать, но хохлацкой лени во мне больше, чем смелости». (Отрывок из незаконченного письма 1889 года.)

Но не в «хохлацкой» лени, которую несправедливо приписывает себе Чехов, корень зла. Есть нечто более глубокое, — что объясняет чеховское недовольство самим собой: он замечает, что в талантливых людях его поколения «много фосфора, но нет железа», тогда как у писателей-стариков, «кроме таланта есть эрудиция, школа, фосфор и железо».

Это он написал Д. В. Григоровичу и это свидетельствует об огромной внутренней работе, которая шла в нем. Он пытливо заглядывает в самого себя, анализирует каждый свой поступок и еще раз убеждается, что в нем нет «железа». Он и Суворину сказал: «Для медицины я недостаточно люблю деньги, а для лите-

ратуры во мне нехватает страсти, и, стало быть, таланта. Во мне огонь горит ровно и вяло, без вспышек и треска, оттого-то не случается, чтобы я за одну ночь написал сразу листа три-четыре, или, увлекшись работою, помешал бы себе лечь в постель, когда хочется спать, не совершаю я поэтому ни выдающихся глупостей, ни заметных умностей».

Это очень важные высказывания и многое в них угадано Чеховым верно: в нем, действительно, огонь горел ровно, без вспышек и треска, но потому ли, что нехватало в нем страсти или, может быть, потому, что эта страсть была искусственно заглушена, запрятана в своеобразный футляр? Да и верно ли, что в нем вообще не было темперамента?

Несомненно, одна страсть, как бы ни скрывал ее Чехов, владела им всю жизнь — страсть писательская. Только он предъявлял чрезвычайно высокие требования к самому себе как писателю, а отсюда и все эти его жалобы на пуды исписанной бумаги и на форсированную работу. Он слишком осторожно относился к проявлениям своей подлинной страсти. Он «боялся таланта и свежести, которые могут все одолеть», в чем заверял его Григорович. «Талант и свежесть многое испортить могут — это вернее», — отвечал Чехов. Кроме «изобилия таланта», ему нужно было кое-что, не менее важное», возмужалость — это раз, во вторых — чувство личной свободы. В этом самое основное, самое для Чехова существенное.

Чувство личной свободы — вот та этическая основа, на которой вырастает чеховское миросозерцание.

Мы много раз цитировали слова о «рабьей крови», которую Чехов чувствовал в своих жилах и которую он «выдавливал по каплям». Приведем теперь полностью то место из чеховского письма к А. С. Суворину

(7 января 1889 года), в котором он говорит о процессе своего внутреннего освобождения:

«Напишите-ка рассказ о том, как молодой человек, сын крепостного, бывший лавочник, певчий, гимназист и студент, воспитанный на чинопочитании, целовании поповских рук, поклонении чужим мыслям, благодаривший за каждый кусок хлеба, много раз сеченный, ходивший по урокам без калош, дравшийся, мучивший животных, любивший обедать у богатых родственников, лицемеривший и богу и людям без всякой надобности, только из сознания своего ничтожества — напишите, как этот молодой человек выдавливает из себя по каплям раба и как он, проснувшись в одно прекрасное утро, чувствует, что в его жилах течет уже не рабская кровь, а настоящая человеческая».

Когда писались эти строки, один из признаков, определяющих рабью кровь, в нем еще оставался: поклонение чужим мыслям. Еще он не отбросил влияние Суворина, еще жил он отголосками его лукавой философии, еще крепка была в нем предвзятость, а социальное понимание явлений жизни все еще отсутствовало, но в нем уже таилась какая-то странная тоска и мучила духовная неудовлетворенность...

Чехов переживал трагедию, которая была трагедией целого поколения.

На Сахалине

И тогда он собрался на Сахалин. Это было полной неожиданностью и для его родных и для литературных друзей. Биографы Чехова обыкновенно ссылаются в этом случае на письмо к А. С. Суворину, в котором Чехов говорил о Сахалине, как об острове

«невыразимых страданий, на какие только бывает способен человек вольный и невольный» и утверждал, что в «места, подобные Сахалину, все должны ездить, как турки в Мекку». И дальше:

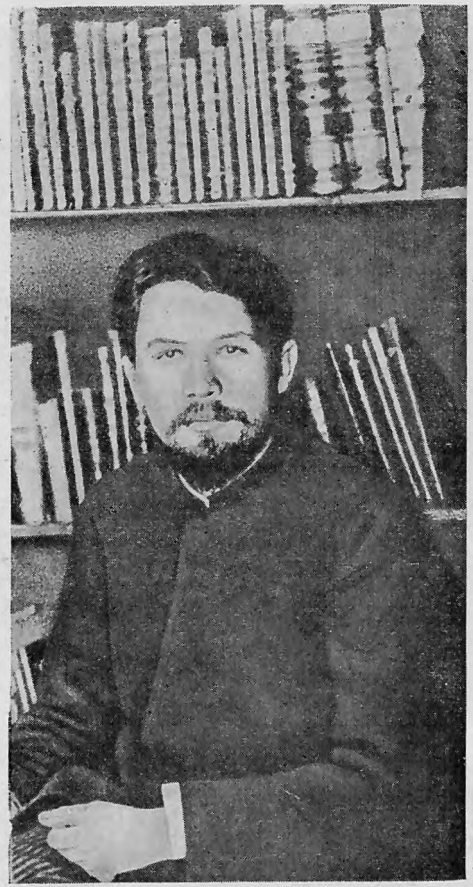
«Из книг, которые я прочел и читаю, видно, что мы сгноили в тюрьмах миллионы людей, сгноили зря, без рассуждения, варварски мы гоняли людей по холоду в кандалах десятки тысяч верст, заражали сифилисом, развращали, размножали преступников и все это свалили на тюремных красноносых смотрителей. Теперь вся образованная Европа знает, что виноваты не смотрители, а все мы». (Из письма к Суворину 9 марта 1890 года.)

Мы достаточно, однако, знаем о подходе Чехова к социальным явлениям для того, чтобы принять на веру его объяснение. Впрочем, он и сам говорит, что у него «не было целей ни гумбольдтовских, ни даже кеннановских» [32] и, как бы зачеркивая смысл данных Суворину объяснений, сам снижает идейную возвышенность своих побуждений прозаическим указанием на свое желание «написать о Сахалине сто—двести страниц» и этим заплатить «свой долг медицине». И вообще культурному человеку следует знать то, что сам Чехов узнал лишь по тем книгам, которые прочел по необходимости, готовясь к поездке, и которых он, по невежеству, раньше не читал». И выходит как будто бы, что Чехов не то приглашает к личному подвигу, принимая на себя долю ответственности за превращение Сахалина в место «невыразимых страданий», не то зовет к культурному самоусовершенствованию, предлагая читать книги, которые нужно знать каждому образованному человеку. Но есть другие мотивы, побудившие Чехова ехать на Сахалин, и они раскроют нам подлинную правду его решения.

В самый разгар сборов на Сахалин Чехов писал Щеглову, оспаривая его ссылку на критику, которая будто бы кому-то и в чем-то помогла. Чехов же утверждает, что если бы это могла делать критика, то «мы знали бы, что нам делать, Фофанов не сидел бы в сумасшедшем доме, Гаршин был бы до сих пор жив, Баранцевич не хандрил, и нам не было бы скучно, как теперь, и вас не тянуло бы в театр, а меня на Сахалин».

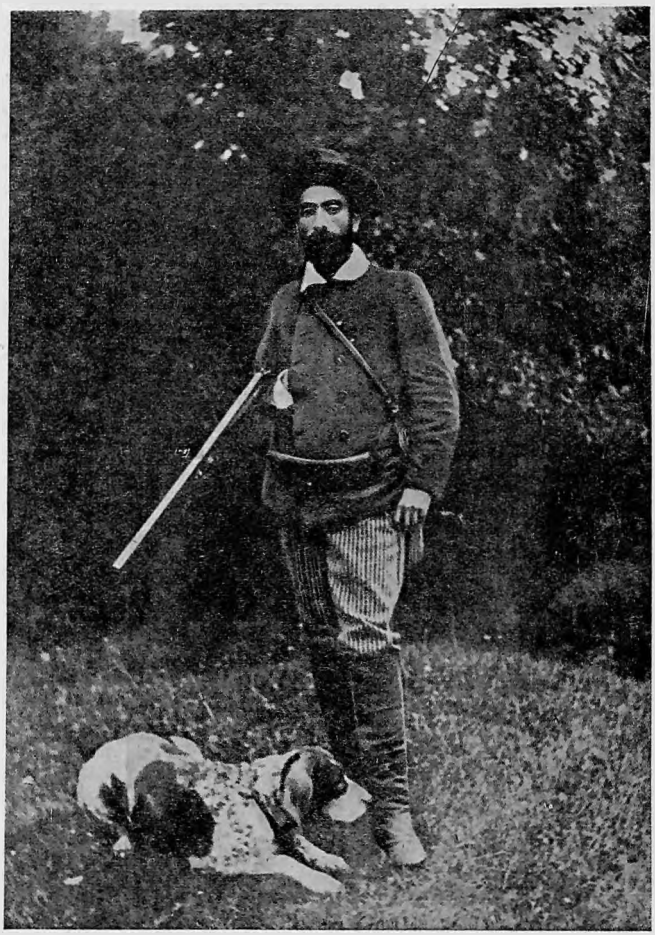
Так вот почему его тянет на Сахалин! «Скучно и нудно!» И это потому, что Чехов переживает тяжелый душевный кризис и кризис этот нельзя объяснить подавленным настроением после смерти брата Николая, или раздраженным самолюбием, после провала «Лешего». Нет, именно потому, что «нудно и скучно» — и надо вырваться из этой обстановки. И Чехов восклицает: «Пусть поездка не даст мне ровно ничего, но неужели все-таки за всю поездку не случится таких двух-трех дней, о которых я буду вспоминать всю жизнь с восторгом или горечью?». В «скучной и нудной жизни», которую до сих пор влачил Чехов, — таких «двух-трех дней» не было, а надо чтобы они были, иначе нечем будет жить! Вот как нам представляется настоящее объяснение неожиданного для всех решения Чехова поехать на Сахалин.

Мы уже знаем, как готовился Чехов к такой научной работе, как «История медицинского дела в России», и поэтому нас не удивит та необыкновенная энергия, с которой принялся он изучать материалы по Сахалину. Он прочел груду книг, сестра и ее приятельницы делали для него выписки в Румянцевской библиотеке, Суворин усердно снабжал его целыми фолиантами и Чехову приходилось быть геологом и биологом, этнографом и историком.



А. П. Чехов в своем кабинете в Мелихове

Фото середины 90-х годов. Из собр. Лит. музея при б-ке СССР им. Ленина



Художник И. И. Левитан (1861—1900)

Он попытался заручиться какими-нибудь официальными документами, которые давали бы ему доступ во все сахалинские учреждения, и ничего, конечно, не добился. Выезжая на Сахалин, Чехов имел один лишь корреспондентский бланк «Нового времени».

На Дальний Восток он выехал из Москвы в середине апреля. Его путь лежал через всю Сибирь. Предстояло сделать больше четырех тысяч верст на лошадях — Великого Сибирского железнодорожного пути тогда еще не было. О своих дорожных впечатлениях он подробно писал родным и в нескольких фельетонах для «Нового времени». Поездка протекала в чрезвычайно трудных условиях. Чехов плохо питался, не раз подвергался опасности утонуть, на лодках переплывая бурно разлившиеся сибирские реки, буквально завязал в грязи, страдал от жары, пыли, громадных лесных пожаров. Больше тысячи верст проплыл он по Амуру. И видел столько богатств и получил столько наслаждения и от Байкала, и от Забайкалья, и от Амура, что написал Суворину: «Мне и помереть теперь не страшно».

11 июля Чехов прибыл на Сахалин и прожил на нем больше трех месяцев, пройдя весь остров с севера на юг. Сахалинское начальство оказалось достаточно либеральным для того, чтобы позволить ему видеть на Сахалине все и, действительно, он видел все, кроме смертной казни. Он сам говорил, что сделано им на Сахалине было немало — хватило бы на три диссертации. Вставал каждый день в пять часов утра, поздно ложился. Сделал перепись всего населения, объездил все поселения, заходил во все избы и записал на карточках около 10 тысяч каторжных и поселенцев. Чехов отмечал, что ему особенно удалась перепись детей, на нее он возлагал большие надежды.

13 октября 1890 года Чехов выехал с Сахалина морским путем — через Великий океан и Суэцкий канал.

Он был в Гонконге, где восхищался чудной бухтой, движением на море, прекрасными дорогами, музеями, ботаническими садами... Его поразила здесь «нежная заботливость англичан о своих служащих», причем высшее достижение английской культуры Чехов усмотрел в том, что в Гонконге «есть даже клуб для матросов». И восторгаясь цивилизацией, возмущенно слушал как его спутники россияне «бранили англичан за эксплоатацию народа». Да, англичане эксплоатируют китайцев, сипаев, индусов, но зато дают им дороги, водопроводы, музеи, христианство, рассуждал Чехов, и спрашивал «россиян»: «Вы тоже эксплоатируете, но что вы даете?».

И нельзя не расслышать в этих наивных рассуждениях отголосок все еще продолжающегося воздействия суворинской идеологии. Именно такую «цивилизацию» и защищало «Новое время», отлично понимавшее философию британского воинствующего империализма, что было тогда совершенно недоступно для Чехова.

Из Гонконга — в Сингапур. Затем — Цейлон. Здесь Чехов сделал больше ста верст по железной дороге и «по самое горло насытился пальмовыми лесами и бронзовыми женщинами». Эта подробность «о бронзовых женщинах» как бы противоречит тому, что писал он в своем «Припадке», рассказывая о студенте Васильеве — этом «человеческом таланте», который органически не мог понять самой возможности существования проституции в культурном мире.

Да, конечно, Васильев не поступил бы как Чехов. Но Чехов переживал в этом путешествии как раз

те «два-три дня», о которых он всю жизнь будет вспоминать как о днях полной радости.

«Хорош божий свет», — делает он вывод из своих впечатлений, но сейчас же с горечью добавляет: «одно только нехорошо—мы. У нас мало справедливости и смирения. Мы дурно понимаем патриотизм. Пьяный, истасканный забулдыга муж любит своих детей и жену, но что толку от этой любви? Говорят, что мы любим нашу великую родину, но в чем выражается эта любовь? Вместо знаний — нахальство и самомнение паче меры, вместо труда — лень и свинство, справедливости нет, понятие о чести не идет дальше «чести мундиров», мундиров, которые служат обыденным украшением наших скамей для подсудимых».

Таков итог его впечатлений. Правда, чеховское понимание «патриотизма» не шире и не глубже нововременской трактовки вопроса о «чести родины», но для роста общественного сознания Чехова этот итог чрезвычайно важен. Сибирь и Сахалин поставили его лицом с современной ему действительностью. Вряд ли вернулся он после всего, что наблюдал на острове «невыразимых страданий», защитником самодержавия. Впервые он увидел во всей обнаженности мерзость, на которой держался строй Российской империи, и недаром скорбел он о богатейшей Сибири, отданной на поток и разорение чиновникам.

Это итог впечатлений — порядка социального, общественного и в известной мере политического. Но еще большее воздействие оказала на него поездка в моральном отношении. Он никогда не был сантиментален, стыдился проявления своих чувств и, вернувшись с Сахалина, конечно, не делился теми глубоко скорбными наблюдениями, которые он сделал. Ему

была противна болтовня о Сахалине. Его целью стало написать книгу, в которой была бы поставлена совершенно определенная социальная проблема. «Буду воевать, — говорит он, — главным образом, против пожизненности наказаний, в которой вижу причину всех зол, и против законов о ссыльных, которые страшно устарели и противоречивы».

«Над «Сахалином» Чехов работал долго и упорно. Он боялся впасть в сантиментальность и, вместе с тем, пугался сухости. Он мечтал отдать «Сахалину» «годика три» и считал, что хотя он и «не специалист, но напишет кое-что и дельное». Он вообще очень серьезно смотрел на эту работу и предвидел, что книга «будет литературным источником и пособием для всех интересующихся «тюрьмоведением». Была у него мысль представить «Сахалин» как научную диссертацию для получения степени доктора медицины, и он полушутя, полусерьезно говорил Суворину, что его «Сахалин» — «труд академический», за который он получит «премию митрополита Макария». «Медицина не может упрекать меня в измене, я отдал должную дань учености и тому, что старые писатели называли педантством».

«Сахалин» печатался отдельными главами в журнале «Русская мысль» и каждый отрывок проходил через особенно придирчивую и двойную цензуру — общую и Главного тюремного управления.

Книга произвела огромное впечатление и в некотором смысле достигла той цели, на которую рассчитывал Чехов: «Сахалин» приобретал значение пособия для всех занимающихся тюрьмоведением. Книга обратила на себя внимание министерства юстиции и Главное тюремное управление командировало криминалиста А. Дриля и тюрьмоведа Л. Саломона на Са-

халин проверить данные, сообщенные Чеховым. Поездка ученых вполне подтвердила все, о чем писал Чехов. В 1891 году Чехов, по представлению профессора Д. Анучина, был избран членом географического отдела Общества любителей естествознания. «Сахалин» был признан работой, имеющей серьезное научное значение. «Сахалин» встретил отклик и в заграничной печати — в особенности в немецкой. Иностранцы, писавшие о чеховской книге, даже выражали удивление, что «Сахалин» пропущен русской цензурой и настаивали на его переводе на все европейские языки как ценного труда, дающего «богатейший материал по культурной истории».

Чехов придавал особенное значение тем страницам своей книги, в которых он останавливался на вопросе о положении детей и подростков на Сахалине. В большом письме к А. Ф. Кони [33] Чехов несколькими штрихами набрасывает страшную картину.

«Я видел голодных детей, — пишет он, — видел тринадцатилетних содержанок, пятнадцатилетних беременных. Проституцией начинают заниматься девочки с двенадцати лет. Школа существует только на бумаге — воспитывают же детей только среда и каторжная обстановка. Между прочим, у меня записан разговор с одним десятилетним мальчиком.

Я делал перепись селений в Верхнем Армудане, поселенцы все поголовно нищие и слывут за отчаянных игроков в штосс. Вхожу в одну избу: хозяев нет дома; на скамье сидит мальчик беловолосый, сутулый, босиком; о чем-то призадумался. Начинаю разговор:

Я. — Как по отчеству величают твоего отца?

Он. — Не знаю.

Я. — Как же так? Живешь с отцом и не знаешь, как его зовут. Стыдно!

Он. — Он у меня не настоящий отец.
Я. — Как так не настоящий?
Он. — Он у мамки сожитель.
Я. — Твоя мать замужняя или вдова?
Он. — Вдова. Она за мужа пришла.
Я. — Что значит за мужа?
Он. — Убила.
Я. — Ты своего отца помнишь?
Он. — Не помню. Я незаконный. Меня мамка на Каре родила».

Чехов много хлопотал во время своих деловых поездок в Петербург об улучшении положения сахалинских детей. Он собирал деньги по подписке, налаживал регулярные посылки книг и учебных пособий для сахалинских школ и, несомненно, что его книга побудила «Общество попечения о семьях ссыльно-каторжных» учредить отделение общества на Сахалине. Здесь было основано три приюта на 120 ребят.

Среди специальных исследований о русской каторге и очерков, изображавших жизнь на Сахалине, книга Чехова занимает свое особое место. Всячески вытравливая «личный элемент» и стремясь к предельной ясности, точности, сжатости, сочетая подлинную научность с творческим темпераментом, Чехов создал один из самых сильных и убедительных документов, свидетельствующих о варварски-бездушном отношении русского правительства к ссылаемым на «каторжный остров». «Сахалин» Чехова это — обвинительный акт против российского самодержавия.

Вот когда на примере собственной книги мог бы убедиться Чехов в том, что сама жизнь блестяще опровергла его широкую программу — программу писателя, который хотел бы остаться «нейтральным», быть «свободным художником и только».

Чехов зазвучал в книге о каторге как «тенденциозный» писатель, а мы помним, как боялся он тех, кто «читает между строк», и угадывает тенденцию там, где нет ее и в помине. А «Сахалин» «тенденциозен» именно тем, что это собрание человеческих документов вместе с тем является и грозным обличением социального зла, обличением правящей силы. В области чисто художественного творчества поездка на Сахалин дала Чехову немного — рассказы «Убийство» и «Гусев» *.

За границей

В марте, по предложению А. С. Суворина, Чехов выехал вместе с ним за границу. Это была его первая заграничная поездка. Они отправились в Южную Европу — из Вены в Италию. Венеция, Флоренция, Болонья, затем Ницца, Неаполь и, наконец, Париж.

Есть несколько свидетельств современников, указывающих на «странное» отношение Чехова к тому, что он видел за границей. Так, Д. С. Мережковский [34], встретившийся с Чеховым в Италии, отметил, что в нем не было никакой восторженности. Антон Павлович «занимался мелочами, неожиданными и совершенно не любопытными. Гид с особенной лысой головой, голос продавщицы фиалок, непрерывные звонки на итальянских станциях».

А. С. Суворин запомнил, что Чехова «мало интересовало искусство — статуи, картины, рамы. Но тотчас же по приезде в Рим ему захотелось за город, полежать на зеленой траве, Венеция захватывала его своей оригинальностью, но больше всего жизнью,

* Сибирские впечатления—в рассказе „В ссылке".

серенадами, а не дворцами дожей и пр. Кладбища за границей его везде интересовали. Кладбища и цирк с его клоунами, в которых он видел настоящих комиков».

И Мережковский и Суворин, верно подметив в Чехове его обостренное внимание к бытовым мелочам, для него всегда важным, — в них раскрывалась для него подлинная правда жизни, — подметив эту особенность, не поняли чеховского настроения за границей. Суворин, вернувшись в Петербург, на весь свет оповестил, что Чехову «за границей не понравилось». Больше того, Чехову приписали даже славянофильские убеждения — он-де сознательно «уклоняется от запада» — его душа тяготеет к востоку. Именно так и писала Чехову жена Суворина, Анна Ивановна, которая могла почерпнуть этот вздорный слух о Чехове со слов своего супруга.

Чехов, узнав обо всем этом, возмущенно писал Суворину: «Надо быть быком, чтобы приехав в первый раз в Венецию или во Флоренцию, стать «отклоняться от запада». В этом отклонении мало ума. Но желательно было бы знать, кто это старается, кто оповестил всю вселенную о том, что будто за границей мне не понравилось. Господи ты боже мой! Никому ни одним словом не заикнулся об этом. Мне даже Болонья понравилась. Что же я должен был делать? Реветь от восторга? Бить стекла? Обниматься с французами? Идей я не вывез, что ли? Но и идеи, кажется, вывез».

Да, так оно и было на самом деле — заграница, в особенности Италия, произвела на Чехова огромное впечатление. Только по натуре он был таким человеком, что не мог своих восторгов высказывать громогласно.

О своих заграничных впечатлениях Чехов дал вполне правдивый отчет в письмах к родным. Он прежде всего отметил, что «русскому человеку, бедному и приниженному, здесь в мире красоты, богатства и свободы, не трудно сойти с ума» и буквально в каждом письме и в каждой открытке он пишет о тех произведениях искусства, которые особенно его пленили. Он говорит, например, что в жизни своей не видел города замечательнее Венеции — это потому, что «здесь архитектура изумительная», а в храмах — «скульптура и живопись, какие нам и во сне не снились». Он чувствовал изумительную красоту собора Св. Марка, дворца дожей и удивлялся, что его другу, художнику Левитану, не понравилась Италия, «очаровательная страна». «Ведь Италия, — говорил Чехов, — единственная страна, где убеждаешься, что искусство в самом деле есть царь всего, а такое убеждение дает бодрость».

Но восторгаясь, он не терял собственной точки зрения и не повторял избитых общих мест. Так, он имел смелость заявить, что если бы Венеру Медицейскую одели в современное платье, то она «вышла бы безобразной, особенно в талии». По поводу же знаменитых галерей, в которых много отличных картин, он сказал, что весьма досадно, что в этих галереях много ничтожных произведений, «которые сохраняются, а не выбрасываются, только из духа консерватизма, присущего таким рутинерам, как господа люди».

Он не скрывал, что утомлен необходимостью бывать и лазить всюду, куда приказывали его спутники. И писал, что чувствует усталость и желание «поесть щей с гречневой кашей».

Тоска по гречневой каше, или, как говорил Суво-

рин, по «зеленой травке», вовсе однако не доказательство его духовной слепоты к миру красоты и искусства. Это — голос той необычайной правдивости, которая в нем всегда жила, той искренности, которую он всегда боялся оскорбить нотой фальшивого восторга. Да, хороша Мадонна Тициана, великолепны усыпальницы Кановы, но нельзя не отметить, что в Италии в парикмахерских стригут удивительно и что в одной из парикмахерских, где потолок и все четыре стены зеркальные, он видел «как молодому человеку целый час подстригали бородку — вероятно жених или шуллер».

Прекрасно, конечно, что итальянские церкви «дают приют статуям и картинам, как бы голы они ни были», но странно, что «дом, где жила Дездемона, отдается внаймы».

А восторгаясь очаровавшей, «сведшей с ума Венецией», он в то же время замечает, что после Венеции наступили Бедекер * и дурная погода и что «Рим похож на Харьков, а Неаполь грязен».

В одном был точен Суворин в своих воспоминаниях о Чехове за границей: в указании на странную любовь Чехова к кладбищам и на его увлечение клоунами. И действительно, в каждом городе Чехов прежде всего заходил на кладбище и на всю жизнь сохранил симпатию к цирковым клоунам **.

И недоумевая, и не понимая, и даже моментами верно указывая настроение Чехова его спутники не уловили самого важного в его восприятиях: негодования на «цивилизацию», представляющую столько раз-

---

* Путеводитель по разным странам, названный по имени издателя Бедекера (1801—1859).

** Цирк и клоун-дрессировщик изображены в повести Чехова „Каштанка".

влечений для богатых путешественников. Чехов, побывав в Монте-Карло *, не скрывал, что с увлечением играл в рулетку, но зато с каким негодованием говорит он о «презренной и мерзкой жизни с артишоками, пальмами, запахом померанцев». Он не желает себя обманывать и сознается в том, что «любит роскошь и богатство», но та роскошь, которую он видел в Ницце, «производит впечатление роскошного ватер-клозета. В воздухе висит что-то такое, что вы чувствуете — оскорбляет вашу порядочность, опошляет природу, шум моря, луну».

Именно эти ощущения и важны — они входят в ряд тех мыслей и чувств Чехова, которые образуют его этику, и выражают основы его морали.

По возвращении из-за границы Чехов с семьей провел лето в Калужской губернии. Брат Михаил ** нанял на Оке под Алексиным дачу, оказавшуюся, однако, мало приспособленной для жилья. Чеховы переселились тогда в Богимово в двенадцати верстах от Алексина в усадьбу Былим-Колосовского. Об этой даче Чехов писал Суворину: «Я нанял в заброшенной поэтической усадьбе верхний этаж большого каменного дома. Что за прелесть! Комнаты громадные, как в благородном собрании, парк дивный, с такими аллеями, каких я никогда не видел, река, пруд, церковь для моих стариков, и все, все удобства. Цветет сирень, яблони... Когда мы устанавливали мебель, то

---

* Местность в княжестве Монако. Монако — самое маленькое из самостоятельных государств Европы. Это опереточное государство живет на арендную плату, получаемую от содержателей казино — игорного дома. В казино процветает азартная игра — рулетка.

** М. П. Чехов, по окончании университета, служил податным инспектором в Алексине.

утомились от непривычного хождения по громадным комнатам».

Лето в Богимове прошло довольно оживленно, собралось большое общество дачников. Чехов сблизился с известным зоологом Вагнером, вместе с которым написал статью — «Фокусники», изобличающую шарлатанство московского «ученого» Богданова. Завязалось здесь и знакомство с семьей художника Киселева.

В Богимове Чехов продолжал работать над «Сахалином» и писал повесть «Дуэль». Богимовские впечатления отражены и в одном из самых лирических чеховских рассказов — «Дом с мезонином».

„Хоть кусочек общественной жизни!"

В поездке на «Сахалин» — ради «двух-трех дней», о которых можно будет вспоминать всю жизнь — видел Чехов выход из того душевного кризиса, который он так болезненно переживал. Но помог ли Сахалин? В известной мере, конечно, помог. Поездка, прежде всего, дала многое для роста его общественного сознания и принесла радость тех двух-трех дней, о которых можно вспоминать всю жизнь. Но было бы преувеличением утверждать, что вернувшись с Сахалина, Чехов почувствовал себя исцеленным. Когда он собирался на Сахалин, было ему «нудно», а теперь ему «скучно». И он с горечью пишет: «Если я врач, то мне нужны больные и больницы, если я литератор, то мне нужно жить среди народа, а не на Малой Дмитровке с мангусом *. Нужен хоть кусочек обще-

* С острова Цейлона Чехов вывез трех зверьков-мангусов (из породы ихневмонов). Они жили у Чеховых больше года. Двое мангусов погибло. Третьего А. П. пожертвовал зоологическому саду. Чеховы жили тогда на Малой Дмитровке в доме Фирганг.

ственной и политической жизни, хоть маленький кусочек, а эта жизнь в четырех стенах без природы, без людей, без отечества, без здоровья и аппетита — это не жизнь, а какое-то... И больше ничего». (Из письма к А. С. Суворину 19 октября 1891 года.)

И несомненно, что эти настроения внутренней неудовлетворенности, это уже осознанное стремление к политической и общественной жизни были теми толчками, которые заставили Чехова принять участие в борьбе с голодом, охватившим как раз в этот год целый ряд губерний.

О голоде В. И. Ленин в статье «Признаки банкротства» * писал следующее: «Хищническое хозяйство самодержавия покоилось на чудовищной эксплоатации крестьянства. Это хозяйство предполагало, как неизбежное последствие, повторяющиеся от времени до времени голодовки крестьян той или иной местности. В эти моменты хищник-государство пробовало парадировать перед населением в светлой роли заботливого кормильца им же обобранного народа. С 1891 года голодовки стали гигантскими по количеству жертв. В 1892 году Толстой с ядовитой насмешкой говорил о том, что паразит собирается накормить то растение, соками которого он питается».

На помощь голодающему крестьянству пыталась притти общественность, но ее инициатива в корне подрезывалась правительством. Однако, это не помешало ни Л. Н. Толстому, ни В. Г. Короленко самым активным образом выступить на борьбу со страшным бедствием. Не спокойна была и совесть Чехова. Он побывал в тогдашней Нижегородской и Воронежской

* Впервые опубликована в „Искре“ (1902 г., № 17), в Собр. соч. В. И. Ленина — том V, 2-е изд., стр. 56. Цитировано по сборнику „Толстой и Ленин“.

губерниях. В Нижегородскую он ездил повидаться с земским начальником П. Е. Егоровым, старым своим знакомым, и вместе с ним организовал помощь голодающим путем закупки для них лошадей. Из этого широко задуманного плана мало что вышло практического. В Воронежскую губернию он отправился вместе с Сувориным и поездка превратилась почти-что в увеселительную прогулку — с обедами у губернатора, ужинами у богатых помещиков и т. д.*.

То, что сделал Чехов для голодающих, ни в коей мере не может быть сравнимо с деятельностью Толстого и Короленко. И странное впечатление оставляют те письма Чехова, в которых речь идет о страшном бедствии. В них чувствуется какое-то благодушие. Чехов, например, не возмущается правительственными распоряжениями, сводящими на-нет частную инициативу, наоборот, он отмечает даже, что «правительство ведет себя недурно, помогает, как может. Земство же или не умеет, или фальшивит» и, в явном противоречии с действительными фактами, указывает, что «частная инициатива в Нижегородской губернии со стороны администрации препятствий не встречает». Стоит только прочесть замечательную книгу В. Г. Короленко «В голодный год», описывающую как раз Нижегородскую губернию, чтобы убедиться в совершенно противоположном.

Но ведь и не надо ждать от Чехова большего. Он делал, что мог — собирал по подписке деньги, печатался в сборнике в пользу голодающих и ни в чем ином не умел проявить свою инициативу.

На этом примере мы видим как зигзагообразно идет рост общественного и политического сознания

---

* Голодный год нашел отражение в рассказе Чехова „Жена".

Чехова. Необычайно характерно для Чехова, что он, например, поверил гнусной клевете, распространенной по адресу известного писателя — народника Астырева[35], будто бы призывавшего в своей прокламации народ к избиению врачей, работавших на вспыхнувшей в это же время холерной эпидемии. Никаких, конечно, призывов к избиению интеллигенции писатель Астырев не делал.

И Чехов пишет Суворину: «Если наши социалисты в самом деле будут эксплоатировать для своих целей холеру, то я стану презирать их. Отвратительные средства ради благих целей делают и сами цели отвратительными. Пусть выезжают на спинах докторов и фельдшеров, но зачем врать народу. Зачем уверять его, что он прав в своем невежестве и что его грубые предрассудки — святая истина! Неужели прекрасное будущее может искупить эту подлую ложь? Будь я политиком, никогда бы я не решился позорить свое настоящее ради будущего, хотя бы мне за золотник подлой лжи обещали сто пудов блаженства». (Из письма 1 августа 1892 года.)

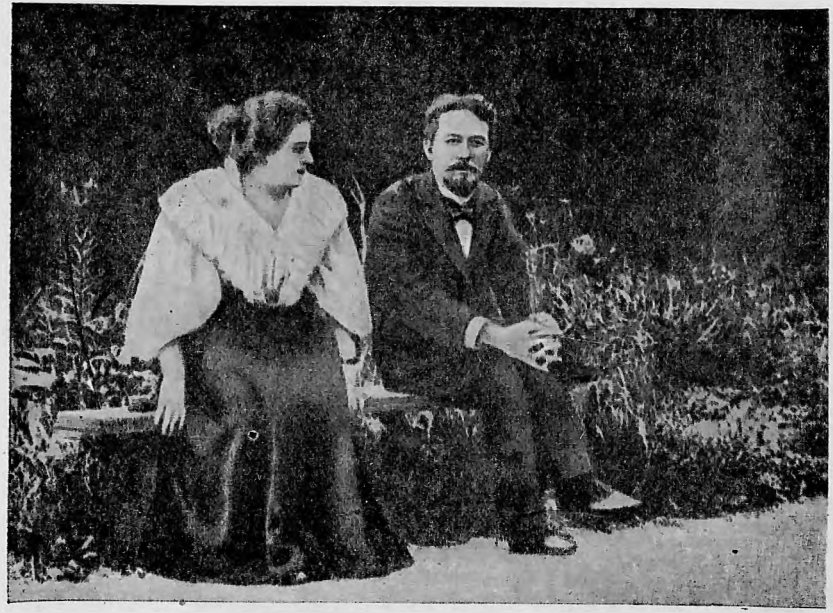
Письмо адресовано Суворину и тон письма подлинно «нововременский», а между тем в другом письме к тому же Суворину Чехов с негодованием говорит о «желчных кислотах», которые выливают Житель и Буренин на интеллигенцию, «шибко работающую» на голоде и холере — «не щадя ни живота, ни денег».

Так все еще живет Чехов в клубке противоречий. С одной стороны, он повторяет злостные сплетни и верит им, с другой — открыто заявляет о своем сочувствии к активно работающей интеллигенции. А как по-обывательски отнесся он к студенческим беспорядкам 1890 года! Он пишет о них Плещеву так: «Беспорядки у нас были грандиозные. Я читал проклама-

ции, в них ничего нет возмутительного, но редактированы они скверно, и тем особенно плохи, что в них чувствуется не студент, а еврейчики и акушерки».

Можно было бы найти еще немало отрывков из чеховских писем, в которых обывательский подход к явлениям общественной и политической жизни выражен совершенно откровенно. Но нет необходимости приводить эти выдержки. Для нас ясно, что Чехов переживает в эти годы сложный и трудный процесс душевного перелома. Во многом он вышел победителем, многое преодолел, но он только начал избавляться от основного, что составляет признак внутреннего раба, — от «поклонения чужим мыслям», от признания силы авторитета. Не устранено еще и главное препятствие, стоящее на пути к его освобождению — Суворин. «Если бы умер Суворин, — пишет Чехов, узнавший о его болезни, — для меня это была бы такая потеря, что я, кажется, постарел бы на десять лет».

Суворин выздоровел, намного пережил Чехова, и Чехову не пришлось постареть на десять лет. Напротив, ему еще предстояли годы душевной бодрости.



Л. С. Мизинова и А. П. Чехов в Мелихове



И. Н. Потапенко

ЗРЕЛОСТЬ

„Помещик"

В 1892 году исполнилась давняя мечта Антона Павловича: он купил маленькое именьице.

Еще живя на Луке у Линтваревых, Чехов начал присматривать соседние хутора. Остановился было на одном — в Полтавщине, но это было далеко от Москвы и Петербурга.

Художник Сорохтин продавал имение Мелихово в шестидесяти верстах от Москвы — по Московско-Курской ж. д. в Серпуховском уезде, двенадцать верст от станции Лопасня.

Впервые побывав в Мелихове, Чехов писал Суворину, что «впечатление ничего себе. Дорога от станции до имения все время идет лесом, само имение симпатично. Дом новый, крепкий, с затеями. Мой кабинет прекрасно освещен сплошными итальянскими

окнами и просторнее московского. Но в общем будет тесно. Амбары и прочие постройки новы. Сад и парк хороши. Инвентарь, если не считать рояля, никуда не годен. Парники хороши, оранжерей нет».

Его радовало, что ему уже не придется платить за квартиру и за дрова: «Леса у меня 160 десятин и дров хватит».

В письме к Киселеву — владельцу «незабвенного Бабкина», Антон Павлович так сообщает о своей покупке:

«Имение куплено за тринадцать тысяч. Купчая стоила около 750 рублей, итого 14 тысяч. Уплачено продавцу, художнику, наличными четыре тысячи и закладную в пять тысяч по 5% на десять лет. Остальные четыре тысячи художник получит из Земельного банка, весною, когда я заложу имение в оном банке».

Хлопоты по покупке имения отняли много времени. Бывший владелец оказался человеком недобросовестным и Чехов, каждый день «делая открытия», ожидал новых обманов. В том письме, где он с возмущением рассказывает о проделках Сорохтина, характерные для Чехова строки о купцах и дворянах: «Привыкли писать и говорить, что только купцы обмеривают и обвешивают. Но поглядели бы на дворян, глядеть гнусно. Это не люди, а обыкновенные кулаки, даже хуже кулаков, ибо мужик-кулак берет и работает, а мой художник берет и только жрет да бранится с прислугой.

Можете себе представить, с самого лета лошади не видели ни одного зерна овса, ни клочка сена, а жуют одну только солому, хотя работают за десятерых. Корова не дает молока, потому что голодна. Жена и любовница живут под одной крышей. Дети грязны и

оборваны. Вонь от кошек. Клопы и громадные тараканы.

Художник делает вид, что предан мне всей душой и в то же время учит мужиков обманывать меня. Так как трудно на глаз понять, где моя земля и где мой лес, то мужики научены были показывать мне крупный лес, принадлежащий церкви. Но мужики не послушались. Вообще чепуха и пошлость. Гадко, что вся эта голодная и грязная сволочь думает, что и я так же дрожу над копейкой, как она, и что я тоже не прочь надуть. Мужики забиты, запуганы и раздражены».

Немало нужно было потратить труда и сил для того, чтобы эту запущенную усадьбу привести в порядок и придать жилью вполне культурный вид. Все, что было дурного в усадьбе, что не нравилось, тотчас же изменялось или уничтожалось, — рассказывает Михаил Павлович Чехов. Весь дом был переделан заново. В самой большой комнате со сплошными стеклами устроили кабинет для Антона Павловича; затем шла гостиная, комната для сестры, спальня Антона Павловича, комната отца, столовая, и комнаты матери, Евгении Яковлевны. Была еще комната, проходная, с портретом Пушкина, которая носила громкое название «пушкинской», и предназначалась для случайных гостей.

Чеховы переехали в марте и, лишь сошел снег, сейчас же принялись за хозяйство: Мария Павловна работала в огороде, Михаил Павлович в поле, Антон Павлович сажал деревья, старик же Павел Егорович ревностно, с утра до вечера расчищал в саду дорожки.

И как только узнали крестьяне, что новый помещик — врач, к нему, толпами, потянулись больные, —

и из Мелихова, и из соседних деревень — за 20—25 верст. Хотя дощечка с надписью «Доктор Антон Павлович Чехов» уже давно была убрана и Чехов не занимался практикой, но он никогда не отказывался лечить крестьян — и в Бабкине, и на Луке, и в Богимове. Так и здесь — в Мелихове — он выслушивал, выстукивал и никого не отпускал без совета и без лекарств. Ему помогала сестра Мария Павловна. Вообще отношения с крестьянами у новых владельцев Мелихова установились дружеские.

В воспоминаниях многих современников А. П. Чехова не мало страниц, посвященных описанию мелиховского житья-бытья. Приведем отрывок одного из таких воспоминаний:

«Мелихово была старая мелкопоместная усадебка, запущенная и разрозненная. Но Чехов быстро привел ее в порядок, даже в элегантный вид. Через широкий пустырь, обсаженный вековыми березами, дорога шла в старинную рощу, в глубине которой ютился низенький деревянный дом с верандой и цветником. По дороге на высоких деревьях висели скворешни с надписью: «Братья Скворцовы».

Автор воспоминаний застал в Мелихове отца, мать и сестру Антона Павловича. «Прямо удивительно до чего это была милая, симпатичная семья. Отец Чехова был высокий, сильный старик, лет под семьдесят, чинный и строгий, но имением заведывала менее строгая, идеально добрая Мария Павловна, тогда еще молодая девушка — учительница гимназии.

Отец методически вел журнал погоды, читал «Записки Болотова» и «Четьи-Минеи» и отдыхал от трудовой жизни.

Но самым трогательным и восхитительным членом

семьи была мать Антона Павловича — Евгения Яковлевна, исключительно редкая женщина, не менее замечательная, чем он сам. Он и физически был похож на нее. Какое это было редкое соединение сердечности, простоты, прирожденного ума и нежности. Нечего и говорить о том, что «Антоша» в семье был идолом, что все желания его были предупреждаемы. Мать и сестра оберегали его сон и стол и всяческий комфорт».

Самым ценным документом, рисующим мелиховский быт, является Дневник* Павла Егоровича Чехова. Павел Егорович вел не только ежедневный журнал погоды, но с необыкновенной тщательностью записывал все «события» дня. Жизнь чеховской семьи в наивном рассказе Павла Егоровича развертывается на протяжении ряда лет.

Старик ни строчкой не обмолвился об Антоне Павловиче как о писателе, враче, общественном деятеле. Зато он ни разу не упустил случая, чтобы не отметить, что сказал, что сделал, куда поехал и откуда приехал Антоша. И если Дневник не дает «трудов» Чехова, зато с пунктуальной точностью представляет его «дни».

Приведем несколько, особенно выразительных записей, извлеченных из большой переплетенной книги, в которой велся дневник (многие записи его сделаны рукой Антона Павловича).

---

* Хранится в личном архиве Чехова, в рукописном отделе Всесоюзной библиотеки им. Ленина в Москве. Впервые напечатан и комментирован в книге Юр. Соболева «Чехов», изд. «Федерация», М. 1924.

1893 год

Январь. 24. Антоша Клара * и Маша приехали из Москвы.

Март. 1. Антоша и Мезинова * уехали в Москву.

** 15. Баран прыгает, Марьюшка радуется.

** 17. Уехал в Москву П. Г. Чехов. Днем + 2. Привезли овес.

** 18. — 1. Идет снег. Слава Богу все уехали и остались только двое: я и Чехова.

** 19. Приехали Маша и Мизинова. Ясный день. Привезли чечевицу и гречну.

** 20. — 5. Ясный день. Парники готовы. Мамаше снилась коза на горшке.

** 21. + 5. Приехал Семашко *. Ели жареное вымя.

** 22. Слыхали жаворонка. Вечером пролетел журавль. Уехал Семашко.

** 23. + 3. Мамаше снился гусь в камилавке. Это к добру. Больна животом Машка. Зарезали свинью. Делали колбасы.

** 25. — 2. Яркое утро.

26. П. Г. Чехов и Ваня приехали из Москвы.

28. Пасха. Обедню не пели. Разговлялись в четыре часа.

Апрель. 22. Антоша болен.

29. Антоша уехал.

Июнь. 16. Рожь красуется. Слава Богу послал дож-

---

* Антоша — Антон Павлович Чехов. Клара — графиня Мамуна, знакомая семьи Чеховых; Мезинова — Л. С. Мизинова; Чехова — Евгения Яковлевна Чехова; Семашко — приятель братьев Чеховых; Ваня — Иван Павлович Чехов; Лесова — знакомая семьи Чеховых.

** Записи с 15 по 26 марта сделаны рукою А. П. Чехова, пародирующего „стиль“ отцовских записей.

дику. В поле повеселело. Теперь вполне можно надеяться на урожай. Очень хорошо. Начали пахать двумя плугами под рожь.

Август. 1—20. За двадцать дней ничего нельзя было делать. Убыток громадный сельскому хозяйству. Отчаяние и упадок духа.

Сентябрь. 9. Антоша уехал в Серпухов.

26. Антоша уехал в Серпухов.

30. Вечером приех. из Москвы Антоша Мезинова и Лесова.

Октябрь. 27. Антоша уехал в Серпухов.

Ноябрь. 30. Антоша живет в Москве.

Декабрь. 19. Антоша приехал из Москвы. Был двадцать пять дней.

Санитарный врач, строитель школ и гласный земства

Мелиховский период самый значительный в биографии Чехова. Годы, которые он провел в Мелихове (1892—1898) — годы его творческой зрелости. Здесь написаны: «Палата № 6», «Рассказ неизвестного человека», «Черный монах», «Бабье царство», «Скрипка Ротшильда», «Учитель словесности», «Три года», «Дом с мезонином», «Моя жизнь», «Чайка», «Дядя Ваня», «Мужики» и целый ряд таких замечательных маленьких рассказов, как: «Студент», «Володя большой и Володя маленький», «Соседи», «В усадьбе», «Рассказ старшего садовника», «Белолобый», «Убийство», «Ариадна», «Супруга», «Печенег», «В родном углу», «На подводе» * и др., то есть как раз все, что составляет основную ценность лите

* Этот последний рассказ, правда, писался за границей, в Ницце. Но по замыслу—он чисто мелиховский.

ратурного наследия Чехова и что до конца раскрывает его образ и как художника и как человека с необычайной чуткостью подходящего ко всем явлениям русской жизни.

Мелиховский период не богат внешними событиями. Большую часть года Чехов проводит в Мелихове, часто наезжая в Москву, гостит у Суворина, и в его имении под Рыбинском и на даче в Феодосии, вновь посещает Таганрог, путешествует по югу, часть одной зимы проводит в Крыму (осенью 1894 года), выезжает за границу — Вена, Аббация, Милан, Генуя, Ницца, осень 1897 и зиму 1898 годов по май месяц проводит в Ницце, в сентябре 1898 года переселяется в Ялту.

Но эта жизнь, в которой как будто бы нет событий, полна, однако, фактами глубочайшего значения для роста чеховского самосознания. И было бы совершенно недостаточно сослаться только на его литературную работу, в эти годы, как мы уже заметили, особенно плодотворную. Есть целый ряд и других моментов, на которых нам следует остановиться.

Прежде всего укажем на ту общественную деятельность Чехова, которая проходит через весь мелиховский период.

Мы уже упоминали, что Чехов продолжал врачебную практику среди местного населения. Когда же в 1892 году надвинулась на Серпуховский уезд эпидемия холеры, Чехов счел своим долгом предложить свои услуги в качестве санитарного врача. Биографы и мемуаристы указывали, что Антон Павлович на эту должность был назначен, на самом деле он ее принял добровольно и безвозмездно. Об этом свидетельствуют приводимые нами нижеследующие документы.

М. В. Д.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
Серпуховской Уездной
Земской Управы
Июля 8 дня 1892 г.
№ 2359

М. Г.
Антон Павлович!

Кн. С. И. Шаховской довел до сведения Серпуховского Санитарного Совета письмо Ваше, выражающее готовность послужить земству, в случае появления холерной эпидемии в Серпуховском уезде. Выслушав это желание Ваше прийти на помощь в трудную минуту борьбы с страшной угрожающей нам опасностью Серпуховский Санитарный Совет просил меня выразить Вам за такое, столь ценное для нас предложение, искреннюю и глубокую благодарность и со своей стороны предложить Вам медикаменты, дезинфицирующие средства и всякое иное содействие, в котором Вы могли бы встретить надобность, и просить Вас не отказать пожаловать в будущее заседание Санитарного Совета, о времени которого Вы будете своевременно извещены.

Председатель Управы (подпись)

О своей работе в качестве участкового врача Чехов писал Суворину: «Я уже состоял участковым врачом Серпуховского Земства, ловил за хвост холеру и на всех парах организовал новый участок. У меня в участке двадцать пять деревень, четыре фабрики и один монастырь. Утром — приемка больных, а после утра — разъезды. Езжу, читаю лекции печенегам, лечу, сержусь и, так как земство не дало мне на организацию пунктов ни копейки, клянчу у богатых людей то того, то другого. Оказался я превосходным нищим. Благодаря моему нищенскому красноречию, мой участок имеет теперь два превосходных барака со всей обстановкой и бараков пять не превосходных, а

скверных. Я избавил земство даже от расходов по дезинфекции, известь, купорос и всякую пахучую дрянь я выпросил у фабрикантов на все свои двадцать пять деревень» (16 августа 1892 года).

Из письма к брату Александру явствует, что Антон Павлович с августа по 15 октября записал на карточках пятьсот больных и в общем принял, вероятно, не менее тысячи.

За врачебной — просветительная деятельность Чехова. Он выстроил три школы — в Талеже, в Новоселках, в Мелихове. Он составлял для них планы, покупал материалы, следил за их постройкой. Чехов был назначен членом училищного совета, присутствовал на экзаменах в других земских школах и сам производил экзамены.

Над выстроенной им в Талеже школой он был назначен попечителем, о чем писал так:

«Я назначен попечителем школы в селе, носящем такое название — «Талеж».

Учитель получает двадцать три рубля в месяц, имеет жену, четырех детей и уже сед, несмотря на свои тридцать лет. До такой степени забит нуждой, что о чем бы вы ни заговорили с ним, он все сводит к одному — о жаловании. По его мнению, поэты и прозаики должны писать только о прибавке жалованья; когда новый царь переменит министров, то вероятно будет увеличено жалованье учителей и т. п.» (Суворину 27 ноября 1894 года.)

Не подлежит сомнению, что этот учитель послужил Антону Павловичу прототипом для учителя Медведенки в «Чайке».

Общественная деятельность Чехова была отмечена Серпуховским уездным земством, которое выразило ему в официальной бумаге благодарность.

Земскими благодарностями дело не ограничилось. Чехов был назначен помощником предводителя дворянства Рюмина по наблюдению за начальными народными училищами. Рюмин представил Чехова к неожиданной награде: Антону Павловичу был «пожалован» орден Станислава третьей степени, о чем, кстати сказать, Чехов ни в одном из своих писем к родным и друзьям не обмолвился и намеком.

С получением этого ордена связан один факт, совершенно неизвестный биографам Чехова.

Чехов орден получил вместе с таким «высочайшим указом»:

БОЖЬЕИ МИЛОСТИЮ
МЫ НИКОЛАИ II

Нашему потомственному дворянину
Попечителю Талежского сельского училища
Серпуховского уезда Антону Чехову

По засвидетельствованию Министерства Народного просвещения, об отличном усердии и особых трудах Ваших, Всемилостивейше пожаловали мы Вас, указом в 6-й день декабря 1899 года Капитулу данным, Кавалером Императорского и Царского ордена нашего Святого Станислава 3-ей степени.

Дано в Санкт-Петербурге 28-й день декабря 1899 года

Так разночинец Чехов, сын разорившегося купца третьей гильдии, а по личному своему званию таганрогский мещанин, стал «потомственным дворянином».

Можно подумать, что это орден превратил его в дворянина. Но это не так: по статуту российских орденов, эта «честь» принадлежала лишь одному «Вла-

димиру Первозванному», а Станислав третьей степени ни в личное, ни тем более потомственное дворянство не возводил. Так в чем же дело? Только... в канцелярской оплошности: указы об орденах печатались на бланках, на которых в качестве неизменной формулы, проставлялись слова: «нашему потомственному дворянину», а затем уже вписывался адресат. Никому и в голову не пришло, что «попечитель Талежского сельского училища» не является дворянином.

Чехов никогда не именовал себя дворянином и ни в одном документе этого своего звания не обозначал, хотя еще задолго до «пожалования» Станислава земские учреждения причисляли его к числу помещиков-дворян, о чем свидетельствует следующий официальный документ Серпуховского земского собрания:

> 1. «В настоящем 1894 году имеют быть произведены выборы гласных в Серпуховское Земское собрание на следующее трехлетие.
>
> Съезд для выбора уполномоченных и избирательные собрания назначаются: первый съезд, в котором участвуют дворяне, 9 числа июня и второй съезд, в котором участвуют все другие избиратели, 20 июня сего года, а сами избирательные собрания для избрания гласных назначены — первое собрание, в котором участвуют дворяне с уполномоченными от мелких дворян, 24 июня, и второе собрание, в котором участвуют все остальные лица с уполномоченными, 21 июня сего года.
>
> А так как Вы, по своему цензу, имеете право участвовать в первом избирательном собрании, то не угодно ли будет пожаловать 24 числа июня м-ца к 12 часам дня в здание Серпуховской Земской Управы для выбора гласных в Земское собрание»
>
> Член Управы (подпись).

Между прочим, интересно отметить, что среди гласных, избранных на это трехлетие, оказался и Антон Павлович. Группа гласных послала Антону Павловичу следующую приветственную телеграмму:

„Сердечно поздравляем с блестящим гласным. Душевно желаем навсегда сохранить Вас в своей среде.

Чельцов, Хмелев, Варенников, Янов, Степанов, Писарев, Большаков, Костылев, Шаховской.

Итак — врач, член санитарного совета, попечитель сельских школ, гласный управы и, чтобы завершить этот список общественных должностей Чехова, следует добавить — строитель церковной колокольни и заведующий счетным участком.

Почему — строитель колокольни? Ведь никаких религиозных чувств Чехов не имел и это полнейшее равнодушие к религиозным вопросам было в нем вполне осознанным, — ведь он писал, что «давно потерял всякую веру» и от всего православного и церковного только и осталось у него — любовь к колокольному звону. Но ведь не из-за любви же к звону строил Чехов колокольню в Мелихове? Нет, конечно, но дело в том, что его об этом стали усиленно просить крестьяне, во главе с местным батюшкой, а Антон Павлович, никогда и никому не имевший силы отказать в просьбе, согласился и на это хлопотливое дело.

Конечно, он ни в малой мере не был воинствующим безбожником, а был просто человеком глубоко равнодушным к любой религии. Кажется, он и татарам в Ялте помогал, когда те строили мечеть. Церковь или мечеть — не все ли равно — рассуждал Чехов — лишь бы не обидеть отказом, лишь бы не оскорбить чужую веру.

Заведующим же счетным участком он стал в 1897 году, во время проводимой тогда первой «всеобщей переписи населения Российской Империи». Чехову были подведомственны 16 счетчиков и, как он выражался о себе в переписке с друзьями, он был среди них вроде «ротного командира или боцмана». Перед началом переписи Антон Павлович захворал

инфлуэнцей. С тяжкой головной болью переходил он из избы в избу, из селения в селение.

А. П. в письме к А. С. Суворину (11 января 1897 года) рассказывает о своей работе по переписи так: «У нас перепись. Выдали счетчикам отвратительные чернильницы, отвратительные аляповатые знаки, похожие на ярлыки пивного завода, и портфели, в которые не лезут переписные листы, и впечатление такое, будто сабля лезет в ножны. Срам!

С утра хожу по избам, с непривычки стукаюсь головой о притолоки, и как нарочно голова трещит адски; и мигрень, и инфлуэнца. В одной избе девочка девяти лет, приемышек из воспитательного дома, горько заплакала оттого, что всех девочек в избе называют Михайловнами, а ее по крестному, Львовной. Я сказал — называйся Михайловной. Все очень обрадовались и стали благодарить меня. Это называется приобретать друзей богатством неправедным».

Мир с либералами

Эта земская деятельность несомненно имела очень большое значение. Чехов снова сблизился с группой той интеллигенции, которую он высоко ценил еще в годы своей юности — работая студентом последнего курса и только что выпущенным лекарем под руководством таких выдающихся врачей, как Успенский и Архангельский в Чекине и Звенигороде.

Но те годы, которые приходятся на период между Бабкиным и Мелиховым, Чехов провел в иной среде. Он довольно близко прикоснулся к помещичье-дворянскому быту — в Бабкине, на Луке, в Богимове. Киселевы, Линтваревы, Смагины, их родня, друзья, знакомые — все принадлежали к помещичьим кругам

разоряющегося дворянства. С одной стороны, разочарованный, усталый, ренегатствующий, истерический интеллигент «хлюпик», с другой — родовитый, разорившийся, но еще цепко держащийся за феодальные традиции, помещик-дворянин — вот герои чеховских рассказов восьмидесятых и начала девяностых годов.

Если вспомнить о влиянии нововременской идеологии, то позиция Чехова к концу восьмидесятых годов станет совершенно понятной. Его московские «гамлетики», от лица которых говорил нудный Кисляев — в фельетоне 1891 года для «Нового времени», были вовсе не типичными для трудовой, сказали бы мы теперь, интеллигенции. Возвращение Чехова в среду земских работников и, главным образом, — врачей, заставило во многом изменить предвзятость в отношении к интеллигенции, переживающей в начале девяностых годов сложный кризис и уже нащупывающей выход.

Девяностые годы — время полного распада дворянских устоев, с одной стороны, и ликвидация вырождающегося народничества, с другой.

В той же автобиографической справке В. Вересаева, из которой мы приводили строки, характеризующие настроения девяностых годов, мы читаем, что в новое десятилетие общественные настроения были совсем иные: «пришли новые люди, — бодрые и верящие. Отказавшись от надежд на крестьянство, они указали на быстро растущую и организующую силу в виде рабочего, приветствовали капитализм, создающий условия для развития этой новой силы. Кипела подпольная работа, шла широкая агитация на фабриках и заводах, велись кружковые занятия с рабочими; ярко дебатировались вопросы тактики, теперь чуждой и непонятной показалась бы проповедь «счастья в

жертве», счастье было в борьбе, в борьбе за то, во что верилось крепко, чему не были страшны никакие сомнения и раздумья.

Летом 1896 года вспыхнула знаменитая июньская стачка ткачей, поразившая всех своей многочисленностью, выдержанностью и организованностью. Многих, кого не убеждала теория, убедила она. Почуялась огромная, прочная, новая сила, уверенно выступающая на арену русской истории».

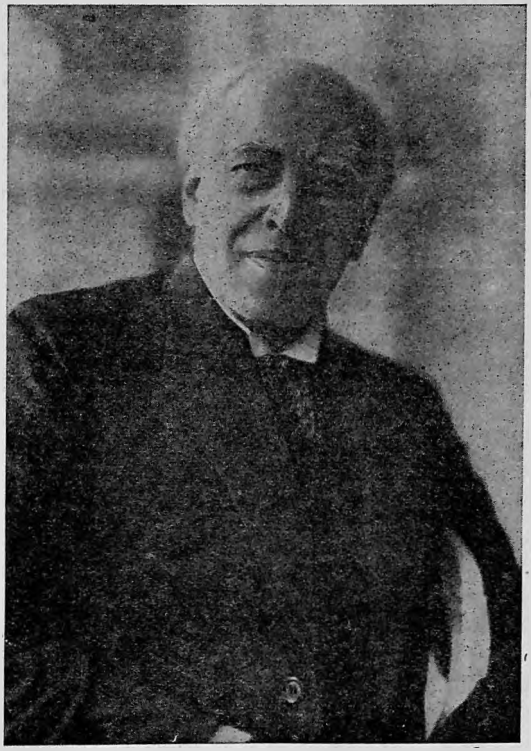
Было бы совершенно неверным сказать, что эта организующая сила привлекла внимание Чехова. Рабочее движение не отразилось в его художественных восприятиях. Тем с меньшим правом можно говорить и о каком бы то ни было увлечении Чехова марксизмом, но он, конечно, не мог не наблюдать роста пролетарских кадров и бурного промышленного подъема.

Не мог он не понимать и того, что сельское хозяйство переживает затяжной кризис — это он близко и пристально наблюдал в Мелихове и отразил в своих «Мужиках». Участвуя вместе с лучшими элементами трудовой интеллигенции в общественной работе, он понимал, конечно, что царское правительство с тревогой относится и к рабочему движению и к культуртрегерской деятельности радикальных и либеральных земцев.

Совершенно естественно, что и Чехов был немедленно заподозрен в политической неблагонадежности и подпал под «негласное наблюдение». Ничего «неблагонадежного» Чехов с точки зрения охранного отделения, не совершал. Но если предположить, что политическая полиция России девяностых годов обладала наблюдательностью, то она не могла бы не сделать вывод о значительной эволюции во взглядах и



Артистка В. Ф. Комиссаржевская в роли Нины Заречной (пьеса „Чайка“)



К. С. Станиславский

убеждениях Чехова. Ведь достаточно сказать, что все его произведения стали помещаться в органах вполне определенной либеральной окраски, в «Русской мысли» и в «Русских ведомостях».

Давно ли возмущался Чехов «таксами» и «копчеными сигами», сидящими за редакторскими столами и «Русской мысли» и «Русских ведомостей», давно ли отзывался он о Гольцеве [36], как о человечке, который всюду суется, давно ли, наконец, он вторил Суворину в презрительной оценке «либеральной оппозиции»! Но в том и значение мелиховского периода для политического и общественного роста Чехова, что именно к этим годам относится разрыв Чехова с «Новым временем». Не говорим — с Сувориным: с ним еще на некоторое время сохранятся теплые дружеские отношения, но не с его газетой. Небольшие заметки, напечатанные в 1893 году в «Новом времени», последнее, что дал Чехов в эту газету.

Чрезвычайно характерно, что одна из этих статей «Речь министра» — является прямым ответом Чехова на ту клевету по адресу земской интеллигенции, которую охотно распространяет и «каторжный» Житель и злобствующий Буренин. Чехов пишет, что «становится весело», когда слышишь «целый ряд громких и авторитетных подтверждений о благородстве, самоотверженности, великодушии», студенческой молодежи, работавшей на холерной эпидемии. Но эта студенческая молодежь была руководима земскими врачами и, подчеркивая самоотверженность и скромность студентов, действовавших «во имя долга, а не ради славы и наград», Чехов в то же время имеет, конечно, в виду и врачей. Ведь он предлагал Суворину воздействовать на его сотрудников, проливающих «желчные кислоты» по адресу врачей, героизм которых Чехов наблюдал

лично. Для него уже стала совершенно ясной гнусная позиция «Нового времени». Брату Александру он советует держаться от нововременцев — «этих сукиных сынов» в стороне, и свой совет заканчивает энергичным восклицанием: «это гнусное племя!»

Его переход в либеральный лагерь, конечно, выражал новый этап в развитии его политического роста. Он был совершенно естественен и закономерен. То, что печатал Чехов в «Русских ведомостях» и в «Русской мысли», свидетельствовало о том, с какой чуткостью относился он к тем глубочайшим изменениям в настроениях русского общества, которые намечались в эти годы.

Пессимизм, отразившийся в «Именинах», в «Огнях», в «Скучной истории», в «Припадке» и выражавший переживания зашедшей в тупик интеллигенции, теперь вытесняется новыми настроениями. Чехов с особенным вниманием начинает присматриваться к крупной буржуазии, к представителям торгово-промышленного капитала. Такие его рассказы этого периода «как «Бабье царство», «Три года», «Случай из практики» — целиком посвящены изображению сложных настроений буржуазии, но это, прежде всего, психологические этюды, рисующие те внутренние конфликты, которые переживают его персонажи.

Чехов с недоумением относится к капитализму. Ни народник, ни марксист, — он идет дорогой одиночки. Он индивидуалист и, нужно прямо сказать, совершенно чужд каким бы то ни было коллективистским устремлениям и враждебен всякой групповой или партийной дисциплине. Он сошелся с либералами не по-

тому, что «партия либералов» ему близка, а только потому, что деятельность и идеи либералов казались ему более справедливыми с точки зрения тех этических принципов, которые он исповедует. Поэтому он с Гольцевым и Лавровым — против Буренина и вообще нововременцев.

Свои настроения этого периода он очень хорошо вскрыл в письме к А. С. Суворину, где говорит, что ему «надоели всяческие рассуждения». И дальше: «Лихорадящим больным не хочется есть, но чего-то хочется, и они это свое неопределенное желание выражают так: «чего-нибудь кисленького»... Так и мне хочется чего-то кисленького. И это не случайно, так как точно такое же настроение я замечаю кругом. Похоже, будто все были влюблены, разлюбили и теперь ищут новых увлечений.

Очень возможно и очень похоже на то, что русские люди опять переживут увлечение естественными науками и опять материалистическое движение будет модным. Естественные науки делают теперь чудеса, и они могут двинуться как Мамай на публику и покорить ее своей массою, грандиозностью. Впрочем, все сие в руце божией. А зафилософствуй — ум вскружится». (27 марта 1894 года.)

Он несомненно чувствует себя бодрее. Ему доставляет удовольствие быть и среди земских врачей — Витте, Куркина и других, и в обществе друзей, наезжающих в Мелихово — И. Н. Потапенко, Т. Л. Щепкиной-Куперник, И. Левитана, Л. С. Мизиновой, и в кругу множества гостей, которые иногда бывали и утомительны.

Антон Павлович часто ездил в Москву и это всегда было радостью для кружка «Русских ведомостей» и «Русской мысли».

В воспоминаниях Т. Л. Щепкиной-Куперник * об этих чеховских наездах в Москву говорится так:

«Когда Антон Павлович наезжал в Москву, он останавливался всегда в «Большой Московской» гостинице, где у него был свой излюбленный номер, и давал знать о своем приезде. С быстротой беспроволочного телеграфа разносилась весть: «Антон Павлович приехал» и дорогого гостя начинали чествовать. Чествовали его так усиленно, что он сам себя прозвал «Авелланом» — это был морской министр, которого в виду франко-русских симпатий беспрерывно чествовали то в России, то во Франции».

И. Н. Потапенко ** также свидетельствует, что приезды Чехова в Москву были праздником и не для него только, а «для всех членов небольшого кружка».

«Сейчас же об этом посылалось известие в «Русские ведомости» Михаилу Алексеевичу Саблину, который почел бы за обиду, если бы узнал об этом не первый.

Соиздатель «Русских ведомостей» почтенного возраста человек — лет на двадцать старше каждого из нас, он питал трогательную нежность к Антону Павловичу. Любил отдыхать с нами В. А. Гольцев. После спектакля урывал иногда время и приезжал к нам А. И. Южин ***.

На этих сборищах Чехов оживлялся, вступал в дружеский спор с Гольцевым и был неистощим по части

---

* См. книгу ее воспоминаний «Дни моей жизни»,, изд. «Федерация», М. 1928.

** См. воспоминания И. Н. Потапенко «Несколько лет с А. П. Чеховым» в «Ниве» за 1914 год, №№ 26, 27, 28. Потапенко — известный в свое время беллетрист и драматург.

*** А. И. Южин (настоящая фамилия кн. Сумбатов) — известный артист Малого театра и драматург. Умер в 1928 году.

очаровательных, до упаду смешных глупостей и милых неожиданностей, в которых он был неподражаемый мастер.

Уезжал Чехов из Москвы внезапно, словно по какому-то неотразимому внутреннему побуждению. Вот сегодня собирались в театр, взяли билеты, и он интересовался пьесой, стремился, или кто-нибудь позвал его вечером, и он обещал. Все равно — неотразимое побуждение было сильнее всего.

Просто ему надоело довольно-таки бессмысленное, шумное времяпровождение московское, и потянуло в тихое Мелихово, в его кабинет, или, может быть, в душе созрело что-нибудь требовавшее немедленного занесения на бумагу. И он уезжал, несмотря ни на что».

В работе над „Чайкой"

21 октября 1895 года Чехов сообщил Суворину: «...Можете себе представить, пишу пьесу, которую кончу не раньше как в конце ноября. Пишу ее не без удовольствия, хотя страшно вру против условий сцены. Комедия, три женских роли, шесть мужских, четыре акта, пейзаж (вид на озеро); много разговоров о литературе, мало действия, пять пудов любви».

И через месяц о том же: «Моя пьеса подвигается вперед, пока все идет плавно, а что будет потом, к концу, не ведаю».

21 ноября эта пьеса, в которой «мало действия и пуд любви», была закончена. Чехов начал ее, как сам признается, «форте и кончил пианиссимо, вопреки всем правилам драматического искусства». Как всегда, он остался недовольным тем, что сделал: «Вышла повесть». И перечитывая «новорожденную пьесу»

говорил, что «убеждается», что он «совсем не драматург». И Шавровой *, с которой у него была большая и интересная переписка, и рассказы которой он усердно исправлял, сказал: «Пьесу я кончил. Называется она так: «Чайка». Вышло не ахти, вообще драматург я неважный».

Что-то двусмысленное есть в отношении Чехова и к собственной драматургии и к театру вообще. Лишь водевили удовлетворяли его авторское самолюбие, большие же пьесы — «Иванов» и «Леший» — принесли ему только огорчения.

Не потому ли и говорил Чехов, что повествовательная форма — это его «законная жена», а драматическая — «эффективная, шумная, наглая и утомительная любовница». Одному приятелю советовал: «не пишите пьес», другому — «чем больше напишите пьес, тем лучше».

«Разлюбите сцену, в ней очень мало хорошего», — настойчиво рекомендует он Щеглову-Леонтьеву, а в письме к другому лицу говорит: «Пишите пьесу, спасение театра в литературных людях, но не бросайте беллетристики».

И сам не отказывался от писания пьес. Но не потому ли, что «театр, — как полагал он, — один из видов спорта», а «где успех или неуспех, там и спорт, там и азарт».

Через год он повторил то же самое: «театр — спорт и больше ничего».

И в новой своей пьесе, которую написал, несмотря на то, что театр «эшафот, где казнят драматургов»,

---

* Шаврова-Юст — писатель ница, печатавшаяся в «Русской мысли», «Артисте» и других изданиях.

В собрании писем Чехова (6 томов под редакцией М. П. Чеховой) обозначена буквами «Е. М. Ш.».

он затронул и вопрос об отношении к драматургическому искусству, приписав одному из героев «Чайки» — молодому писателю Треплеву — ненависть к современному театру. Вместе с Треплевым он возмущается актерами, разыгрывающими при «искусственном освещении», в комнате с тремя стенами пьесы, где говорится о том, «как люди пьют, едят, спят, носят свои пиджаки». Для Треплева это такая же пошлость, как для Мопассана [39] Эйфелева башня, которая давит мозг своей тяжестью и от которой нужно бежать.

Но в то же время в явном противоречии с Треплевым, Чехов говорит: «пусть на сцене все будет так же сложно и так же вместе с тем просто, как в жизни, люди только обедают, а в это время слагаются их счастья и разбивается их жизнь». И выходит как будто бы так, что Чехов принимает пьесы, в которых говорится о том, как люди спят, едят, носят свои пиджаки... Но Треплев ищет «новых форм» и завидует Тригорину, который «выработал себе приемы». Треплев пишет: «афиша на заборе гласила», «лицо, обрамленное темными волосами». Пишет и возмущается этой банальщиной.

И так же как двусмысленны советы Чехова — «пишите побольше пьес» и «не пишите вовсе» — так же двусмысленно отношение его к персонажам «Чайки».

Чехов как будто подсмеивается над Тригориным, негодующим на брюзжание критики, уверявшей, то недурно пишет Тригорин, но Тургенев писал лучше. Чехов смеется над тригоринской боязнью посмертной критики. Но в биографических сведениях о прошлом Тригорина — правда подлинных фактов жизни самого Чехова. Тригоринский рассказ о его молодости, когда, как и всякий маленький и непризнанный писатель,

чувствовал он себя несчастным и обиженным, — этот тригоринский рассказ невыдуманная повесть чеховской молодости.

Треплев иронизирует над «выработанными» приемами Тригорина — над описанием лунной ночи, которая «готова» после упоминания о горлышке разбитой бутылки. Но это прием вовсе не тригоринский, так как Треплев цитирует... Чехова. В чеховском рассказе «Волк» — описание лунной ночи сделано совершенно в тригоринской манере: «На плотине, залитой лунным светом, не было ни кусочка тени, на середине ее блестело звездой горлышко от разбитой бутылки».

«Горлышко разбитой бутылки» упоминается, таким образом, дважды — в рассказе и в пьесе. Но мы найдем это «горлышко» и в чеховском письме. Советуя брату Александру избегать в описаниях природы «общие места», Чехов рекомендует ему «хвататься за мелкие частности, группируя их таким образом, чтобы по прочтении, когда закроешь глаза, давалась картина». «Например, у тебя получится лунная ночь, — говорит он, — если ты напишешь, что на мельничной плотине яркой звездой мелькало стеклышко от разбитой бутылки и покатилась шаром черная тень собаки».

Письмо датировано 1886 годом, а фраза о лунной ночи почти дословно повторена из чеховского рассказа «Волк», написанного в 1885 году.

Но не только Треплев — Тригорин то же, как оказывается, цитирует... Чехова. Тригорин жалуется Нине Заречной на свои «насильственные представления»: он день и ночь думает — «я должен писать, я должен...». Но и Чехов в письме к Л. С. Мизиновой сетует на скуку; и скучно ему не потому, что около него нет его «милых дам», а потому, что «северная

весна лучше здешней и что ни на одну минуту не покидает мысль, что он должен, обязан писать». (Из письма 18 марта 1893 года.)

Так расчленяет себя Чехов в пьесе как бы на две половины: он в такой же мере Треплев, в какой и Тригорин.

«На берегу озера с детства живет молодая девушка. Любит озеро, как чайка, и счастлива и свободна, как чайка. Но случайно пришел человек, увидел и от нечего делать, погубил ее». Такой сюжет для «маленького рассказа» мелькнул у Тригорина. И Тригорин спешит занести его в свою записную книжку. Но записная книжка была и у самого Чехова, отметки которой сделаны в «тригоринской манере».

Вот несколько записей А. П. Чехова:

«— Полная девочка, похожая на булку.

— Барыня, похожая на рыбу хвостом вверх, рот как дупло — хочется положить туда копейку.

— Беременная дама с короткими руками и длинной шеей, похожая на кенгуру.

— Человек, который, судя по наружности, ничего не любит кроме сосисок.

— Какие чудесные названия: богородицины слезки, малиновка, вороньи глазки».

А вот отметки из записной книжки Тригорина:

«— Нюхает табак и пьет водку, всегда в черном.

— Пахнет гелиотропом; приторный запах, вдовий цвет, упомянуть при описании летнего вечера.

— Утром слышал хорошее выражение: «Девичий бор». Пригодится».

И не только стилевое сходство в записных книжках обоих — Чехова и Тригорина. Оно и в манере передачи пейзажа. Описывая заход солнца в рассказе «Гусев», Чехов говорит: «Одно облако похоже на

триумфальную арку, другое на льва, третье на ножницы».

И Тригорин напишет, «что плыло облако, похожее на рояль».

У Тригорина сюжет для «маленького рассказа» мелькнул при виде убитой Треплевым чайки, положенной у ног Нины. Но вот «зерно» будущей пьесы в письме Чехова:

«У меня гостит художник Левитан. Вчера вечером были с ним на тяге. Он выстрелил в вальдшнепа. Сей, подстреленный в крыло, упал в лужу... Левитан морщится, закрывает глаза и просит с дрожью в голосе: — Голубчик, ударь его головкой по ложу... Я, — говорит, — не могу. — А вальдшнеп продолжает смотреть с удивлением. Пришлось послушаться Левитана и убить его. Одним красивым влюбленным созданием стало меньше». (Из письма А. С. Суворину 8 апреля 1892 года.)

А эта молоденькая свободная, «как чайка», девушка оказывается не создана творческой фантазией Чехова. Она портрет, разумеется портрет художественный, не фотографический, живого человека, близкого Чехову. И «треугольник» отношений, который возникает между Треплевым, Тригориным и Ниной Заречной, — он тоже не выдумка творческой фантазии. Почти в таком же «треугольнике» протекали события и в личной жизни Чехова и тех, которые вошли в его пьесу под именами «Тригорина» и «Нины Заречной». Только этот жизненный треугольник сложнее созданного в пьесе. Потому что в Тригорине изображен не только И. Н. Потапенко, но, как мы знаем, и сам Чехов.

Чехов, отдавший свои мысли, оценки и суждения Тригорину — за исключением той половины, которая

сохранена для Треплева, — занимал среди действующих лиц «треугольника» положение созерцателя.

Кто же была чеховской «Ниной Заречной»?

Прежде, чем ответить на этот вопрос, надо коснуться одной интимной стороны в биографии Чехова. Это следует сделать вовсе не для того, чтобы установить те живые «модели», которые послужили Чехову прототипами для тех или иных персонажей его рассказов и пьес. Проблема автобиографичности в творчестве Чехова еще не разрешена. Это предстоит сделать его исследователям. Нас же интересует вопрос об отношениях автора «Чайки» к прототипам его пьесы потому, что здесь вскрывается одна из важнейших психологических черт Антона Павловича. И она, эта черта, уяснит нам многое.

Из рассказа о людях, которые изображены в персонажах «Чайки» и об отношении к ним Чехова, — будет ясно, о какой черте или — вернее — о каком свойстве Чехова будем мы говорить.

Лина

В Москве, в обществе знакомых С. П. Кувшинниковой, — художницы-дилетантки * Чехов встречался с Лидией Стахиевной Мизиновой, в дружеском кругу называемой Ликой. О Лике говорит Т. Л. Щепкина-

* С. П. Кувшинникова — «модель», которая послужила Чехову для создания образа Ольги Ивановны Дымовой в рассказе «Попрыгунья». Портретность персонажей этого замечательного рассказа была настолько очевидной, что послужила поводом к тяжелой ссоре Левитана с Чеховым. Левитан, увидавший себя в образе художника Рябовского, был оскорблен и изображением близкой ему Кувшинниковой в «Попрыгунье» Подробности см. в книге Юр. Соболева „Чехов“ стр. 132—144 (изд. „Федерация“, 1930).

Куперник, что была она «девушкой необыкновенной красоты, настоящая царевна-лебедь из русской сказки; ее пепельные вьющиеся волосы, ясные серые глаза под «соболиными» бровями, необычайная мягкость и неуловимый шарм в соединении с полным отсутствием ломания и почти суровой простотой, делали ее обаятельной. Антон Павлович был неравнодушен к ней. Раза два делал ей предложение, но она питала к нему только дружбу».

Здесь все верно, кроме двух последних строк: Чехов не делал ей предложения, а она питала к нему далеко не только дружбу. Был ли он к ней равнодушен? Чтобы ответить на это, надо уяснить некоторые взгляды Чехова на так называемое «личное счастье».

Чехов вовсе не был аскетом. Он страстно любил жизнь во всех ее проявлениях, но вопрос об отношении к женщине, которую он мог бы полюбить, был для него вопросом чрезвычайной сложности.

По некоторым смутным сведениям, достоверность которых еще нет возможности установить, у Антона Павловича была еще невеста: «У меня была невеста, ее звали Мисюсь, об этом я и пишу рассказ», — говорит он в одном дружеском письме. Так ли оно было на самом деле — неизвестно. Можно предположить, что эта чеховская фраза не является автобиографическим признанием, а простой передачей «сюжета для небольшого рассказа». Ведь содержание «Дома с мезонином» в том, что у художника есть невеста, — Мисюсь, — которую от него увозят.

Все-таки как же думал Чехов о любви? «Любовь — это когда кажется то, чего нет». Так, по словам Меньшикова, отвечал Чехов на вопрос, что «такое любовь»...

Может быть он боялся сильного увлечения? Очень для него выразительно, что побывав в мастерской

Левитана, он в таких выражениях передавал свои впечатления: «Это — лучший русский пейзажист, но, представьте, уже нет молодости. Пишет уже не молодо, а бравурно. Я думаю, что его истаскали бабы; эти милые создания дают любовь, а берут у мужчины немного — только молодость».

И дальше признается Чехов, что если бы он был «художником-пейзажистом, то вел бы жизнь почти аскетическую потому, что «пейзаж невозможно писать без восторга, а восторг невозможен, когда человек обожрался».

Но ведь он был художником, и то, что он писал, требовало, конечно, пафоса, не меньшего чем пейзаж. Он вовсе не собирался удалиться в монашескую келью, и, будучи до конца честным к самому себе, не постеснялся сделать такое признание: «Мне надо бы купаться и жениться. Я боюсь жены и семейных порядков, которые стесняют и в представлении как-то не вяжутся с моею беспорядочностью, но все же это лучше, чем болтаться в море житейском и штурмовать в утлой ладье распутства. Да уже я и не люблю любовниц и по отношению к ним становлюсь малопомалу импотентом». (Из письма к Суворину 10 ноября 1895 года.)

И тремя годами раньше писал: «Жениться я не хочу, да и не на ком. Да и шут с ним. Мне было бы скучно возиться с женой, а влюбиться весьма не мешало бы. Скучно без сильной любви». Что было в нем очень стойким—это боязнь «скуки» в семейной жизни. Он вовсе не шутя говорил: «Извольте, я женюсь, но мои условия: все должно быть так, как было до этого, то есть, она должна жить в Москве, а я в деревне. Я буду к ней ездить. Счастье же, которое продолжается изо дня в день, от утра до утра, я не

выдержу. Я обещаю быть великолепным мужем, но дайте мне такую жену, которая как луна появлялась бы на моем небе не каждый день. Оттого, что я женюсь, писать я не стану лучше».

Отметим, что все эти речи о женитьбе, от которой он отказывается, и эта тоска по сильной любви, без которой скучно — ведутся в годы, когда уже слагался замысел «Чайки», — то есть между 1892 и 1895 годом. К этому периоду относится и растущая близость с Л. С. Мизиновой.

Мизинова, подружившаяся с сестрой Антона Павловича, постоянно наезжает в Мелихово. Чехов с ней в оживленной переписке. Но какой странный тон носят эти письма.

«...Напишите мне, Милита, хотя две строчки. Не предавайте нас преждевременному забвению, по крайней мере, делайте вид, что Вы нас еще помните. Обманывайте нас, Лика, обман лучше, чем равнодушие».

«...Вы, Лика, придира. Прекрасный у Вас характер, нечего сказать. Напрасно Вы думаете, что будете старой девой. Держу пари, что со временем из Вас выработается злая, крикливая и визгливая баба, которая будет давать деньги под проценты и рвать уши соседним мальчишкам. Несчастный титулярный советник в рыжем халатишке, который будет иметь честь называть Вас своей супругой, то и дело будет красть у Вас настойку и запивать ею горечь семейной жизни».

«...Вы писали мне, что бросили курить и пить, но курите и пьете. Меня обманывает Лика. Это хорошо. Хорошо в том отношении, что я могу теперь ужиная с приятелями говорить: «Меня обманывает блондинка».

Она для него — Лика, Ликуся, Милита, Кантолупа и Кантолупочка.

Он дразнит, подсмеивается, иронизирует над ней, никогда не бывает серьезным, и она отвечает ему тем же. Создается впечатление, что оба скрывают друг от друга свои настоящие чувства.

А какие сцены «ревности» устраивает он Лике в письмах к ней. Сколько яда изливает он на «брюнета», то есть на Левитана, с которым дружит Лика. И в тон этой издевке сообщает ему Лика, что приняла она предложение руки и сердца от одного почтенного старичка семидесяти двух лет, — владельца винного завода.

Но вот совершенно неожиданно мы читаем такие строки в чеховском письме к Мизиновой: «Я старик. Мне кажется, что жизнь хочет немножко подсмеяться надо мной и потому я спешу записаться в старики. Когда я, прозевавши свою молодость, захочу жить по-человечески, и когда мне не удастся это, то у меня будет оправдание, я старик».

Но Лика ему отвечает:* «У нас с Вами отношения странные. Мне просто хочется Вас видеть и я всегда первая делаю все, что могу. Вы же хотите, чтобы Вам было спокойно и хорошо и чтобы около Вас сидели и приезжали бы к Вам, а сами не сделаете ни шагу ни для кого. Я уверена, что если я в течение года почему-либо не приеду к Вам, Вы не шевельнетесь сами повидаться со мной. Я согласна, что и глупо и бестактно писать это, но минутами бывает так невыносимо обидно за себя, что вот и напишешь

---

* Письма Л. С. Мизиновой к Чехову не опубликованы. Отрывки из них приводим по подлинникам, хранящимся в рукописном отделе Всесоюзной библиотеки им. Ленина в Москве.

то, чего не надо, тем более когда чувствуешь это постоянно. Я буду бесконечно счастлива, когда наконец ко всему этому и к Вам смогу относиться вполне равнодушно».

Не похоже это письмо на их обычную переписку.

Это письмо как бы отмечает новый период в их отношениях. Почти не скрывая своего чувства к Чехову, она страдает от его равнодушия. И вот какие страстные вырываются в ее письме строки:

«Вы, конечно, не знаете и не можете понять, что значит желать чего-нибудь страшно — и не мочь. Вы это не испытали. Я нахожусь в данное время в таком состоянии. Мне так хочется Вас видеть, так страшно хочется этого, и только я знаю, что это желанием и останется. Может быть это глупо, даже неприлично писать, но так как Вы и без этого знаете, что это так, то и не станете судить меня за это. Мне надо, понимаете, надо знать, приедете ли Вы и когда или нет. Все равно, только бы знать, ведь мне осталось только три-четыре месяца Вас видеть, а потом может быть никогда. Умоляю, напишите две строчки, так как Вы не приедете».

Он не приехал, конечно, а через три дня ответил: «Что за мерехлюндия, Лика? Мы будем видеться не три-четыре месяца, а сорок четыре года, так как я поеду за Вами или, проще, не пущу Вас. Будем видеться пока не прогоните».

Под конец она обращается к нему с такой просьбой: «Вы отлично знаете, как* я отношусь к Вам, а потому я нисколько не стыжусь и писать об этом. Знаю также и Ваше отношение или снисходительное или полное игнорирования. Самое мое горячее жела-

---

* Подчеркнуто Л. С. Мизиновой.



Народная артистка Республики О. Л. Книппер-Чехова в роли Ирины („Царь Федор Иоаннович")



А. П. Чехов

Фото конца 90-х годов

ние вылечиться от этого ужасного состояния, в котором нахожусь, но это так трудно самой. Умоляю Вас, помогите мне, не зовите меня к себе, не видайтесь со мной. Для Вас это не так важно, а мне, может быть, это и поможет Вас забыть. Я не могу уехать раньше декабря или января. Я бы уехала сейчас. В Москве это легко — не видаться, а в Мелихово я не поеду.

Что до того, что могут подумать, да и наконец давно уже думают. Простите мне, что заставляю читать весь этот вздор, но, право, так тяжело. Пользуюсь минутой, в которую имею силу все это написать, а то опять не решусь. Вы не будете смеяться над этим письмом? Нет. Это было бы слишком. Все это не нужно, слушайте, это не фраза, это единственный исход и я умоляю отнестись к нему без смеха и помогать мне. Прощайте».

Что же ответил Чехов на это признание? Не знаем. Только вспышка была улажена: она, разумеется, не выдержала и поехала в Мелихово.

Все-таки что-то изменилось в ее отношениях к Чехову.

Вспоминая об этом, она скажет впоследствии, что была «дважды отвергнута» Чеховым. Пожалуй, она нашла точное выражение: «отвергнута». Он ушел от нее, испугавшись страсти, которая могла бы войти в его спокойную жизнь и помешать работать.

Хотел сильной любви, знал о ней и все-таки ушел. Равнодушие? Нет — это сложнее. То, что окружающим казалось выражением холодности Чехова к людям, на самом деле было свойством его писательской натуры.

Ему было интереснее наблюдать за людьми, чем участвовать вместе с ними в их радостях и несчастиях,

или бороться вместе с ними. Он ничем не ответил на порывы Лики, потому что как раз в это время в Ликиной судьбе случился переворот, чрезвычайно его заинтересовавший. То, что с ней происходило, помогало до конца продумать мелькнувший перед ним, как перед его Григориным, «сюжет для небольшого рассказа».

В это время частым гостем Мелихова стал И. Н. Потапенко, очень приятный Чехову человек. Познакомилась с ним, разумеется, и Лика. В эту зиму и весну 1893 года в Мелихове много музицировали: пели — Лика ведь готовилась к оперной сцене, — играли на скрипке, — Потапенко был прекрасный скрипач; составлялись дуэты. Излюбленным была — «Серенада» Брага.

Это песнь о «девушке, больной воображением, которая слышала ночью в саду какие-то таинственные звуки, до такой степени прекрасные и странные, что должна была признать их гармонией священной, которая нам смертным непонятна и поэтому обратно улетает в небеса». Так сказано о серенаде Брага в чеховском «Черном монахе».

И что неожиданного в том, что «дважды отвергнутая» Лика заинтересовалась Потапенко? И уже не в шутливом тоне любовной перебранки с Чеховым, а с развязностью, ей так не свойственной, она написала Антону Павловичу: «А я... окончательно влюблена в Потапенко. Что же делать, папочка? Вы все-таки всегда сумеете отделаться от меня и свалить за другого».

И когда она так говорит, то уже не очень веришь в искренность ее чувства к Потапенко. Не переживала ли она мучительную боль, думая, что от нее «отделались» и «свалили» на другого?

Тут и начинается история Нины Заречной, ибо она была ею, эта девушка с несколько наивными представлениями о жизни, с неясными порывами и мечтами об искусстве.

Нина поступает на сцену — она хочет быть драматической актрисой, а Лика учится петь и стремится стать оперной артисткой. Нина бросилась к Тригорину, у которого уже была давняя привязанность к Аркадиной, деспотически им распоряжавшейся. Лика — ушла с Потапенко, у которого была жена, по характеру очень напоминавшая Аркадину.

Дальше произошло все, что изображено в «Чайке». Лику, так же как Тригорин Нину, бросил Потапенко. Это впрочем произошло не сразу. Лика жила в Париже вместе с подругой и училась петь. Потапенко, вместе с женой, тоже жил в Париже.

Чехов, наблюдавший за всей этой драмой, отдельные подробности которой он включал в свою пьесу, не прерывал переписки с Ликой, и все продолжал над ней подсмеиваться.

Потапенко вернулся в Россию без Лики. И Лика пишет Чехову о том, что ее «все забыли». «Последний мой поклонник Потапенко, говорит она, и тот коварно бежал в Россию. Но какая же с... его жена. Вы себе и представить не можете».

Догадывался ли Чехов о драме, переживаемой Ликой? Конечно, потому что, отвечая ей на сообщение об отъезде, точнее было бы сказать, бегстве Потапенко, он пишет: «Я не совсем здоров. У меня почти непрерывный кашель. Очевидно, я здоровье прозевал так же, как Вас». Позднее и малоутешительное признание! А Лика, которая долго сдерживалась,

наконец, не вынесла: уехала из Парижа, поселилась в Монтре, на Женевском озере, и послала Чехову несколько писем, выражающих глубокое отчаяние.

Вот отрывок одного из них:

20 сентября 1894 года: — «Видно уж мне суждено так, что люди, которых я люблю, в конце концов, мною пренебрегают. Я очень, очень несчастна. Не смейтесь. От прежней Лики не осталось и следа. И, как я ни думаю, все-таки не могу не сказать, что виной всему Вы. Впрочем, такова видно судьба. Одно могу сказать, что я переживала минуты, которые никогда не думала переживать. Я одна, около меня нет ни одной души, которой я могла бы поведать все то, что я переживаю. Дай бог никому не испытать что-либо подобное. Все это темно, но я думаю, что В а м * все ясно. Недаром Вы психолог. Мне кажется только, что еще несколько дней и я больше не выдержу. В а м я верю и потому могу получить от Вас несколько строк. Может быть, по обыкновению, обругаете меня, назовете дурой, но право же это лучше, чем ничего не отвечать».

Время оказало свое целительное воздействие. Лика через несколько месяцев пришла в себя и писала Чехову: «Я уже почувствовала себя хорошо, похудела, похорошела (извините) и сделалась, говорят, похожа на прежнюю Лику, ту, которая столько лет безнадежно любила Вас. Я даже начинаю бояться как бы с прежней наружностью не вернулась и прежняя глупость». Прежней «глупости» не случилось, и Лика нашла прежний тон в письмах к Чехову, тон, который напоминает былую грубоватую шутливость их переписки — до катастрофы. 2 января 1895 года она пишет

---

* Подчеркнуто Л. С. Мизиновой.

ему из Парижа: «Поздравляю Вас с Новым годом, желаю, чтобы все Ваши поклонницы, конечно, в том числе и я, надоедали Вам своим поклонением. Вообще мне хочется, чтобы с Вами случилось что-нибудь каверзное, а то уж слишком Вам спокойно живется. Желаю Вам дико влюбиться в какую-нибудь брюнетку, которую я за это возненавижу и при случае постараюсь выколоть ей глаза».

Узнала ли она себя в «Чайке»? Надо заметить, что она увидела пьесу лишь два года спустя — уже на сцене Художественного театра.

Но когда в 1895 году она вернулась в Россию, она не могла не знать о тех толках, которые по поводу «Чайки» ходили по Москве, поэтому она и писала Чехову: «Здесь все говорят, что «Чайка» заимствована из моей жизни, и еще, что вы хорошо отделали еще кого-то».

Не трудно понять, на кого она намекала.

Личный «элемент», которого так стремился избегать Чехов, проступил в «Чайке», как видим, совершенно отчетливо.

Очевидно и Чехов догадался, что на читателей «Чайки» «портретность» ее персонажей действует неприятно. Он писал Суворину: «Пьеса моя «Чайка» провалилась без представления. Если в самом деле похоже, что в ней изображен Потапенко, то, конечно, ставить и печатать ее нельзя». (Из письма 16 декабря 1895 года.)

Через год она была поставлена на сцене, и Чехов, говоривший, что «Чайка» «провалилась без представления», мог бы добавить, что она жестоко провалилась и представленная на сцене.

Неудача в Александринском театре произвела на Чехова гнетущее впечатление.

„Чайка“ освистана

«Чайка» была поставлена на сцене Александринского театра 17 октября 1896 года. Ее взяла для бенефиса актриса Левкеева. Это была очень хорошая исполнительница бытовых комических ролей, очень смешная на сцене и имевшая определенный круг «своей» публики — мелкое и среднее чиновничество, купечество, гостиннодворских приказчиков. Это были читатели лейкинских «Осколков» и поклонники пьес Виктора Крылова.

Совершенно непонятно, почему выбор Левкеевой остановился на «Чайке», — может быть, в расчете на имя автора, который когда-то был так популярен, как поставщик рассказов для «Осколков». Но можно наверное сказать, что ни Левкеева, ни ее публика Чехова, как автора больших произведений, не знали. К тому же при распределении ролей оказалось, что играть Левкеевой в «Чайке» некого.

В спектакле были заняты лучшие силы труппы: Нину Заречную играла Комиссаржевская, Сазонов — Тригорина, Варламов — Шамраева, Апполонский — Треплева, Давыдов — Сорина, Писарев — Дорна. Этим актерам нельзя было отказать ни в таланте, ни в уважении к автору, с которым многие из них, в особенности Давыдов, были хорошо знакомы. Очень старательно отнесся к постановке пьесы и режиссер Карпов.

Но пьеса была непохожа на обычные драматические изделия, в ней не было никаких внешних эффектов, она была сложна и тонка. В ней говорилось о чувствах, «нежных как цветы». Пьеса была необычайна по своей конструкции. В ней, как писал сам Чехов, было мало действия. И не случайно, указывая на ко-

личество ролей в пьесе, Чехов упомянул «вид на озеро, словно «озеро» входило в состав действующих лиц. Но «вид на озеро», действительно, должен был стать неожиданным «персонажем» пьесы, существеннейшим ее элементом. Пейзаж должен был создать определенное «настроение».

Этого не поняли в театре. Да и не было в театре приемов, с помощью которых можно было бы передать настроение пьесы, найти ее музыкальное звучание и лирику ее красок. Поэтому, как ни старались актеры, в распоряжении которых к тому же было только восемь репетиций, работа над «Чайкой» шла медленно — пьеса с трудом подавалась расшифровке.

Чехов приехал за несколько дней до спектакля, бывал на репетициях, не верил в успех и надеялся только на В. Ф. Комиссаржевскую [38].

Публика, наполнившая театр, чтобы приветствовать свою любимую комическую актрису, сразу почувствовала себя обманутой: бенефициантка не участвует, и в пьесе, как это уже обозначилось с первых слов, нет ничего смешного. Публика обиделась и жестоко отомстила. Со второго акта начались свистки; перекатывающийся по рядам хохот — казалось смешным, например, что Маша нюхает табак, а Нина Заречная закуталась в простыню, читая монолог Треплева; на сцене была растерянность — актеры были смущены поведением зрителей, сбились с тона и даже Комиссаржевская играла плохо.

Чехов не дождался конца представления. Ушел из театра и никто не знал — куда. Он ужинал в ресторане Романова — один, потом вернулся к Сувориным. А. С. Суворин в своем дневнике рассказывает, что он пошел в комнату к Чехову и приводит такой с ним разговор:

«— Где вы были?

— Я ходил по улицам, сидел. Не мог же я плюнуть на это представление. Если я проживу еще семьсот лет, то и тогда не дам на театр ни одной пьесы. Будет! В этой области мне неудача».

Он заявил Суворину, что завтра же уезжает в Мелихово.

Чехов надолго сохранил чувство обиды за этот провал.

В письме к Вл. И. Немировичу-Данченко он признает, что первое представление имело «громадный неуспех». «Театр дышал злобой, воздух сперся от ненависти и я, по законам физики, вылетел из Петербурга как бомба».

По поводу «Чайки» Чехов получил ряд писем, выражавших ему сочувствие и написанных, как он иронически говорил, в таком тоне, будто бы в доме его произошло несчастье.

Чехов был оскорблен не только поведением публики, но и тоном театральных рецензий. Отзывы критики были действительно неслыханно грубы.

«Это не «Чайка», это просто дичь», — восклицал Иероним Ясинский, а Селиванов прямо заявлял, что между всеми действующими лицами пьесы есть только одна связь — разврат.

В других отзывах было: «Сумбур в плохой драматической форме», «Нелепица в лицах», «Кляуза на живых людей», «Экземпляр для театральной кунсткамеры».

Забыть это злобное шипение было трудно. Горький след от всех этих переживаний, связанных с провалом «Чайки», остался в Чехове навсегда. И несомненно, что катастрофа с «Чайкой» не могла не отразиться на его здоровье.

Еще в 1893 году, страдая от усилившихся припадков кашля, Чехов не раз возвращался к разговору о своей болезни. Очень выразительные строки есть в одном из его писем: «Враг, убивающий тело, обыкновенно подкрадывается незаметно, в маске, когда вы, например, больны чахоткой, и вам кажется, что это не чахотка, а пустяки. Я знаю, что умру от болезни, которой не буду бояться».

Что это — пророчество? Нет. Вполне ясное отношение к своей болезни: он знал, чем он болен, поэтому, говоря о больных чахоткой, которым кажется, что это пустяки, Чехов говорил о самом себе: «Я знаю, что умру от болезни, которой не буду бояться».

У него было странное отношение к своему здоровью. Он не очень любил лечить других, а самого себя не лечил вовсе. И произошла катастрофа.

Она случилась 28 марта 1897 года. Приехал в Москву А. С. Суворин, с которым Антон Павлович пошел обедать в ресторан «Эрмитаж». Едва сели за стол, как у Чехова хлынула кровь горлом. Не начиная обеда, они уехали в «Большую Московскую» гостиницу, где остановился Суворин. Чехов пролежал у него в номере два дня. Он испугался этого припадка и говорил про свое тяжелое состояние. Суворин записал тогда же в своем дневнике следующие его слова:

«Для успокоения больных мы говорим во время кашля, что он желудочный, а во время кровотечения, что оно геморроидальное, но желудочного кашля не бывает, а кровотечение непременно из легких. У меня из правого легкого кровь идет, как у брата и другой

моей родственницы *, которая тоже умерла от чахотки».

25 марта у него опять пошла кровь горлом и доктор Оболенский отвез его в клинику Остроумова на Девичьем поле.

Чехова навестил Суворин и отметил свой визит в «Дневнике»: «Больной смеется и шутит, по своему обыкновению, отхаркивая кровь в большой стакан. Но когда я сказал, что смотрел, как шел лед по Москва-реке, он изменился в лице и сказал: «Разве река тронулась?» Я пожалел, что упомянул об этом. Ему, вероятно, пришло в голову, не имеет ли связь вскрывшаяся река и его кровохарканье. Несколько дней тому назад он говорил мне: «Когда мужика лечишь от чахотки, он говорит: «Не поможет. С вешней водой уйду».

Чехов пролежал в клинике — в палате № 16 — до 10 апреля. Здесь его навещали многие друзья, приходил к нему и Л. Н. Толстой, который рассказывал ему о своей работе «Что такое искусство».

Врачи определили верхушечный процесс в легких и предписали изменить образ жизни.

Вернувшись в Мелихово, он стал собираться за границу. Поехал сперва в Биарриц, откуда дурная погода погнала его в Ниццу.

Как раз в это время Франция переживала процесс Дрейфуса-Золя. Этот в свое время нашумевший процесс, к которому Чехов относился с обостренным интересом, был одним из тех толчков в росте его самосознания, который необычайно ускорил последнюю борьбу с «внутренним рабом».

---

* Тетка А. П. — Федосья Яковлевна, родная сестра матери Чехова.

Дрейфус — Золя, Чехов — Суворин

Напомним некоторые подробности этого исторического дела. Альфред Дрейфус — еврей, родом из Эльзаса, артиллерийский капитан при генеральном штабе, был заподозрен в шпионаже. Военный министр, генерал Мерсье, представил в 1895 году какие-то таинственные документы, которые, якобы, обличали Дрейфуса. Дрейфус был привлечен к суду.

Но ни ему, ни его защитнику Деманжу эти уличающие документы предъявлены не были. Военный суд, разжаловав Дрейфуса, сослал его в пожизненную ссылку в Кайенну. Клерикальная партия торжествовала. Был осужден еврей. «Заварилась мало-помалу каша на почве антисемитизма, на почве, от которой пахнет бойней», — как говорил Чехов, — изучавший процесс по стенографическим отчетам.

Разжалование Дрейфуса и все обстоятельства, при которых совершалась отправка его в ссылку, произвели самое гнетущее впечатление на всех честных людей Франции. На процессе все было подстроено. Эксперты, которые должны были произвести анализы документов, якобы написанных рукой Дрейфуса, были нелепые чудаки, из которых один даже оказался сумасшедшим. Все об этом отлично знали, и, тем не менее, их безграмотной экспертизе поверили.

Тогда брат Дрейфуса — Матье, обратился к генералу Вильо, военному министру, с письмом, в котором указывал на настоящего виновника в шпионаже — на майора Эстергази. По настоянию сената дело о военном шпионаже стало вновь предметом судебного разбирательства. Но это касалось одного только Эстергази, а Дрейфус так и оставался в ссылке и лично его процесс пересмотрен не был. В процесс всту-

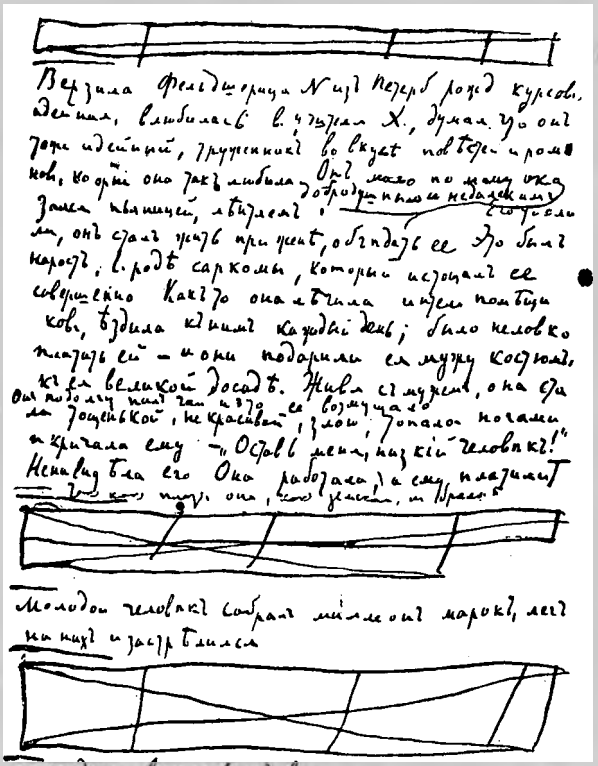
пает памфлет Золя[40] «Я обвиняю», в котором вся гнусная махинация суда вскрыта была до конца. Золя обвинял генеральный штаб и военных министров в заведомой лжи, клевете, подлогах и попустительстве. Процесс Золя, обвиненного в оскорблении власти, закончился обвинительным приговором.

Но на процессе Золя был установлен истинный виновник подделки документов, которыми пользовались для того, чтобы обвинить Дрейфуса. Это был Анри. Скандал получился неслыханный и соединенное присутствие кассационного суда, отменив решение парижского военного суда, передало дело Дрейфуса на новое рассмотрение.

Дрейфус 1 июня 1899 года был привезен во Францию. Несмотря на пламенную защиту адвоката Лябори, суд, под продолжавшимся натиском клерикалов и шовинистов, снова обвинил Дрейфуса, но на этот раз признал его «достойным снисхождения». И тогда Дрейфус был «помилован» президентом Феликсом Фором.

Русская пресса, за малым исключением, была на стороне Дрейфуса и Золя, тем не менее, многие, даже либеральные газеты, боялись высказаться откровенно, а официальные рептилии, во главе с «Новым временем», повели яростную кампанию против Золя и Дрейфуса.

Чехов сразу стал на сторону Золя, которого он называет «благородной душой». «Новое время» продолжало печатать погромные статьи и выливать ушаты грязи на всех, кто был на стороне Золя. Суворинская газета утверждала, что все защитники Дрейфуса подкуплены еврейским синдикатом. Поведение «Нового времени» глубоко волновало Чехова. «Новое время» — писал он — просто отвратительно».



Факсимиле А. П. Чехова

Фото-копия с листков записной книжки

Дело Дрейфуса сыграло в жизни Чехова решающую роль. Во-первых, он окончательно и навсегда порывает с «Новым временем», что в сущности уже было сделано раньше, ибо после нескольких публицистических заметок, напечатанных в «Новом времени» еще в 1893 году, Чехов не дал суворинской газете ни одной строчки.

Во-вторых, во всей неприкрытости проявленная «Новым временем» гнусность не могла не повлиять и на личные отношения с Сувориным, последние нити близости с которым рвутся как раз после 1897—98 годов.

Выработав в себе определенное отношение к «Новому времени» и сняв с себя гнет воздействия Суворина, то есть перестав видеть в нем нравственный для себя авторитет, Чехов избавлялся и от всех последствий тех отрав, которыми заражала его суворинская идеология.

Впрочем, еще задолго до дела Дрейфуса им был написан рассказ «Скрипка Ротшильда», один из самых сильных рассказов русской литературы, бьющих по антисемитизму. А ведь за несколько лет до появления «Скрипки Ротшильда», Чехов в «Новом времени» поместил вполне нововременскую «Тину», — рассказ с явно выраженной юдофобской тенденцией.

В таких противоречиях и раскрывается весь Чехов. Процесс Дрейфуса ставит точку: Чехов до конца изживает свой антисемитизм.

Но этот процесс борьбы с внутренним «рабом» продолжает развиваться в направлении, повторяем, чисто этическом. Если Чехов избавился от тех или иных своих предвзятостей в отношении явлений социальной и политической жизни, то это еще вовсе не свидетельствует о наличии у него стройного и целостного мир-

консерванья. Да, он мог бы теперь из старой своей формулы — «я не консерватор, не либерал...» исключить слово «консерватор» и сказать, что он стал либералом, мечтающим о конституции.

Было бы однако грубым упрощенчеством строить схему, рисующую ход чеховского освобождения от «раба» по такой, примерно, линии: был сперва другом Суворина и сотрудником «Нового времени», потом помирился с Гольцевым и «Русской мыслью» — и стал либералом. Это было гораздо сложнее и глубже. И только недооценкой значения сложнейших психологических процессов, которые шли в Чехове, можно было бы назвать это «переходом» из консервативного лагеря в либеральный.

Русская либеральная интеллигенция обладала такими свойствами и жила часто в таких настроениях, которые никаких симпатий в Чехове возбуждать не могли. Вот, например, выразительная для него запись в «Дневнике» 1897 года, ярко рисующая критическое отношение А. П. к «праздноболтающей» либеральной интеллигенции:

«19 февраля — обед в «Континентале», в память великой реформы. Скучно и нелепо. Обедать, пить шампанское, галдеть, говорить речи на тему о народном самосознании, о народной совести, свободе и т. п., в то время, когда кругом стола снуют рабы во фраках, те же крепостные, и на улице, на морозе, ждут кучера, — это значит лгать святому духу».

Чехов имел полное право в черновых заметках к одному из своих рассказов внести фразу: «Господа приличны, образованы, но они в чем-то солгали».

Вот эту ложь и улавливал болезненно-чутко Чехов и «его освобождение» было, прежде всего, освобождением от лжи, в чем бы она ни выражалась...

ПРЕДСМЕРТНЫЙ ЧЕХОВ

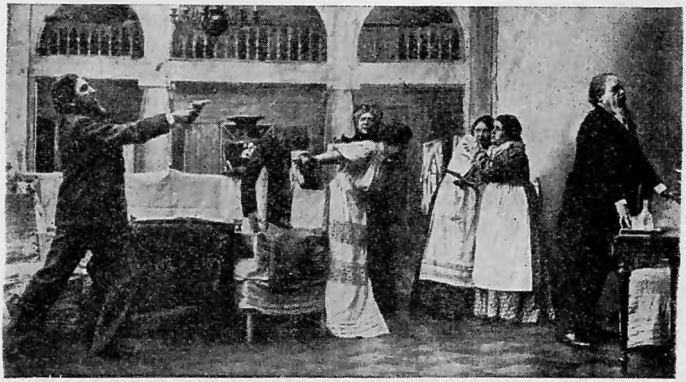
Перед открытием Художественного театра

Перед возвращением из-за границы в Россию Чехов побывал в Париже, где познакомился со скульптором М. М. Антокольским, которого уговорил дать великолепную копию его памятника Петру I для Таганрога. Кроме того, из Парижа отправил Чехов в родной город свыше трехсот томов французских авторов, что стоило ему не дешево.

Надо пояснить, что уже несколько лет Чехов пополнял таганрогскую библиотеку книгами. Мы помним, какое гнетущее впечатление оставил Таганрог на Чехова в 1887 году, когда, после семилетней разлуки, посетил он родной город. А теперь Чехов полон заботами о Таганроге. Но именно потому, что Таганрог уныл, дик, безграмотен, Чехов и проявляет свою заботливость к нему: определяя себя как «культуртрегера», Антон Павлович считал своим нравст-



„Чайка". Действие IV



„Дядя Ваня". Действие III. Сцена выстрела



А. П. Чехов с артистами Художественного театра после чтения „Чайки"

Из собр. Лит. музея при б-ке СССР им. Ленина

венным долгом сделать все, что было в его силах, для того, чтобы «окультурить» родной город. В воспоминаниях общественных деятелей Таганрога эта черта Чехова проступает очень четко. Мы узнаем из этих воспоминаний, что Чехов «всякого таганрожца, которого встречал в Москве, нагружал книгами для таганрогской библиотеки», «завязал сношения с местными представителями печати и не прерывал их до конца жизни», «собирал сведения о деятелях-таганрожцах, разбросанных по всему миру, и сейчас же делился этими сведениями с местными общественными работниками».

Из Парижа Чехов вернулся в Мелихово. Он провел здесь лето и выехал 14 сентября в Ялту: развивающаяся болезнь не позволяла жить в средней полосе России.

Уезжая на свой «Чортов остров», как будет называть Чехов Ялту, он побывал на репетициях только что созданного в Москве Художественного театра.

Московский Художественный театр не мог не заинтересовать Чехова. Программа нового дела была широка. Вл. И. Немирович-Данченко и К. С. Станиславский, глубоко понимавшие необходимость создания нового театра, который поднял бы значение русского драматического искусства, сниженного казенной рутиной так называемых императорских театров, мечтали включить в репертуар такие произведения русской и западноевропейской драматической литературы, которые не находили себе места на других государственных и частных сценах.

Вл. И. Немирович-Данченко, с которым уже давно был близок Антон Павлович, настаивал на том, чтобы включить в репертуар создаваемого театра, прежде всего, «Чайку».

Чехов все еще казался тогда писателем не для сцены, его новая драматургическая форма еще не была почувствована. Даже такой чуткий художник, как К. С. Станиславский [41], и тот признавался, что он не понимает Чехова и не знает, «как это можно играть». Вл. И. Немирович-Данченко сумел сломить это предубеждение, и «Чайка», не без сопротивления, была включена в репертуар первого сезона.

Театр понимал, что, ставя «Чайку», он рискует многим. Над «Чайкой» тяготели воспоминания ее провала в 1896 году на сцене Александринского театра. Эта неудача так подействовала на самого Чехова, что он поклялся, как мы знаем, никогда больше не писать для сцены, и Немировичу-Данченко понадобилось много усилий для того, чтобы добиться от него согласия на постановку «Чайки» в Художественном театре.

Репетировали «Чайку» с большим подъемом. И, вероятно, оттого, что работа держала всех в таком хорошем напряжении, пьеса потребовала сравнительно небольшого количества репетиций, всего двадцать шесть, или восемьдесят рабочих часов.

Чехов был на одной из репетиций «Чайки». Воспоминания его будущей жены О. Л. Книппер сохранили нам дату: 9 сентября 1898 года.

О. Л. Книппер рассказывает, что в этот вечер состоялось знакомство Антона Павловича с труппой театра. Тут произошло, вероятно, то самое, что было во время первой встречи наивной провинциальной девушки Нины Заречной с знаменитым писателем Тригориным. Оба смущались. О. Л. Книппер так и вспоминает: «Не знали, как и о чем говорить. И он, то улыбаясь, то вдруг необычайно серьезно смотрел на нас с каким-то смущением, пожевывая бородку и

вскидывая пенснэ». Занятые в пьесе ждали от него авторских указаний, но он внимательнее всего рассматривал античные урны, которые тут же изготовлялись для спектакля «Антигоны». Так ничего от него и не добились. Были разочарованы, вероятно, ждали — вот автор раскроет все тайны «Чайки», а автор только и нашелся сказать: «там же в пьесе все у меня сказано».

— А как играть?

— А играть надо... хорошо надо играть, как можно лучше.

Был он на репетиции «Царя Федора Иоанновича», трагедии А. К. Толстого, которой решил начать театр свой первый сезон. О своих впечатлениях об этой репетиции Чехов писал: «Меня приятно тронула интеллигентность тона и со сцены повеяло настоящим искусством, хотя играли и не великие таланты. Ирина, по-моему, великолепна. Голос, благородство, задушевность — так хорошо, что даже в горле чешется... Если бы я остался в Москве, то влюбился бы в эту Ирину». (Из письма к А. С. Суворину 8 октября 1898 года.)

Ириной была О. Л. Книппер.

Затем он уехал в Ялту — в свою «теплую Сибирь».

Этой осенью семья Чеховых пережила большое горе: 12 октября умер Павел Егорыч.

В письме к сестре Антон Павлович говорит: «Мне кажется, что после смерти отца в Мелихове будет уже не то житье, точно с дневником его прекратилось и течение мелиховской жизни». (Из письма к М. П. Чеховой 14 октября 1898 года.)

Чехов не ошибся — едва закрылась последняя страница дневника, написанная рукою Павла Егорыча, начала замирать жизнь в Мелихове. Чеховы стали поговаривать о продаже имения и переселении на юг

в Ялту, где подходила к концу постройка нового дома. Этот дом возникал на участке близ Ялты в запущенном и диком месте. И это произвело удручающее впечатление на Марию Павловну. Но Чехов помнил, в какой цветущий уголок, благодаря его «культуртрегерству», как говорил он, было превращено Мелихово, и поэтому его не пугали трудности освоения незастроенного участка. Вместе с архитектором разработал он план дома и энергично принялся за постройку.

Около дома насаждали сад и Чехов заботливо следил за каждым новым побегом. Кроме участка «в двадцати минутах ходьбы от Ялты», на котором быстро вырастал «белый дом», как назвали окрестные татары новую постройку, Антон Павлович купил в тридцати пяти верстах от города маленькое именьице Кучук-кой.

Становилось совершенно очевидным, что наступила пора ликвидировать мелиховскую усадьбу. И в московских газетах появилось объявление о продаже Мелихова.

Второе рождение „Чайки"

В театре в это время усиленно репетировалась «Чайка». И если дата официального открытия московского Художественного театра — 14 октября 1898 года, то датой его «духовного рождения» является 17 декабря этого же 1898 года — премьера «Чайки». Этот вечер неизгладимыми чертами оттиснут в памяти всех участников «Чайки». О нем рассказывает на гербом занавесе чайка — неизменная эмблема Художественного театра.

Рождалась «Чайка» в очень тяжелый момент: театр

после успеха «Царя Федора Иоанновича» переживал кризис. Ни одна из новых его постановок — «Шейлок», «Потонувший колокол», «Трактирщица» и «Счастье Греты» (обе пьесы шли в один спектакль) — сборов не делала. В кассе едва набиралось сто рублей. Затем неожиданное запрещение гауптмановской «Ганнеле», на которую возлагали много надежд и которая духовными властями была признана кощунственной. Мрачное уныние сменило смелые ожидания и дерзкие мечты, с которыми начинал театр свой путь.

В день генеральной репетиции далеко не были уверены в победе. И был такой момент, когда едва не согласились на просьбы Марии Павловны Чеховой снять постановку, если нет настоящей уверенности в успехе: новый провал «Чайки» мог бы стать катастрофой для Антона Павловича.

Вечер принес не только успех, но такой триумф, который, переломив судьбу сезона, предопределил будущее театра.

Когда задвинулся занавес первого акта, который шел при каком-то особенно напряженном молчании зрительного зала, артисты решили, что спектакль провалился. Они пугливо прижались друг к другу и прислушивались к публике. Гробовая тишина. Кто-то заплакал.

«Мы молча, — вспоминает К. С. Станиславский, — двинулись за кулисы. В этот момент публика разразилась стоном и аплодисментами. Бросились давать занавес. Говорят, что мы стояли на сцене в полоборота к публике, что у нас были странные лица, что никто не догадался поклониться в сторону зала и кто-то даже сидел. В публике успех был огромный, а на сцене целовались все, не исключая посторонних, которые ворвались за кулисы. Кто-то валялся в исте-

рике. Многие, и я в том числе, от радости и возбуждения танцевали дикий танец».

Заметки московских газет, вышедших на следующий день после премьеры, констатировали полный успех спектакля.

«Чайка» стала модной темой для разговоров во всех московских редакциях и литературных салонах.

Чехов мечтал увидеть «Чайку», которая приобрела на сцене Художественного театра новую жизнь, но болезнь держала его в Ялте и только весной он смог побывать в Москве. Чехов смотрел спектакль, специально для него одного сыгранный. Об этом представлении «Чайки» О. Л. Книппер-Чехова вспоминает так:

«...У нас не было своего театра. Сезон кончался с началом поста и кончалась аренда нашего театра... Решили на один вечер снять театр «Парадиза», где всегда играли в Москве приезжие иностранные гастролеры. Театр нетопленный, декорации не наши, обстановка угнетающая после всего «нашего», нового, связанного с нами.

По окончании четвертого акта, ожидая после зимнего успеха похвал автора, мы вдруг видим: Чехов, мягкий, деликатный Чехов, идет на сцену с часами в руках, бледный, серьезный и очень решительно говорит, что все очень хорошо, но «пьесу мою я прошу кончать третьим актом, четвертый акт не позволю играть...». Он был со многим не согласен, главное, с темпом, очень волновался и уверял, что этот акт не из его пьесы. И правда, у нас что-то не ладилось в этот раз.

Владимир Иванович и Константин Сергеевич долго успокаивали его, доказывали, что причина неудачной нашей игры та, что давно не играли (весь пост) и

все актеры настолько зеленые, что потерялись среди чужой, неуютной обстановки мрачного театра. Конечно, впоследствии забылось это неприятное впечатление, все поправилось, но всегда вспоминался этот случай, когда Чехов так решительно и необычайно для него протестовал, когда ему что-то было действительно не по душе...» *.

Вечный автор Художественного театра

«Чайка» дала жизнь театру. Союз театра с Чеховым был заключен.

Чехов угадывал будущее театра. И когда он получил от Вл. И. Немировича-Данченко письмо, в котором послышалась «едва слышная дребезжащая нотка, как в старом колоколе», в том месте, где речь шла о мелочах театральной жизни, то поспешил ему ответить, уговаривая «не утомляться и не охладевать».

«Художественный театр — это лучшие страницы той книги, какая будет когда-либо написана о современном русском театре — писал Чехов. Этот театр — твоя гордость. Это единственный театр, который я люблю, хотя еще ни разу в нем не был. Если бы я жил в Москве, то постарался бы войти к Вам в администрацию, хотя бы в качестве сторожа, чтобы помочь хоть немножко и, если можно, помешать тебе охладеть к сему милому учреждению». (Из письма 24 ноября 1899 года.)

О Чехове К. С. Станиславский сказал: «Наш вечный автор». Именно чеховская драматургия и дала Художественному театру ту новую форму, которую

---

* О. Книппер-Чехова. «Из моих воспоминаний о Художественном театре и об А. П. Чехове». Сборник «Артисты МХТ за рубежом», стр. 26—27, Прага.

тот искал уже с момента первых дней своей организации.

Что дал Чехов театру? Он заставил прежде всего отказаться от грубого натурализма. Натурализм был примитивен для Чехова.

Ставя Чехова, Художественный театр учился отходить от психологической шелухи и отыскивать зерна больших человеческих чувств. Так должна была из-под хлама музейного натурализма забить живая струя реализма в его психологической оболочке. Это направление, в свою очередь, освободило русский театр от заскорузлых наслоений сценической рутины и литературных клише; вернуло сцене живую психологию и простую речь, научило рассматривать жизнь не только через ее вздымающиеся вершины и падающие бездны, но и через окружающую обыденщину.

Сценический реализм утверждал театральность драматических произведений не во внешней сценичности, отдавшей театр на много лет во власть особого рода мастеров и оттолкнувший от него живые литературные таланты, а во вскрытом внутреннем, психологическом движении. Так чеховская драматургия, очищая театр от литературных клише, возвращала театру настоящую литературу, от которой он был уже в течение десятилетий оторван. Эта драматургия глубокой жизненности для сценического своего воплощения потребовала и жизненности постановок. Художественный театр ее верно нащупал. Он понимал, что «жизненность» чеховских пьес может быть выражена в той скамье, на которой спиной к зрителям сидят действующие лица в первом действии «Чайки».

Этот прием смелой и новой мизансцены не был режиссерским фокусом, и не мог казаться выражением какого-то оригинальничания во что бы то ни стало,

а был органически связан с самим Чеховым, со всем внутренним тоном его пьесы. Так воссоздалась на сцене жизнь вещей, так необходимо было не «просто» обставить ее предметами домашнего обихода, а поставить такие вещи, которые органически сливались бы с внутренним, подводным — как называют в Художественном театре — течением пьесы.

Но возникает вопрос: руководствовался ли сам Чехов какими-нибудь ясно им осознанными законами при построении своих пьес? Вряд ли. Он вообще не чувствовал себя уверенным в области драматургии. «Что касается моей драматургии, то мне, повидимому, суждено не быть драматургом, не везет. Но я не унываю, ибо не перестаю писать рассказы и в этой области чувствую себя как дома, а когда пишу пьесу, то испытываю беспокойство, будто кто толкает меня в шею». Это признание, сделанное Чеховым в письме к Суворину в 1895 году, в сущности повторяет более раннее: «для сцены у меня нет любви».

Раздумывая о композиции пьес своих корреспондентов — брата Александра Павловича, А. С. Суворина, И. Л. Леонтьева-Щеглова и А. С. Грузинского-Лазарева, Чехов как будто бы нащупывает приемы, которыми он будет руководствоваться сам, создавая свой театр.

Его заботят чистота языка и отсутствие шаблона. Это в первую очередь. Брату Александру он пишет: «Берегись изысканного языка, язык должен быть прост и изящен. Лакей должен говорить просто, без пущай и без теперича. Отставные капитаны с красными носами, пьющие репортеры, голодающие писатели, чахоточные жены-труженицы, честные молодые люди без единого пятнышка, возвышенные девицы, добродушные няни, все это уже описано и должно

быть объезжаемо, как яма». Поэтому он рекомендует быть в пьесе оригинальным: «Нужно вольнодумство, а только тот вольнодумец, кто не боится писать глупости. Не замазывай, не шлифуй, а будь неуклюж и дерзок. Памятуй, кстати, что любовные объяснения, измены жен и мужей, вдовьи, сиротские и всякие другие слезы давно уже описаны. Сюжет должен быть нов, а фабула может отсутствовать».

Эти советы в известной мере применены Чеховым и к собственной драматургии. Изысканный язык и персонажи, ставшие шаблонами для современной Чехову драматургии, в его пьесах отсутствуют. Он был вправе высоко оценить «Иванова» именно за то, что в нем нет «ни одного злодея, ни одного ангела».

«Сюжет должен быть нов», — и это сказалось в «Иванове», сюжет которого «сложен и не глуп».

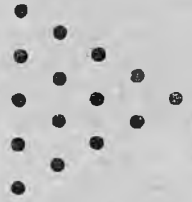
Но не все советы в двух цитированных письмах к брату выполнены Чеховым: «любовные объяснения, измены жен и мужей, давно уже описанные», находят себе место и в «Иванове», и в «Лешем», и в «Дяде Ване».

Логика ввода тех или иных персонажей пьесы изучается Чеховым пристально на ошибках его корреспондентов. А. С. Суворину он рекомендует убрать из пьесы горничную: «Горничную вон, вон! Появление ее нереально, потому что случайно и тоже требует пояснений. Она осложняет и без того сложную фабулу. А главное она расхолаживает. Бросьте ее. И для чего объяснять публике? Ее нужно напугать, она заинтересуется и лишний раз задумается».

Значит, ничего случайного, ничего осложняющего фабулу. Случайное и осложняющее расхолаживает. А мы знаем, что Чехов как на новый прием, примененный им в «Иванове», указывает, что каждый акт

он оканчивает, как рассказ, а в конце «дает зрителю по морде». Впрочем этот прием введен Чеховым и в повествовательную форму. Он ведь советовал всегда держать внимание читателя напряженным. Читатель, как и зритель, должен заинтересоваться, чтобы лишний раз задуматься.

Целесообразность участия в пьесе того или иного персонажа, количество персонажей и постепенное появление их — все это так важно для Чехова, что он пишет Грузинскому-Лазареву: «Нужно, чтобы с каждым явлением число лиц росло по прогрессии».



В том же письме он говорит: «Громоздя эпизоды и лица, связывая их, Вы достигаете того, что сцена в продолжение всего действия будет полна и шумна». Этому правилу он оставался верен в собственной драматургии: именно в прогрессии его рисунка в письме к Грузинскому-Лазареву дано постепенное появление персонажей в «Чайке», «Дяде Ване», «Трех сестрах», «Вишневом саду». Середины актов этих пьес наполнены персонажами и сцена остается, по чеховскому слову, «шумной». Иногда, впрочем, он отступает от выработанного правила, в конце актов постепенно уводя действующих лиц и оставляя к занавесу немногих: финалы 4-х актов «Дяди Вани» и «Вишневого сада», дуэт последней сцены второго действия

«Вишневого сада», заключительный монолог в «Трех сестрах».

Его заботит продолжительность каждого действия: «первый акт может тянуться хоть целый час, но остальные не дольше тридцати минут». Но самое важное — это удачный финал. «Кто изобретет новые концы для пьес, тот изобретет новую эру. Не даются подлые концы. Герой или женись, или застрелись! Другого выхода нет», — писал Чехов А. С. Суворину, сообщая ему, что «есть у него интересный сюжет для комедии, но не придумал еще конца».

«Герой или женись, или застрелись»—Чехов не вырвался из этого заколдованного круга «концов»: у него стреляется Иванов, дядя Ваня покушается на самоубийство, в «Чайке» — «лопнула банка с эфиром», Треплев покончил с собой, в «Трех сестрах» дерутся на дуэли Тузенбах с Соленым, Тузенбах падает под пулей Соленого. Чехов почувствовал эту фатальную обреченность своих персонажей и поэтому с гордостью писал жене, что в «Вишневом саде» то новое, что там нет ни одного выстрела.

Впрочем, для Чехова дело не в выстреле как выстреле. Выстрел мог быть, мог и не быть. Важно нечто другое. В третьем акте «Дяди Вани» актриса, игравшая Соню, говоря «папа, надо быть милосердным», становилась на колени и целовала у отца руки.

«Этого не надо делать, — сказал Чехов. — Это ведь не драма. Весь смысл и вся драма человека внутри, а не во внешних проявлениях. Драма была в жизни Сони до этого момента, драма будет после этого. А это простой случай — продолжение выстрела».

Внутренняя драма, которая не раскрывается внешними движениями и даже маскируется за словами, как будто бы не имеющими никакого отношения к пере-

живаемому, — драма «подводного течения» — основа чеховской драматургии. Не потому ли учит Чехов, что «в драме не надо бояться фарса». Смешное сочетается с печальным — это жизненно. Этого бояться не надо. Отвратительно резонерство. Но именно для того, чтобы пьеса была правдивой и жизненной, ее персонажи должны быть показаны в окружении их «бытовых» подробностей. Чехов укоряет А. С. Суворина за то, что один из персонажей его пьесы дан «без определенной внешности»: «не пьет, не курит, не играет, не хворает. Надо пристегнуть к нему какое-нибудь качество, чтобы актеру было за что уцепиться».

Правдивое, жизненно-верное — вовсе не синонимы грубого натурализма. Чехов всегда следовал правилу, которое им изложено в его автобиографии: «Замечу кстати, что условия художественного творчества не всегда допускают полное согласие с научными данными. Нельзя изобразить на сцене смерть от яда так, как она происходит на самом деле».

Правда художественная — правда условная. Но никакая условность не может позволить нарушить логику действия. «Если Вы в первом акте повесили на сцене пистолет, то в последнем он должен выстрелить, иначе не вешайте его». Об этом пистолете или ружье, которое должно выстрелить, Чехов не раз упоминает в своих письмах.

Драматургия настроения

Все эти правила не составляют тех законов, «самими драматическими писателями над собой признанных», о которых говорит Пушкин. Поэтика чеховской драматургии сложнее. Своеобразие чеховского театра в том, что это, как говорят, «театр настроения». Но

что такое вообще «настроение» и из каких элементов оно складывается?

Если пьесы Чехова создают настроение, то Тургенев, да и не только Тургенев, а Гоголь и Островский, в свою очередь, разве не дают «настроения», только каждый на свой собственный лад.

В чем же своеобразие именно «чеховского» настроения? В том прежде всего, что существеннейшим элементом для всех чеховских пьес является неизменное для каждого действующего лица наличие в его характеристике того, что в музыке называется лейтмотивом. Примеров можно привести множество. Лейтмотивы «Чайки»: для Нины Заречной — «я — чайка», для Сорина — «человек, который хотел»; для Треплева — «нужны новые формы, новые формы нужны!»; для Тригорина — навязчивая идея о необходимости запоминать и писать («вот плывет облако, похожее на рояль — надо запомнить»).

Все персонажи «Дяди Вани» охарактеризованы их лейтмотивами: «мотив» Астрова — леса, Войницкого, до катастрофы в третьем акте, — преклонение перед профессором, а затем — страстная к нему ненависть; формула настроений Серебрякова — «надо дело делать».

В «Трех сестрах»: основной мотив Ирины, Ольги и Маши — «В Москву, в Москву!»; Вершинина — мечты о будущей жизни; Федотика — увлечение фотографией и страсть делать подарки; Наташи — Бобик, Софочка, французские фразы.

Манера постройки чеховских пьес хорошо вскрыта Вл. И. Немировичем-Данченко анализом «Трех сестер»: «ни в одной предыдущей пьесе Чехов не развертывал с такой свободой, как в «Трех сестрах», свою новую манеру стройки произведения. Я говорю

об этой почти механической связи отдельных диалогов. Повидимому, между ними нет ничего органического. Точнее, действие может обойтись без любого из этих кусков.

Говорят о труде, тут же говорят о влиянии квасцов на рощение волос, о новом командире, о его жене и детях, о запое доктора, о том, как пришла на телеграф женщина и не знала, кому она хотела послать телеграмму, а с новой прической Ирина похожа на мальчишку, до лета еще целых пять месяцев, доктор до сих пор не платит за квартиру, пасьянс не выходит потому, что валет оказался наверху, чехартма — жареная баранина с луком, а черемша — суп, и спор о том, что в Москве два университета, а не один и т. д. и т. д. Все действия так переполнены этими как бы ничего не значащими диалогами, никого не задевающими слишком сильно за живое, никого особенно не волнующими, но, без всякого сомнения, схваченными из жизни и прошедшими через художественный темперамент актера и глубоко связанными каким-то одним настроением, какой-то одной мечтой.

Вот это настроение, в котором отражается, может быть, даже все миропонимание Чехова, это настроение, с каким он оглядывается на свой личный, пройденный путь жизни, на радостные сны и постоянные крушения иллюзий, все-таки на какую-то непоколебимую веру в лучшее будущее, это настроение, в котором отражается множество воспоминаний, попавших в авторский дневничок, оно-то и составляет все подводное течение всей пьесы, которое заменит устаревшее действие» *.

* См. предисловие Вл. И. Немировича-Данченко к книге Н. Е. Эфроса „Три сестры" в серии „Пьесы Чехова в Художественном театре, Пгр. 1917.

Стоило привести целиком эту длинную цитату: в ней глубоко вскрыто то самое существенное чеховской драматургии, что названо Вл. И. Немировичем-Данченко «подводным течением», заменяющим «устаревшее действие».

«Устаревшее действие», но именно это и говорит о том, что драматургическая манера Чехова повторяла приемы беллетристики. Сам Чехов это чувствует, говоря, что «Три сестры» — пьеса «сложная, как роман»; из «Чайки» вышла «повесть», из «Лешего» — «комедия-роман». И что особенно выразительно, это то, что Чехов, рассказывая в письме к Суворину о «Чайке», перечисляет наряду с девятью ролями — пейзаж, а указывая, что в пьесе много разговоров о литературе, добавляет — «мало действия». Введение пейзажа в пьесу — прием впервые осуществленный Чеховым. Прием, которым он охотно пользуется, не случайно из всего цикла своих больших пьес только «Три сестры» выводя из круга усадебных пьес. И так естественно, что именно в усадебной пьесе пейзаж играет весьма важное значение: озеро в «Чайке», сад в «Дяде Ване», заброшенная часовенка и бесконечно убегающая даль полей в «Вишневом саде», поэтический балкон старинного барского дома «Иванова».

Но пейзаж в лучшем случае будет лишь фоном, в худшем — подробностью монтировки пьесы. Пейзаж зазвучит своими красками, войдет в общую симфонию чеховской пьесы, но чеховская пьеса от этого нового своего музыкального мотива, раскрытого в красках декорации, не станет действенной. Пьеса останется — романом и повестью.

Новый метод построения пьес создает своеобразие Чехова-драматурга, которое заключается: в особой



А. П. Чехов

Фото (1899)



Афиша 25-го представления „Дяди Вани“ в Художественном театре (3 февраля 1900 года)

ритмичности; в обязательности характеристики действующих лиц лейтмотивами; в музыкальности глубокой лирики.

Но это своеобразие приемов Чехова-драматурга свидетельствует о том, что Чехов в основных линиях своего театра шел в направлениях беллетристических, т. е., что он мыслил о сценических положениях и о развитии действия как эпический писатель, мало к тому же озабоченный созданием прочного сюжетного каркаса — сценария. И если уже его первая повесть «Степь» является собранием отдельных картин, то этот основной недостаток композиции явственно проступает во всех больших рассказах и пьесах Чехова.

Только в новелле и в водевиле достигал Чехов необычайной сконцентрированности действия. Сценарий же больших пьес Чехова скроен из отдельных эпизодов, легко распадается на свои составные части и не подвергается существенным изменениям в случае произвольной перестановки порядка явлений. Первое действие «Трех сестер» можно начинать играть с середины, а потом переходить к началу акта и т. д. Нарушенная последовательность в отдельных сценах ничего не меняет в общем композиционном замысле, настолько рыхл и расплывчат чеховский сценарий.

Отсутствие движения в беллетристике, действия в пьесах — недостаток, явственно ощущавшийся самим Чеховым. «Привыкнув к маленьким рассказам, состоящим только из начала и конца, я скучаю и начинаю жевать, когда чувствую, что пишу середину», — говорил он по поводу «Именин». А о другой повести писал: «в моей повести нет движения и это меня пугает». Это его пугало и по поводу второго акта «Вишневого сада», о котором он говорил, что он тягуч и неподвижен.

Продажа Марксу „права собственности"

В 1899 году в писательской жизни Антона Павловича произошло важное событие: известный издатель А. Ф. Маркс приобрел за 75 тысяч право собственности на все произведения Чехова. Для него эта сделка была выгодной и невыгодной. Он многократно в беседах с близкими и в письмах возвращался к этой теме.

Определеннее всего он сказал о своей продаже О. Л. Книппер. Он объяснял ей, что когда зашла речь о сделке с книгоиздателем Марксом, то у него «гроша медного не было, он был должен Суворину, издавался при этом премерзко, а, главное, собирался умирать и хотел привести свои дела хоть в кое-какой порядок».

В этих трех пунктах — отсутствие денег, премерзкое издание книг у Суворина и состояние здоровья — особенно обращает внимание второй мотив — ссылка на Суворина.

Нити личных отношений с ним еще тянулись и несомненно эта насильственно продолжающаяся близость была Чехову неприятна. Предложение издателя Маркса давало выход и устраивало Антона Павловича.

Посредником Чехова при сделке был П. А. Сергеенко, энергично поведший дело торга с Марксом, который далеко не сразу дал 75 тысяч рублей. Суворин, узнав о начавшихся переговорах, попробовал вмешаться и уговаривал Чехова не соглашаться на предложение Маркса.

Когда Сергеенко сказал, что Маркс идет на 75 тысяч, то Суворин на это ответил: «Что такое 75 тысяч? 75 тысяч вздор! Чехов всегда стоит дороже. За-

чем ему спешить? Денег он всегда может достать. Деньги г.... собачье». Тогда Сергеенко спросил: «Значит вы, Алексей Сергеевич, дадите больше, чем Маркс?» В ответ послышалось «шипение и только». «Я не банкир, — заворчал Суворин. — Все считают, что я богач, это — вздор, главное же меня, понимаете, останавливает нравственная ответственность перед моими детьми. Я дышу на ладан».

Вот когда оправдались в полной мере слова Чехова об истинной природе Суворина: «Он лжив, ужасно лжив».

Наконец, после утомительных переговоров дело было закончено: Маркс дал 75 тысяч «за все напечатанное под фамилией и псевдонимами», как извещал в телеграмме Сергеенко.

Чехов, как мы знаем, считал заключенную сделку и выгодной и невыгодной. Невыгода ее заключалась в том, что он получал деньги в рассрочку. Сумма же, которая в момент заключения договора казалась значительной, перестала казаться высокой уже через год или два: начинался небывалый до сих пор в России подъем издательского дела и писательские гонорары быстро увеличивались. В этих новых условиях сделка с Марксом была явно невыгодной для Чехова.

История продажи собрания сочинений Марксу завершается одним очень интересным фактом. Писатель Телешев в книге своих воспоминаний рассказывает, что литературные друзья Чехова, готовясь к его двадцатипятилетнему юбилею, решили обратиться к Марксу с заявлением о расторжении заключенного им с Чеховым договора, как договора, поставившего в тяжелое положение Чехова. Над составлением письма немало потрудились Леонид Андреев и Максим Горький.

Вот это заявление московских и петербургских литераторов, приводимое нами в выдержках:

«...двадцать пять лет работает А. П. Чехов, двадцать пять лет неустанно будит он совесть и мысль читателя своими прекрасными произведениями, облитыми живою кровью его любящего сердца, и он должен пользоваться всем, что дается в удел честным работникам — должен, иначе всем нам будет стыдно. Создав ряд крупных ценностей, которые на Западе дали бы творцу их богатство и полную независимость, Антон Павлович не только не богат — об этом не смеет думать русский писатель — он просто не имеет того среднего достатка, при котором много поработавший и утомленный человек может спокойно отдохнуть без думы о завтрашнем дне».

«...Нам известен ваш договор с А. П. Чеховым, по которому все произведения его поступают в полную вашу собственность за 75 тысяч рублей, причем и будущие его произведения не свободны; по мере появления своего, они поступают в вашу собственность за небольшую плату, не превышающую обычного его гонорара в журналах — с тою только огромной разницей, что в журнале они печатаются раз, а к вам поступают навсегда. Мы знаем, что за год, протекший с момента договора, вы несколько раз успели покрыть сумму, уплаченную вами А. П. Чехову за его произведения: помимо отдельных изданий, рассказы Чехова как приложение к журналу «Нива» должны были разойтись в сотнях тысяч экземпляров и с избытком вознаградить вас за все понесенные издержки. Далее, принимая в расчет, что в течение многих десятков лет вам предстоит пользоваться доходами с сочинений Чехова, мы приходим к несомненному и печальному выводу, что А. П. Чехов получил крайне

ничтожную часть действительно заработанного им».

«...И мы просим вас, в этот юбилейный год, исправить невольную, как мы уверены, несправедливость, до сих пор тяготеющую над А. П. Чеховым».

Подписи: «Федор Шаляпин, Леонид Андреев, Ю. Бунин, И. Белоусов, А. Серафимович, Е. Гославский, Сергей Глаголь, П. Кожевников, В. Вересаев, А. Архипов, Н. Телешов, Иван Бунин, Виктор Гольцев, С. Найденов, Евгений Чириков».

Письмо послано не было и сбор подписей был прекращен: Антон Павлович узнал об этом проекте и заявил, что эта затея ему крайне неприятна. Передавали его слова, сказанные по этому поводу:

«Я своею рукою подписывал договор с Марксом и отрекаться мне от него неудобно. Если я продешевил, то значит я виноват во всем. Я наделал глупости, а за чужие глупости Маркс не ответчик. В другой раз буду осторожнее».

Рост общественного и политического сознания

Девятисотые годы принесли небывалый подъем рабочего движения. В. И. Ленин писал: «Подъем масс шел и ширился непрерывно и преемственно, не только не прекращался там, где он начался, но и захватывал новые местности и новые слои населения (под влиянием рабочего движения оживилось брожение учащейся молодежи и интеллигенции вообще, даже и крестьянства)» *.

Несомненно, что новые настроения, идущие на смену затишью, не могли не оказать своего воздействия и на Чехова. Было бы, конечно, ошибочно говорить,

* «Что делать» В. И. Ленина.

что в девятисотых годах он уже был человеком с ясно сложившимися политическими убеждениями. Он решительно объявляет себя противником общины, так как, пишет он в одном письме, «община и культура — понятие несовместимое. Кстати сказать, наше всенародное пьянство и глубокое невежество — это общинные грехи». И это заявление лишний раз подчеркивает отсутствие в Чехове народнических тенденций.

Но вместе с тем он был совершенно чужд марксизму и имел о нем весьма слабое представление. Так, послав свою повесть «В овраге» в орган легального марксизма «Жизнь», он весьма наивно писал М. О. Меньшикову, что в этой повести он «живописал» «фабричную жизнь» и трактовал о том, «какая она печальная» и только вчера случайно узнал, что «Жизнь» — орган марксистский, «фабричный», и спрашивал: «как же теперь быть». В другом случае, говоря о хорошо настроенной, радостной толпе, которую он наблюдал за границей, он отмечает, что в этой толпе «нет ни исправников, ни марксистов с надутыми физиономиями».

А между тем у него было ясное представление о том огромном сдвиге, который происходит в русской жизни. В 1899 году возникли серьезные волнения среди студенчества. И уже не только на «академической» почве — в ряду заявленных студентами требований были и чисто политические.

Правительство жестоко расправилось с молодежью, и Чехов был в курсе всех событий. И какая разница в его оценке самого движения по сравнению с теми обывательскими высказываниями, какими делился Чехов с Сувориным по поводу студенческой забастовки начала девяностых годов. Тогда ему казалось, что весь сыр-бор загорелся из-за «еврейчиков», и он воз-

мущался больше всего тем, что студенческие воззвания плохо написаны — не лучше объявлений начальства, редактируемых, очевидно, департаментским сторожем Михеичем. Теперь же, беседуя с исключенными студентами, он приходит к выводу, что «власть имущие» дали большого маха — «они вели себя как турецкие паши, и общественное мнение на сей раз весьма красноречиво доказало, что Россия, слава богу, уже не Турция». (Из письма И. Орлову 18 марта 1899 года.)

Он знал, что в Харькове публика устраивает на вокзале проезжающим высланным студентам овации. По этому поводу он заметил: «...когда нет права свободно выражать свое мнение, тогда выражают его задорно, с раздражением и часто, с точки зрения государственной, в уродливой и возмутительной форме. Но дайте свободу печати и свободу совести, — делает он вывод, — и тогда наступит вожделенное спокойствие, которое, правда, продолжалось бы не особенно долго, но на наш век хватило бы».

Когда-то писавший об интеллигентах, как о «пыжиках и нытиках», «сволочной дух» которых так хорошо умел разоблачать Салтыков-Щедрин, Чехов, представлявший себе среднего русского интеллигента в образе своего Кисляева, этого московского гамлетика, давно уже отошел и от этой предвзятости. Но и теперь он вовсе не склонен петь гимны интеллигенции, и теперь продолжает он возмущаться основными ее пороками.

В письме к И. А. Орлову он говорит, что пока интеллигентная молодежь еще состоит в студентах и курсистках — это «честный и хороший народ, это надежда наша, это будущее России, но стоит только студентам и курсисткам выйти самостоятельно на до-

рогу, стать взрослыми, как и надежда наша и будущее России обращаются в дым, и остаются на фильтре одни доктора, дачевладельцы, несытые чиновники, ворующие инженеры».

И далее он заявляет, что не верит в интеллигенцию — «лицемерную, фальшивую, истеричную, невоспитанную, ленивую», не верит даже, «когда она страдает и жалуется, ибо ее притеснители выходят из ее же недр».

В кого же он верует? «В отдельных людей», а «спасение» видит «в отдельных личностях, разбросанных по всей России там и сям — интеллигенты они или мужики, — в них сила, хотя их и мало».

Но эти его осуждения ленивой, лицемерной и истеричной интеллигенции имеют истоком своим глубочайшую веру Чехова в необходимость труда.

М. Горький приводит такие слова Антона Павловича о русском человеке. «В юности он жадно наполняет душу всем, что под руку попало, а после тридцати лет в нем остается какой-то серый хлам. Чтобы хорошо жить, по-человечески, надо же работать, работать с любовью, верой, а у нас не умеют этого. Архитектор, выстроив два-три приличных дома, садится играть в карты, играет всю жизнь или же торчит за кулисами театра. Доктор, если он имеет практику, перестает следить за наукой, ничего кроме «Новости терапии» не читает и в сорок лет серьезно убежден, что все болезни — простудного происхождения.

Я не встречал ни одного чиновника, который хоть немножко понимал бы значение своей работы: обыкновенно он сидит в столице или губернском городе, сочиняет бумаги и посылает их в Сморгонь или Змиев для исполнения. А кого эти бумаги лишат свободы

движения в Змиеве или Сморгони — об этом чиновник думает так же мало, как атеист о мучениях ада. Сделав себе имя удачной защитой, адвокат уже перестает заботиться о защите правды, а защищает только право собственности, играет на скачках, ест устриц и изображает собой тонкого знатока всех искусств. Актер, сыгравший сносно две-три роли, уже не учит больше ролей, а надевает цилиндр и думает, что он гений. Вся Россия — страна каких-то жадных и ленивых людей. Они ужасно много едят, пьют, любят спать днем и во сне храпят. Женятся они для порядка в доме, а любовниц заводят для престижа в обществе».

Эти слова, вспомнившиеся М. Горькому, выражают, конечно, основное, что раскрывает внутренний облик Чехова в его предсмертные годы. Это — страстный призыв к труду и горячая ненависть к пошлости.

Чехов и Горький

В эти предсмертные свои годы, съедаемый страшной болезнью, ведущей к скорому концу, Чехов полон жажды жизни. Он с глубочайшим интересом всматривается во все явления русской жизни на ее крутом повороте. Он живо интересуется вопросами литературы, знакомится с ее наиболее яркими молодыми представителями.

В 1898 году он прочел только что вышедшие первые два томика рассказов М. Горького. И сразу признал «несомненный талант» молодого писателя. В целом ряде писем он так оценивает и рассказы Горького и самого Горького: «В степи» сделано образцово. Это — «тузовая вещь». А сам Горький «сделан из того теста, из которого делаются художники —

он настоящий». И пророчески говорит: «Из Горького выйдет большой писатель». (См. письма Чехова к А. С. Суворину, Ф. Д. Батюшкову, В. А. Поссе, 1899—1900 гг.)

И в письме к самому Горькому дает беглую характеристику основных его свойств: «Талант, — пишет он, — несомненный и притом, настоящий, большой талант. Вы — художник, вы — пластичны, то есть когда вы изображаете вещь, то видите ее и ощупываете руками ее.

Это настоящее искусство. Ваши лучшие вещи: «В степи» и «На плотах». Это превосходные вещи, образцовые, в них виден художник, прошедший очень хорошую школу».

Надо отметить, что Чехов тогда не знал подробностей биографии Горького и думал, что Горький, как писатель, мог пройти «очень хорошую школу». Мы знаем, что этой школой или, как сам Горький называет — «университетами», были лишь наблюдения, встречи со множеством людей, знакомства с разнообразнейшими сторонами жизни. Школой для Горького была сама жизнь и школой, конечно, была та учеба, за которую он сам принялся. И такой же писательской учебой были для Горького и те письма Чехова, в которых мы находим целый ряд советов Антона Павловича.

Чехов находит у Горького — «несдержанность в описаниях природы». Чехову хочется, чтобы они были компактнее, короче. Он отмечает мелькание в рассказах Горького таких слов, как «аккомпанимент», «диск», «гармония». Эти слова Чехову «мешают». И еще, говорит Чехов, что такие слова, как например, «фаталистический», у других авторов проходят незаметно, но ведь рассказы Горького «музыкальны,

стройны, в них каждая шероховатая черточка кричит благим матом».

Еще недостаток: антропоморфизм — уподобление человеку в описаниях природы. Горький прибегает к этому приему часто. «Море дышет», «небо глядит», «степь нежится», «море смеялось» — это делает описания однотонными, иногда слащавыми, иногда неясными. Затем у Горького слишком много определений, читателю трудно в них разобраться, он утомляется.

Но вообще Горький-писатель возбуждает в Чехове глубочайший интерес. Его произведения находят в нем чрезвычайно высокую оценку и когда Антон Павлович встретился с Горьким лично — у них завязались крепкие дружественные отношения.

«Фома Гордеев» посвящен А. П. Чехову, а Чехов «подбил» Горького попробовать свои силы и в драматургии.

Горький действительно принялся за пьесы —«Мещане» и «На дне», которые и были поставлены московским Художественным театром.

Чеховская оценка пьес Горького чрезвычайно любопытна.

«Написали пьесу? — спрашивает он его в письме 7 июля 1900 года. — Пишите, пишите, пишите, — убеждает он его, — пишите, обыкновенно, по-простецки, и да будет вам хвала велия. Как обещано было, пришлите мне; я прочту и напишу свое мнение весьма откровенно и слова, для сцены неудобные, подчеркну карандашом». А 8 сентября 1900 года, прочитав в газетах заметку о том, что Горький начал пьесу, он продолжает убеждать его не бросать начатую работу. «Если провалится, то не беда. Неуспех скоро забудется, зато успех, хотя бы и незначительный, может принести театру превеликую пользу».

Правда, в этих последних строках больше заботы о театре, чем об авторе. Автор — молчал. И не от автора получил, в конце концов, Чехов пьесу. Первые три акта «Мещане» ему были даны Вл. И. Немировичем-Данченко. И, верный своему обещанию поделиться откровенно мнением, Чехов шлет Горькому 22 октября 1901 года большое письмо — настоящую рецензию о «Мещанах».

На этом чеховском отзыве надо остановиться. Он ценен не только потому, что развертывает критические суждения Чехова. Цитаты из этого письма-рецензии были бы в этом случае лишь историческими припоминаниями. Чеховское письмо знаменательно несколько в ином отношении: оно вскрывает разность мироощущения критика и критикуемого. Чехов начинает с комплимента. Пьеса, — говорит он, — очень хорошо написана, по-горьковски, оригинальна, очень интересна. Но в ней основной недостаток: Горький новых оригинальных людей заставляет петь новые песни по нотам, имеющим подержанный вид. У Горького действующие лица читают нравоучения. Этот недостаток неисправимый, как рыжие волосы у рыжего. Ибо этот недостаток, — констатирует Чехов, — консерватизм формы.

Но ведь то, что принял Чехов за «нравоучение», ведь это по существу основное в тональности горьковской пьесы. Это есть то, что мы можем назвать публицистичностью Горького. Чехов, советуя внести некоторые коррективы в самую фактуру пьесы, в сущности ограничивается советами, полезными для того жанра пьес, создателем которого был он сам — Чехов.

Так он советует придать Татьяне «законченное лицо», показать ее «учительницей на самом деле». Надо, чтобы она приходила бы из школы, возилась бы с учебниками и тетрадками, учила бы детей. Елену

нужно посадить за обед в первом акте. Ее объяснение с Петром резковато, Тетерев говорит слишком много, а его нужно показать кусочками. Такие люди, как Тетерев, — уверен Чехов, — эпизодические люди везде: и в жизни, и на сцене. Нил, когда он говорит про себя, что он молодец, то теряет «элемент скромности», присущей, убежден Чехов, «настоящему рабочему».

Но если даже отбросить советы, вносящие коррективы в самую фактуру пьесы, то еще ярче вскроется разность мироощущений Горького и Чехова. Нил и Тетерев для Горького центральные фигуры пьесы. Сделать из Тетерева эпизодическое лицо — значило бы убить смысл той проповеди, той звенящей публицистической ноты, в которой главная ценность пьесы. Для Чехова же «Мещане» — жанровая пьеса, изображающая в очень оригинальных, «горьковских» тонах кусочек мещанского быта.

Этой звенящей публицистической ноты не расслышал Чехов. Если бы и расслышал, то посоветовал бы смягчить. Правда, в «Вишневом саду» монологи Пети Трофимова не менее публицистичны, чем разговоры Нила. Но ведь эти монологи поданы иронически в смысле раскрытия самого образа «вечного студента».

«На дне» Чехов считал «новой и несомненно хорошей пьесой». Ему больше всего понравился второй акт — самый лучший, самый сильный. Ему не нравилось, что из четвертого акта Горький увел самых интересных действующих лиц и поэтому Чехов боялся, что этот акт может показаться «скучным и ненужным». «Смерть актера ужасна», — замечает Чехов. «Вы точно в ухо даете зрителю ни с того, ни с сего, не подготовив его». Было Чехову также «неясно», почему барон попал в ночлежку и почему он есть барон.

И общий вывод — «настроение мрачное, тяжкое, публика с непривычки будет уходить из театра». И он пророчит Горькому, что после «На дне» он, во всяком случае, может проститься с репутацией оптимиста».

В этом Чехов ошибся. Публика «с непривычки» из театра не уходила и, несмотря на мрачность впечатления, до зрителя дошла высокая нота социального оптимизма, прозвучавшая в «На дне».

Со своей стороны Горький относился к творчеству Чехова поистине восторженно. Чутко угадывал, что Антон Павлович «ясно и тонко понимал трагизм мелочей», «беспощадно правдиво рисовал позорную и тоскливую картину жизни в тусклом хаосе мещанской обыденщины». Горький нашел основное звучание Чехова в его борьбе с пошлостью.

Чехов — писал Горький — «всю жизнь боролся с пошлостью, осмеивал, изображал бесстрастным острым пером, умея найти плесень пошлости даже там, где с первого взгляда казалось все устроено очень хорошо, удобно, даже с блеском».

Горький считал главной заслугой Чехова то, что «чеховские» маленькие рассказики «возбуждают в людях отвращение к сонной полумертвой жизни».

«На меня Ваша «Дама с собачкой» подействовала так, пишет он Антону Павловичу, что мне сейчас же захотелось изменять жене, страдать, ругаться и прочее в этом духе...»

Почетный академик

Художественный театр успел уже дать вторую постановку Чехова — «Дядю Ваню» (28 октября 1899 года), а автор так и не смог побывать на спек-

таклях, если не считать того случайного — в обстановке чужого театра, — когда специально для него играли «Чайку». Тогда сам театр задумал поехать в «гости» к Чехову. Было решено весной 1900 года организовать гастрольную поездку в Крым — в Севастополь и в Ялту.

В репертуаре театра был объявлен и «Дядя Ваня».

Весна в этом году в Крыму была холодная и от Чехова пришла телеграмма, извещающая, что из-за болезни он едва ли сможет приехать в Севастополь. Но неожиданно наступило тепло и Антон Павлович подоспел как раз к первому спектаклю.

Шел «Дядя Ваня». Автора вызывали без конца. Исполнением Чехов остался доволен. Из Севастополя театр переехал в Ялту. Здесь собрался, точно сговорившись, целый ряд писателей: Горький, Бунин, Куприн, Чириков, Мамин-Сибиряк, Елпатьевский.

Спектакли в Ялте имели огромный успех. Чехов ближе сошелся с театром, артисты которого стали постоянными гостями в его «белом доме».

И несомненно, что в эти весенние дни сбылось то, о чем Чехов шутя писал два года назад: «Если бы я подольше остался, то влюбился бы в Ирину» — то есть Ирину из «Царя Федора Иоанновича», которую играла О. Л. Книппер.

Художественный театр уехал, и Чехов снова остался в одиночестве на своем «Чертовом острове».

Несмотря на болезнь, он и в Ялте продолжал интересоваться местной общественной жизнью — был членом городского попечительства о бедных, неустанно хлопотал об устройстве больных.

Контрасты местной жизни волновали его чрезвычайно — модный богатый курорт, чудесная природа — и множество бедняков, съедаемых ужасной болезнью

и не имеющих средств устроиться в какой-нибудь приличной санатории. И он говорил А. М. Горькому:

«Если бы у меня было много денег, я устроил бы здесь санаторий для больных сельских учителей. Знаете, я выстроил бы этакое светлое здание, очень светлое, с большими окнами и высокими потолками. У меня была бы прекрасная библиотека, музыкальные инструменты, пчельник, огород, фруктовый сад...».

Но «много денег» у него не было, а больные — студенты, учителя, агрономы, литераторы — буквально осаждали Чехова просьбами о помощи. Он делал что мог, но пребывание в Ялте становилось для него все тяжелее и тяжелее. Чехов не выдержал и уехал в Москву. Из Москвы — в Ниццу, где заканчивал «Три сестры», пьесу предназначенную для Художественного театра. Его не покидали мечты о путешествии в Африку. Сложилось так, что эта поездка по разным причинам не состоялась, и Антон Павлович из Ниццы поехал в Рим. И в Риме его встретили холода, от которых он бежал в Россию. Снова поселился он в Ялте.

31 декабря 1901 года Художественный театр сыграл его «Три сестры», причем первые спектакли прошли без ожидаемого успеха. Критика жестоко осудила пьесу за перепев уже знакомых «чеховских мотивов», за мрачное настроение, которое так противоречило общественному подъему этих лет.

На Чехова эта неудача подействовала угнетающе. Он писал О. Л. Книппер, ставшей его невестой, что дает слово никогда больше не работать для сцены в России, «где не ценят писателя и где его лягают копытами».

Это была, конечно, минута раздражения и обиды. Как раз в эту пору литературная слава Чехова была



А. П. Чехов и А. М. Горький в Ялте. 1901 год

Из собр. Лит. музея при б-ке СССР им. Ленина



А. П. Чехов

Фото-копия с портрета худ. Серова. 1902 год
Из собр. Лит. музея при б-ке СССР им. Ленина

на ее самом высоком гребне. Его великолепный дар был давно оценен и признан.

29 апреля 1899 года в связи с исполнившимся столетием со дня рождения Пушкина был учрежден разряд «изящной словесности» при втором отделении Академии наук. По положению в этот разряд могли быть избираемы почетные академики — из выдающихся представителей литературы и науки. 8 января 1900 года, на первых же выборах, в почетные академики были избраны Л. Н. Толстой, А. П. Чехов, В. Г. Короленко, Константин Романов (писавший стихи под псевдонимом К. Р.) и поэт Жемчужников.

Еще до первых выборов Чехов «усиленно гипнотизировал» академика Кондакова, своего ялтинского знакомого, внушая ему мысль об избрании Баранцевича и Михайловского. «Баранцевич — замученный, утомленный человек, — говорил он, — несомненный литератор, — в старости, которая уже для него наступила, нуждается и служит на конной железной дороге так же, как нуждался и служил в молодости». А о Михайловском он думал, что его избрание «положило бы прочное основание новому отделению и избрание его удовлетворило бы три четверти всей литературной братии».

Вот когда можно было бы сказать, что Чехов убил в себе последнюю предвзятость в отношении Н. К. Михайловского как представителя «узкопартийной мысли».

Но «гипноз» не удался, Чеховские кандидаты даже не были и предложены, а избранным — вместе с Толстым и Короленко — оказался, как видим, сам Чехов. Чехов отнесся к «своему новому положению» довольно скептически. Он прежде всего никак не мог понять разницы между «настоящими» и «ненастоящими» ака-

демиками. «Академики», — сердито говорил он, — сделали все, чтобы обезопасить себя от литераторов, общество которых он шокирует, так же как общество русских академиков шокировало немцев. Беллетристы могут быть только почетными академиками, а это ничего не значит. Все равно как почетный гражданин г. Вязьмы или Череповца: ни жалованья, ни права голоса. Ловко обошли!»

А в другом письме иронически говорил, что рад своему избранию — будет в заграничном паспорте писать свое новое звание. Характерно, однако, что когда ему понадобилось дать жене отдельный паспорт, он написал, что хотел сперва внести ее звание так: «жена почетного академика», а потом передумал и написал просто — «жена доктора А. П. Чехова».

О. Л. Книппер — А. П. Чехов

Прославленный писатель, увенчанный, пышно говоря, «академическими лаврами», он продолжал чувствовать себя одиноким и скучающим. Он когда-то писал, что дружба лучше любви, а теперь едва ли повторил бы это свое утверждение. В нем вспыхнул тот «огонь», который, как он уверял, всю жизнь горел у него тускло. Впервые захотел Чехов жить полной жизнью. Одна литература уже перестала его удовлетворять.

В предсмертные годы Чехова входит большая и искренняя любовь.

Когда-то он полушутя, полусерьезно уверял друзей, что женится лишь при условии, что будет жить отдельно от жены — не перенесет длительного счастья вместе. И случилось именно так: О. Л. Книппер жила в Москве, он в Ялте. Но это мучило обоих и у них

часто возникал мучительный вопрос, как быть дальше, чтобы сгладить боль разлуки. Но, страдая, Чехов делал все, чтобы не причинить своим страданием огорчений своей невесте, потом жене.

Отвечая на одно из писем Ольги Леонардовны, в котором она упрекала Антона Павловича за сдержанность, которую можно пожалуй принять за черствость сердца, Чехов говорил:

«По письму твоему судя в общем, ты хочешь и ждешь какого-то объяснения, какого-то длинного разговора, с серьезными лицами, с серьезными последствиями, а я не знаю, что сказать тебе, кроме одного, что я уже говорил тебе тысячу раз и буду говорить вероятно еще долго, то есть, что я тебя люблю и больше ничего. Если мы теперь не вместе, то виноват в том не я и не ты, а бес, вложивший в меня бацилл, а в тебя любовь к искусству» (27 сентября 1900 года).

И если вдуматься, то станет ясным, что Чехов, в которого «бес» действительно вложил бацилл чахотки, переживал мучительнейшую трагедию: оторванный от Москвы, от литературы, от искусства, загнанный в Ялту, чувствуя себя в ней все время, как в ссылке, Чехов должен был пройти и еще через одно испытание — жить в постоянной разлуке с женой: наездами, урывками, обманывая врачей и самого себя, выезжать в Москву, что было, очевидно, губительно для его легких. После двух-трех недель радости — возвращаться снова в Ялту, и снова томиться, и снова тосковать.

Он слишком хорошо понимал, каким бы было лишением для жены, в свою очередь, оторваться от любимого дела, уйти из Художественного театра. И каждый раз, когда заговаривает в своих письмах Ольга

Леонардовна о том, что она бросит сцену и переедет в Ялту, он убеждает ее не делать этого, утешая, что здоровье его поправляется, что скоро все равно они будут вместе, так как доктора позволят провести еще целую зиму в Москве, а там наступит лето, и можно будет поехать в Швейцарию, в Алжир, в Италию...

Мечты о путешествии в далекие страны, тоска по бродяжничеству не покидают его.

Наконец у них решен вопрос о свадьбе: «Если дашь слово, что ни одна душа в Москве не будет знать о нашей свадьбе до тех пор, пока она не совершится, то я повенчаюсь с тобой хоть в день приезда. Ужасно почему-то боюсь венчания и поздравлений, и шампанского, которое нужно держать в руке и при этом неопределенно улыбаться» — пишет Чехов 18 апреля 1901 года О. Л. Книппер. Он приехал в Москву и 25 мая повенчался.

О своей свадьбе Чехов сообщал, как всегда, в выражениях более чем сдержанных: «Ну-с, а я вдруг взял и женился. К этому своему новому состоянию, то есть к лишению некоторых прав и преимуществ, я уже привык или почти привыкаю и чувствую себя хорошо. Жена моя очень порядочный и неглупый человек и добрая душа». (В. М. Соболевскому 9 июня 1901 года.) А в письме к Горькому от 24 июня он говорит: «Супруга моя оказалась очень доброй, очень заботливой и мне хорошо».

Это письмо Горькому написано уже из Ялты, куда Чехов переехал, проведя месяц на кумысе в Аксенове, Уфимской губернии, вместе с Ольгой Леонардовной.

И опять наступила полоса разлуки: Чехов попрежнему живет в Ялте, Книппер — в Москве. Письма, относящиеся к этому времени, дышат глубокой, нежной любовью.

«...Мы так грешим, что не живем вместе. Ну, да что об этом толковать. Бог с тобой, благословляю тебя, моя немчуша, и радуюсь, что веселишься, целую крепко, крепко».

И этот мотив глубокой горечи от сознания невозможности жить вместе настойчиво звучит во всех письмах Чехова к Ольге Леонардовне. «Я тебя люблю, песик мой, очень люблю и сильно по тебе скучаю. Мне даже кажется невероятным, что мы увидимся когда-нибудь. Без тебя я никуда не годен, дуся моя, целую тебя крепко, обнимаю сто раз. Я сплю прекрасно, но не считаю это сном, так как нет около меня моей хозяюшки милой. Так глупо жизнь проходит», — читаем мы, например, в письме 18 декабря 1901 года.

И еще одно, еще более горькое, чем разлука, испытание пришлось пережить Чехову: он страшно хотел ребенка, «маленького немчика», но мечта эта не сбылась — ребенка не могло быть. И поистине нечто трагически-безнадежное чувствуется в тех глубоко интимных строчках Чехова, в которых он говорит и об этой мечте, и об этой ее иллюзорности.

Но какой нежной любовью, какой лиричностью звучат его письма к Книппер. «Обнимаю, целую, ласкаю мою подругу, мою жену. Не забывай меня, не забывай, не отвыкай. Каплет с крыши весенний шум, но взглянешь за окно, там зима. Приснись мне, дуся». (Из письма 5 января 1902 года.)

Л. Н. Толстой

Осенью 1901 года в Гаспре жил Л. Н. Толстой, медленно оправлявшийся после воспаления легких. Болезнь Толстого чрезвычайно волновала Чехова. Он

говорил, что ни одного человека не любил так, как Льва Николаевича — «если бы умер Толстой, в моей жизни образовалось бы большое пустое место».

История близости Чехова к Толстому — важный момент в чеховской биографии. Несомненно, что были годы, когда философия Толстого оказывала влияние на Чехова. В целом ряде чеховских рассказов восьмидесятых годов можно проследить отголосок учения Толстого о непротивлении злу, об опрощенчестве, о моральном самоусовершенствовании. Он писал: «толстовская философия сильно трогала меня, владела мною лет семь, и действовали на меня не основные положения, которые были мне известны и раньше, а толстовская манера выражаться, рассудительность и, вероятно, гипнотизм своего рода». Это не совсем точно — основные положения толстовской философии, а не только толстовская манера выражаться, оказывали на него свое бесспорное воздействие.

Уже в рассказе «На пути» (1887 год) был затронут вопрос о «непротивлении», а затем в таких рассказах как «Нищий», «Встреча», «Казак», «Письмо» толстовские взгляды нашли свое полное отражение. Много чисто-толстовского в великолепном чеховском рассказе «Сапожник и нечистая сила», в котором сапожник во сне видит себя разбогатевшим — обладателем целого капитала, а затем приходит к выводу, что деньги — тлен и прах. Раздумывая о своем сне, сапожник решает, что и богатым и бедным одинаково дурно, что всех ждет одна и та же могила и в жизни нет ничего такого, за что бы можно было отдать нечистому хотя бы малую часть своей души.

В девяностых годах в Чехове происходит резкий перелом, он отходит от толстовской философии и говорит, что толстовская мораль «перестала его тро-

гать». «Во мне течет мужицкая кровь — пишет он — и меня не удивишь мужицкими добродетелями. Я с детства уверовал в прогресс и не мог не уверовать, так как разница между временем, когда меня драли и когда перестали драть, была страшная. Я любил умных людей, нервность, вежливость, остроумие, а к тому, что люди ковыряли мозоли и что их портянки издавали удушливый запах, я относился так же безразлично, как к тому, что барышни по утрам ходят в папильотках... Теперь во мне что-то протестует: расчетливость и справедливость говорят мне, что в электричестве и паре любви к человеку больше, чем в целомудрии и воздержании от мяса».

И последние следы толстовского влияния стираются в рассказах Чехова девяностых годов. И как бы в ответ на толстовское «непротивление» пишет Чехов «Палата № 6» (1892 год). Доктор Громов проповедует «философию успокоения в самом себе», на что психически больной Иван Дмитриевич с возмущением отвечает, что этой философии он не понимает, ибо «создан из теплой крови и нервов» и «на боль отвечает криком и слезами, на подлость — негодованием, на мерзость — отвращением. По-моему, это собственно называется жизнью». И Иван Дмитриевич пламенно доказывает, что непротивление злу удобная философия: «И делать нечего, и совесть чиста, и мудрецом себя чувствуешь... нет сударь, это не философия, не мышление, не широта взгляда, а лень, факирство, сонная одурь. Страдания презираете, а небось прищеми вам дверью палец, как заорете во все горло».

Этот спор с основными положениями толстовства Чехов продолжает вести и в других рассказах. В повести «Моя жизнь» — сын архитектора, Мисаил Полознев, молодой человек опрощается по чисто-толстов-

скому методу, уходит от интеллигентской жизни и вступает в артель маляров. Мисаил Полознев ведет спор с доктором Благово и доктор Благово, выслушав сентенции Полознева о моральном самоусовершенствовании, совершенно резонно ему отвечает:

— Но, позвольте, если улитка в раковине своей занимается личным усовершенствованием и ковыряется в нравственном законе, то это вы называете прогрессом?

И в результате Мисаил Полознев, оглядываясь на весь опыт опрощенчества, когда он и крыши красил, и землю пахал, должен признать правоту своей жены, которая убеждает его в том, что они «работали только для себя и широко мыслили только для себя». Нужны же «другие способы борьбы, сильные, смелые. Если в самом деле хочешь быть полезным, то выходи из тесного круга обычной деятельности и старайся действовать на массы».

И с еще большей решительностью заявляет Чехов устами Иван Ивановича из рассказа «Крыжовник» свое полное отрицание непротивления и неделания. «Принято говорить, что человеку нужно только три аршина земли, но ведь три аршина нужны трупу, а не человеку, и говорят также теперь, что если наша интеллигенция имеет тяготение к земле и стремится в усадьбу, то это хорошо. Но ведь эти усадьбы — те же три аршина земли. Уходить из города, от борьбы, от житейского шума, уходить и прятаться у себя в усадьбе, это не жизнь, это эгоизм, это лень, это своего рода монашество без подвига. Человеку нужно не три аршина земли, не усадьба, а весь земной шар, вся природа, где на просторе он мог бы проявить все свойства и особенности своего свободного духа».

Основное в борьбе Чехова с внутренним рабом было в освобождении от поклонения чужим мыслям, освобождении от авторитета. Чехов в своем «толстовстве» и быстром отходе от толстовства шел именно по этому пути. Безмерно восхищаясь Толстым-художником, он не скрывал своего раздражения против Толстого, рассуждающего о вещах ему мало известных.

Чехов говорил Бунину: «Вы только подумайте, ведь это он написал, что она (Анна Каренина) чувствовала, что она видела, как у нее блестят глаза в темноте. Серьезно, я его боюсь».

«По нынешним временам Толстой не человек, а человечеще, Юпитер, — повторял Чехов. — Он никогда не устареет. Язык устареет, но он все будет молод». Но вместе с тем он же считал, что важнейший недостаток «Крейцеровой сонаты» — та смелость, с которой Толстой трактует о том, чего не знает и чего из упрямства не хочет понять. И Чехов не боится сказать о Толстом, что его суждения о целом ряде биологических и физических явлений «изобличают человека невежественного, не потрудившегося в продолжении своей долгой жизни прочесть две-три книжки, написанные специалистами» (из письма к А. Н. Плещееву 1890 года).

«Предисловие» к «Крейцеровой сонате» для Чехова глупее, душнее чем «Письма к губернаторше» Гоголя, которые он презирает. «Диоген плевал в бороды, зная, что за это ему ничего не будет. Толстой ругает докторов мерзавцами и невежничает с великими вопросами, потому что он тот же Диоген, которого в участок не поведешь и в газетах не выругаешь. Итак, к чорту философию, великих мира сего! Она вся со всеми юродивыми послесловиями и письмами к губернатор-

ше не стоит одной кобылки из «Холстомера». «Когда в литературе есть Толстой, — писал А. П. Чехов в 1900 году,— то легко и приятно быть литератором: даже сознавать, что ничего не сделал и не делаешь не так страшно, так как Толстой делает за всех. Его деятельность служит оправданием тех упований и чаяний, какие на литературу возлагаются. Пока он жив, дурные вкусы в литературе, всякое пошлячество, наглое и слезливое, всякие шершавые, озлобленные самолюбия будут далеко и глубоко в тени. Только один его нравственный авторитет способен держать на известной высоте так называемые литературные настроения и течения. Без него бы это было беспастушье стадо или каша, в которой трудно было бы разобраться».

Чехов очень любил Толстого-человека, говорил, что привык к нему и понимает каждое движение его бровей.

Он познакомился с Толстым в августе 1895 года — был у него в Ясной поляне, где прожил полтора суток. «Впечатление чудесное, — говорит он об этой поездке. — Я чувствовал себя легко, как дома, и разговоры наши с Л. Н. были легки». Бывал Чехов у Толстого и на московской его квартире, и каждая встреча все больше и больше сближала Антона Павловича с Толстым. Толстой чрезвычайно ценил Чехова, и как писателя и как человека. Когда переговоры с Марксом о покупке чеховского собрания были еще в зародыше, то Толстой прямо настаивал перед Марксом, убеждая его приобрести Чехова. И никого так часто не читали в доме Толстых, свидетельствует и П. А. Сергеенко, и А. Б. Гольденвейзер, и биограф Льва Николаевича П. Бирюков, как Чехова. В особенности любил Толстой чеховскую «Душеньку», к ко-

торой написал известное «Послесловие», поместив рассказ в своем «Круге чтения».

Толстой говорил, что «Чехов — истинный художник. Его можно перечитывать несколько раз, кроме пьес, которые совсем не чеховское дело». Толстому принадлежит определение: «Чехов — это Пушкин в прозе». Чехов, по словам Льва Николаевича, брал из жизни то, что видел, и если «брал что-нибудь, то передавал удивительно образно и понятно до последних черточек. Главное, он был постоянно искренен, а это великое достоинство писателя, и благодаря своей искренности Чехов создал новые, совершенно новые для сего мира формы писания, которых я — утверждает Толстой — не встречал нигде».

Но пьесы Чехова он решительно отвергал. Он смотрел в Художественном театре чеховского «Дядю Ваню» и записал в дневнике, что возмутился пьесой. Но чем-то его чеховская драма задела, потому что в этой же записи о «Дяде Ване» Толстой добавляет: «Захотел написать драму «Труп», набросал конспект». Биограф Толстого прямо утверждает, что в толстовском «Живом трупе» есть что-то навеянное «Дядей Ваней».

Посещения Чеховым больного Льва Николаевича в Гаспре были всегда приятны всему толстовскому дому. Так, Софья Андреевна Толстая записала в своем дневнике 12 октября 1901 года: «Был А. П. Чехов и своей простотой и признанной всеми талантливостью всем нам очень понравился и показался близким по духу человеком». И в этой же записи С. А. Толстая отметила, что на Чехове отразилась печать страшной болезни. «И тем более — добавляет она — казался нам он трогательным».

А. М. Горький в своих замечательных воспомина-

ниях о Толстом отметил, что Лев Николаевич «Чехова любит отечески. В этой любви чувствуется гордость создателя». И еще: «Чехова Лев Николаевич любил и всегда, глядя на него, точно гладил лицо взглядом своим, почти нежным в эту минуту. Однажды Антон Павлович шел по дорожке парка с Александрой Львовной, а Толстой, еще больной в ту пору, сидя в кресле на террасе, весь как-то потянулся вслед им, говоря вполголоса:

— Ах, какой милый, прекрасный человек, скромный, тихий, точно барышня. И ходит как барышня, просто чудесно...

„Академический инцидент"

Чехов не был «толстовцем» и не только потому, что, как он писал однажды, любит «комфорт, камин, изящные вещи и умные разговоры», — но и потому, что реагировал на насилие и не примирялся со злом. Если он говорил, что с детских лет «уверовал в прогресс», то мог бы добавить еще, что с той самой минуты, когда почувствовал, что в его жилах течет не рабья, а настоящая человеческая кровь — он возлюбил справедливость. Все вопросы общественно-политического порядка он пытался разрешить именно с точки зрения справедливости.

Это ярко сказалось в истории с изгнанием А. М. Горького из почетных академиков. В третью сессию 21 февраля 1902 года в почетные академики были избраны Максим Горький и драматург А. В. Сухово-Кобылин *. Трудно представить себе большие проти-

* Автор трилогии „Отжившее время", в которую входят: „Свадьба Кречинского", „Дело" и „Смерть Тарелкина."

воположности, чем эти два новых почетных академика. Один — аристократ, глубокий старик, в сущности оставшийся чуждым литературе и принадлежащий по своим политическим убеждениям к самым правым кругам, другой — вчерашний бродяга, писатель-самоучка, мещанин малярного цеха, уже успевший испытать все прелести жандармского и полицейского воздействия, от тюрьмы до высылки. Неудивительно, что выбор Горького в академики произвел в «сферах» ошеломляющее впечатление.

О выборах было незамедлительно доложено Николаю II, который «собственноручно начертать соизволил» на том листке великолепной бумаги, на которой наклеена была вырезка из газеты об избрании Горького: «Более чем оригинально».

И этой царской «резолюции» было совершенно достаточно для того, чтобы предложить великому князю Константину Константиновичу — президенту Академии — напечатать, якобы от имени Академии, официальное сообщение, в котором Академия признавала выборы Горького недействительными, так как Академия, будто бы не была осведомлена о том, что Горький находится под следствием, в качестве обвиняемого по политическому делу.

Академия в этом своем объявлении действовала холопски и лживо. Академики смолчали. Не смолчали только двое: В. Г. Короленко и А. П. Чехов. Короленко понял, что отныне в Академию будут избирать таких лишь писателей, которые запаслись через полицию патентом своей политической благонадежности. Короленко волновался, требовал общего собрания Академии и ничего не добился, — не встретив поддержки в среде своих академических коллег. Отчетливо понимая, что независимости высшего научного

учреждения, каким считалась Академия наук, нанесено оскорбление, Короленко ничем иным не хотел и не мог на него ответить, как выходом из Академии. Этому предшествовала переписка с Чеховым, в котором Короленко нашел единомышленника. Чехов решил также сложить с себя звание почетного академика.

Вот текст его заявления:

«Ваше императорское высочество! В декабре прошлого года я получил извещение об избрании А. М. Пешкова в почетные академики и я незамедлил повидаться с А. М. Пешковым, который тогда находился в Крыму, первый принес ему известие об избрании и первый поздравил его. Затем, немного погодя, в газетах было напечатано, что ввиду привлечения Пешкова к дознанию по 1035 статье, выборы признаются недействительными, причем было точно указано, что это извещение исходит от Академии наук, а так как я состою почетным академиком, то это извещение частью исходило и от меня. Я поздравлял сердечно и я же признавал выборы недействительными — такое противоречие не укладывалось в моем сознании, примирить с ним свою совесть я не мог. Знакомство с 1035 статьей ничего не объяснило мне и, после долгого размышления, я мог прийти только к одному решению, крайне для меня тяжелому и прискорбному, а именно — почтительнейше просить ваше императорское высочество, о сложении с меня звания почетного академика».

Пересылая это письмо в копии к В. Г. Короленко, Чехов говорил, что «сочинял его долго, в очень жаркую погоду и лучше сочинить не мог».

Испытывая в одинаковой мере чувство негодования, Короленко и Чехов руководствовались разными мотивами, объясняющими их решения. Короленко

«в академическом случае» видел отражение особенностей самодержавного режима и его мотивы, объясняющие сложение с себя звания академика — мотивы общественно-политического порядка. Чехов свои доводы, разъясняющие невозможность для него пребывать в Академии, построил на мотивах глубоко этических: он поздравлял сердечно и он же признавал выборы недействительными. И эти противоречия не укладывались в его сознании, нарушали его чувство справедливости.

Последние годы

Начало зимы 1902 г. Чехову опять пришлось жить в Ялте: мучил кашель и не пускал в Москву.

Жизнь однообразная, скучная. Болезнь, жалобы на ялтинскую скуку, тоска по жене, которая опять в Москве. Даже литературная работа — и та не радует Чехова.

«Я с удовольствием перестал бы быть в настоящее время писателем» — признается он жене. А в другом письме объясняет, что ничего не сообщает о рассказах, которые пишет, потому что «ничего нет ни нового, ни интересного. Напишешь, прочтешь, и видишь, что это уже было, что это уже старо. Надо бы чего-нибудь новенького, кисленького».

Но в этом признании и объяснение: не хочется быть писателем, потому что надо найти новую форму, иначе окажется, что он как литератор «уже отжил». А ведь «какая масса сюжетов», «как хочется писать», — признается он в другом письме. И эти восклицания как будто бы в полном противоречии с его рассуждениями о том, что надо п е р е с т а т ь быть писателем.

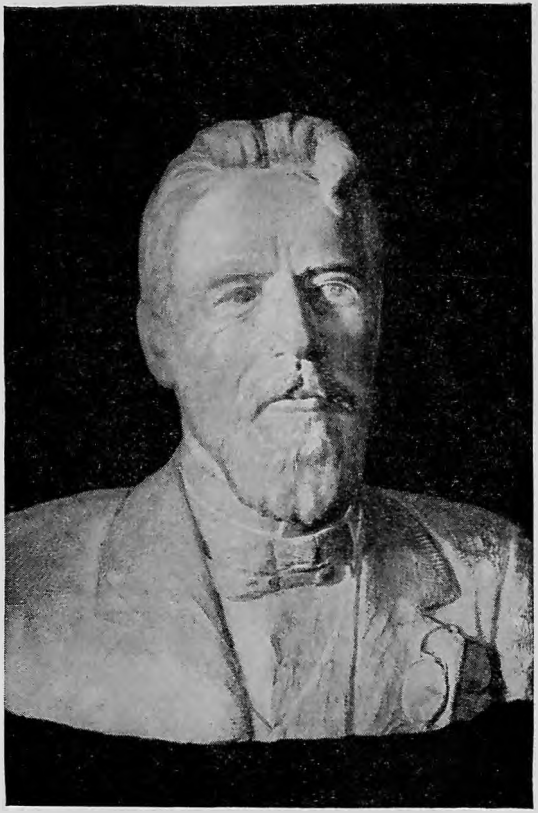
Два момента раскрывают нам противоречивость этих высказываний. Во-первых, обстановка, в которой он живет. Чехов так и заявляет: «не следовало бы мне в Ялте жить, вот что. Я тут как в Малой Азии». Во-вторых, боязнь повторений, страх впасть в шаблон. Когда был начат рассказ «Невеста», он говорил жене, что пишет на старинный манер, на манер семидесятых годов. И дальше: «пишу рассказ, но медленно, через час по столовой ложке, может быть оттого, что много действующих лиц, а может быть и отвык. Привыкать надо».

«Невеста» пронизана новым настроением для Чехова. Старой жизни пропета отходная. Наденька — невеста — идет навстречу новой жизни. Какой будет эта новая жизнь, и какой в ней станет Наденька — мы не знаем. Не знает и Чехов. Но никогда еще с такой ненавистью не говорил он о пошлости, как в этом предсмертном своем рассказе.

«Пахло жареной индейкой и маринованными вишнями, и Наде казалось, что так теперь будет всю жизнь без перемен, без конца». И оказалось, что «жареная индейка» убила в ней радость.

С шестнадцати лет она мечтала о замужестве — ей теперь двадцать три года. Вот Наденька осматривает свою будущую квартиру, которую ей приготовил жених Андрей Андреевич — этот бездельник, болтающий об искусстве и играющий на скрипке.

«Была гостиная с круглым столом, диваном и креслом, обитыми ярко голубой материей». Потом — «столовая с буфетом, потом спальня. Здесь в полумраке стояли рядом две кровати и похоже было, что когда обставляли спальню, то имели в виду, что всегда будет очень хорошо и иначе быть не может. В зале был блестящий пол, выкрашенный под паркет, венские



Бюст А. П. Чехова

Фото-копия со скульптуры Коненкова. 1908 год
Из собр. Лит. музея при б-ке СССР им. Ленина



„Три сестры"
Маша — народная артистка Республики
О. Л. Книппер-Чехова

стулья, рояль, пюпитр для скрипки. На стене в золотой раме висела большая картина: нагая дама и около нее лиловая ваза с отбитой ручкой».

— Чудесная картина, — проговорил Андрей Андреевич и из уважения вздохнул. — Это художника Шишмачевского.

А Наденька «ненавидела все эти комнаты, кровати, кресла, ее мутило от нагой дамы». Жених был счастлив, расхаживая по своей квартире, а невеста «видела во всем одну только пошлость, глупую, наивную, невыносимую пошлость».

В ее сознание неизгладимо врезались новые слова — их произнес чудак, над которым она привыкла ласково смеяться. А он пророчествовал: «От вашего города мало-помалу не останется камня на камне, — все полетит вверх дном, все изменится, точно по волшебству, и будут тогда здесь громадные великолепнейшие дома, чудесные сады, фонтаны необыкновенные, замечательные люди».

Чудак рисовал ослепительную картину будущего и в то же время набрасывал резкий очерк существующего. «Сегодня утром рано зашел на кухню, а там четыре прислуги спят прямо на полу, кроватей нет, вместо постелей — лохмотья, вонь, клопы, тараканы... То же самое, что было двадцать лет назад, никакой перемены... И никто ничего не делает. Мамаша целый день только гуляет, как герцогиня какая-нибудь, бабушка тоже ничего не делает, — невеста тоже и жених тоже ничего не делает.

Надя сделала выбор: от клопов, лохмотьев, тараканов, от безделья, сладких звуков жениховской скрипки, от пошлости будущей квартиры с картиной художника Шишмачевского она ушла в науку, в работу над осуществлением мечты о чудесных садах, фонта-

нах необыкновенных, замечательных людях, — она ушла в будущее.

Для предсмертного Чехова эти новые настроения в его творчестве весьма знаменательны. Он избавился, наконец, от своей «нейтральности».

Еще так недавно — в самый разгар процесса Золя, выступившего в защиту невинно осужденного Дрейфуса, Чехов, хотя и разделявший вместе со всеми передовыми умами Европы уважение к Золя, говорил, что не дело писателей заниматься политикой — напротив, они должны всячески от политики обороняться.

С. Я. Елпатьевский [42] отметил в своих воспоминаниях, что при разговорах об «острых и больных вопросах, давно стоявших перед «русской жизнью», лицо Чехова делалось усталым и скучным». Но вот «конфликты русской жизни» делались все острее и больнее. Надвигались события, которым суждено было вскоре всколыхнуть застоявшуюся русскую жизнь. Елпатьевский говорит, что это была пора, когда стала проходить русская скука, и равнодушие Чехова к общественным вопросам сменилось глубочайшим к ним интересом.

Оказалось, что Чехов, по наблюдениям того же Елпатьевского, «читая газеты, искал в них не проявления скуки, хмурости и сумеречности русской жизни, а факты подъема и роста оппозиционного настроения России». В нем исчезла прежняя мягкость и терпимость к людям, стоявшим у кормила власти. Они уже стали для Чехова «мерзавцами, прямо мерзавцами! Да Вы еще не знаете, что они за подлецы!» — восклицал он.

Конечно, не следует делать вывода о ясно осознанном политическом мировоззрении Чехова. Не может

быть речи и о революционных настроениях Чехова. Усердный читатель зарубежного «Освобождения», издававшегося ренегатом от социализма Струве, Чехов не шел в своих идеалах дальше конституции. Но вместе с тем каторжный быт Сахалина, инцидент с удалением М. Горького из Академии, погромная политика русского правительства, юдофобские статьи «Нового времени», расправа с бастующими студентами и все то, что либеральный Елпатьевский назвал «конфликтами русской жизни», не могло пройти бесследно для Чехова. Ему стало ясно, что нельзя быть только «свободным художником».

Свою последнюю пьесу «Вишневый сад» Чехов хотел написать так, чтобы она звучала бодростью. Поэтому он и задумал ее как комедию, почти как фарс.

«Следующая пьеса, какую я напишу, будет непременно смешная, очень смешная, по крайней мере по замыслу». (Из письма к О. Л. Книппер 7 марта 1901 года.) И еще: «Минутами на меня находит сильнейшее желание написать для Художественного театра четырехактный водевиль или комедию».

Эти мечты упорны: 18 декабря 1901 года в письме к жене мы опять читаем: «Я все мечтаю написать смешную пьесу, где бы чорт ходил коромыслом». Но только летом 1902 года этим упорным мечтам было дано конкретное содержание: Чехов набрасывал план «Вишневого сада».

Этим летом Чехов задержался в Москве — болела О. Л. Книппер, некоторое время находившаяся между жизнью и смертью, и Чехов при ней был неотлучно. Однажды, чтобы чем-нибудь развлечь жену, Антон Павлович показал ей маленький кусочек бумаги, на котором было написано заглавие:

«Вишневый сад».

Когда Ольге Леонардовне стало легче, Чехов предпринял небольшое путешествие по Волге и Каме вместе с С. Т. Морозовым, в имении которого, близ Перми, он гостил некоторое время.

Затем он вернулся в Москву и принял приглашение К. С. Станиславского на все лето поселиться в его имении Любимовка — в двадцати пяти верстах от Москвы.

Здесь Чехов продолжал разрабатывать план новой пьесы. К. С. Станиславский вспоминает, что некоторые обитатели Любимовки послужили Чехову как бы моделями для персонажей «Вишневого сада»: чудачка англичанка, служившая бонной, воплотилась в Шарлотту, чертами какого-то молодого студента вос пользовался А. П. для Пети Трофимова, были здесь и «оригиналы» Епиходова и Яши.

Начать пьесу Чехов предполагал с конца 1902 года. Он писал из Ялты в декабре, что замыслил «Вишневый сад» в трех актах. Устанавливается, что центральной фигурой пьесы явится старуха.

За центральной фигурой — старухой (об этом в письме к В. Ф. Комиссаржевской: «в этой пьесе центральная роль старухи») начинают вырисовываться другие образы. И прежде всего — образ «глупенькой». «Глупенькая» предназначается Книппер. «Ты будешь играть глупенькую». «Твоя роль — дура набитая. Хочешь играть дуру, добрую дуру?»

К началу марта, когда и «бумага разложена и название написано», «доброй дуре» дано имя. «Ты будешь Варвара Егоровна или Варя, приемыш двадцати двух лет». Это — роль комическая. Но возникает и другой комический образ, по своему значению не менее важный, чем образ старухи. Это — роль, предполагавшаяся Станиславскому. «У Станиславского роль

комическая». Поясним, что эта «комическая роль Станиславского» — роль Лопахина.

В середине марта Чехов начал писать. Дело шло туго. «А пьеса, кстати сказать, мне не совсем удается. Одно главное действующее лицо еще недостаточно продумано и мешает, но к Пасхе, думаю, это лицо будет уже ясно и я буду свободен от затруднений».

Автора заботили не только общие вопросы композиции, но и количество актов: «В. С.» я хотел сделать в трех длинных актах, но могу сделать и в четырех, мне все равно, ибо три или четыре акта — пьеса все равно будет одинакова». И количество действующих лиц: «...стараюсь делать, чтобы было возможно меньше действующих лиц: этак интимнее».

Но главным образом заботит его вопрос об исполнителях и, в первую очередь, об актрисе для роли старухи: «А вот кто будет играть старуху? Кто?» И 11 апреля он вновь спрашивает О. Л. Книппер: «Будет ли у вас актриса для роли пожилой дамы в «В. С.»? Если нет, то пьесы не будет, не стану писать ее».

Пьеса, начатая в середине марта 1903 года, в первой своей редакции была закончена 26 сентября, то есть через шесть месяцев. В этой первой своей редакции она была сделана как веселая, легкомысленная комедия с двумя центральными ролями: «старухи» (Раневская) и «комической ролью для Станиславского» (Лопахин). Кроме того, мы знаем, что образ Вари был задуман опять-таки в комических очертаниях.

Но этот замысел в дальнейшем процессе работы претерпел сильнейшие изменения. Закончив черновик, Чехов приступает к его переписке, которая тянется необыкновенно долго. 9 октября переписка все еще

не кончена. Оказывается, что за это время он дважды переписывал пьесу набело, меняя и переделывая. Только 14 октября он телеграфирует: «Пьеса уже послана». Она была послана в театр, а жене Чехов переслал особый конвертик, в который вложил записку с распределением ролей.

По окончании работы над пьесой, Чехов пришел к выводу, что «хотя вышла не драма, а комедия, местами даже фарс», но что в пьесе в целом, «как она ни скучна», есть «что-то новое». Между прочим, маленькая деталь в оценке этой новизны приема. «Во всей пьесе ни одного выстрела, кстати сказать».

«Новое» заключается, однако, конечно не в этом отсутствии выстрелов: оно в своеобразном сочетании гротескно-комического с лирико-драматическим. Но это сочетание не всегда кажется органическим, естественно вытекающим из существа пьесы. «Вишневый сад» не избавлен от двупланности, от несглаженных противоречий. Как, в самом деле, оправдать определение автора «В. С.», как комедии, «местами даже фарса», с глубокой драматичностью целого ряда моментов, хотя бы в сцене прощания Гаева с Раневской, несмотря на «веселость», как полагал Чехов, всего четвертого акта?

Но Чехов не замечает противоречий. Убеждая Немировича-Данченко в том, что Аня «Вишневого сада» не похожа на Ирину «Трех сестер» хотя бы потому, что «Аня ни разу не плачет», и доказывая, что у него в пьесе «нет плачущих», Чехов ошибался. У него не только есть ремарки, указывающие на то, что персонажи говорят «сквозь слезы», но у него есть и прямые указания о нескрываемых слезах и рыданиях. И все-таки Чехов был убежден, что вышла у него «не драма, а комедия, а местами даже фарс».

Наконец, пьеса после целого ряда переделок была отослана в Художественный театр, а в декабре и сам Чехов приехал в Москву. Он усердно посещал репетиции, но О. Л. Книппер свидетельствует, «что дело не ладилось — режиссеры с автором никак не могли понять друг друга».

Первое представление состоялось 17 января 1904 года.

Премьерой «Вишневого сада» воспользовались для того, чтобы организовать чествование Чехова, под предлогом двадцатипятилетия его литературной деятельности.

А он вообще был против юбилеев и уверял, что его собственный будет еще не скоро. Он даже отказался быть в театре. За ним поехали и привезли его только к третьему акту. О. Л. Книппер говорит, что в этот вечер не было чистой радости. Было беспокойно, в воздухе висело что-то зловещее.

И К. С. Станиславский в свою очередь свидетельствует, что Чехов не был весел. «Когда после третьего акта он, мертвенно-бледный и худой, стоял на авансцене, не мог унять кашля, пока его приветствовали с адресами и подарками, у нас болезненно сжималось сердце. Из зрительного зала ему крикнули, чтобы он сел. Но Чехов нахмурился и простоял все длинное и тягучее торжество юбилея, над которым он добродушно смеялся в своих произведениях. Но и тут он не удержался от улыбки. Один из литераторов начал свою речь почти теми же словами, какими Гаев приветствует старый шкаф в первом акте:

«Дорогой и многоуважаемый... (вместо слова «шкаф» литератор вставил имя Антона Павловича)... приветствую вас» и т. д.

Антон Павлович покосился на меня, — исполнителя

Гаева, — и коварная улыбка пробежала по его губам. Юбилей вышел торжественным, но он оставил тяжелое впечатление. От него отдавало похоронами. Сам спектакль имел лишь средний успех и мы осуждали себя, что не сумели с первого же раза показать наиболее важное, прекрасное и ценное в пьесе...». И Чехов удостоверял: «Вчера шла моя пьеса, настроение поэтому у меня неважное».

Чехов уезжал из Москвы в дурном настроении. Подарки, которые он получил на юбилее, его радовали мало. Он недоумевал, глядя на кустарные изделия в старинном русском духе и жалел, что никто не догадался подарить ему простых удочек.

Из Ялты он писал О. Л. Книппер резкие строки о «погубленной пьесе» и о том, что К. С. Станиславский и Вл. И. Немирович-Данченко прочли в ней то, чего он сам не писал. Ему продолжало казаться, что «Вишневый сад» только веселая комедия. Толкование пьесы Художественным театром как драмы русской жизни было ему непонятно.

Здоровье его делалось все хуже и хуже.

Его постоянный врач в Ялте И. Альтшуллер в своих воспоминаниях отмечает, что именно в этом году болезнь особенно шагнула вперед. «Все реже возвращалось хорошее настроение и все чаще я заставал его одиноко сидящим в кресле и в полулежачем положении на диване с закрытыми глазами без обычной книги в руках. Начавшаяся война его очень волновала. Работал он в это время немного и только урывками, а планов было много, и это огорчало его».

Как принял Чехов войну с Японией?

Как известно, война была непопулярной в широких кругах русского общества. Но Чехов на первых порах отнесся к событиям чисто по-обывательски. Когда-то,

за девять лет до войны, он писал по поводу перехода к России Порт-Артура следующее: «Мне кажется, что с этим незамерзающим портом (то есть Порт-Артуром) мы наживем себе массу хлопот. Он обойдется нам дороже, чем если бы мы вздумали завоевать всю Японию». Почти пророчество. Но вот началась война, в которой Порт-Артур сыграл немаловажную роль, и Чехов пишет: «Погода в Ялте теплая, мартовская. На улицах шумят по случаю войны. Все чувствуют себя бодро, настроение приподнятое и если будет то же самое завтра, и через неделю, и через месяц, то японцам не сдобровать». (Из письма к Харкевич, 31 января 1904 года.)

«Наши побьют японцев, в этом я уверен», — читаем мы и в письме к О. Л. Книппер. И ей же пишет он, что ее родственники вернутся после победоносной войны в чинах и орденах.

Война затягивалась, не могло быть и речи о ее скором конце, а тем более о поражении Японии. Чехов начинает серьезнее относиться к развертывающимся на Дальнем Востоке трагическим событиям. Он изучает войну и это делает с такой же добросовестностью, с какой в свое время штудировал вопросы, связанные с колонизацией преступников или стенограммы по делу Дрейфуса-Золя. Выписывает все газеты, в том числе даже «Правительственный вестник», и с огромным вниманием читает все специальные статьи. Он уже сознает, что война будет достаточно длительной и очень тяжелой. Тогда в нем возникает решение ехать на Дальний Восток, но не корреспондентом, а непременно врачом.

Эта последняя зима в Ялте была очень тягостной. Здоровье Антона Павловича настолько ухудшилось, что врачи послали его в Москву.

Совсем расхворавшимся он приехал в Москву в мае. Ходить не мог, несколько недель пролежал в постели. Ясно сознавал грозящую опасность: Н. Д. Телешеву, пришедшему его навестить, сказал, что «едет умирать», — доктора посылали его за границу, где, в Берлине, он должен был посоветоваться о дальнейшем курсе лечения у знаменитого Эвальда.

5 мая Антон Павлович вместе с женой выехал в Берлин. Эвальд послал его в Шварцвальд на курорт Баденвейлер. Здоровье его, вначале улучшившееся, стало опять сдавать и настолько, что хозяин виллы, где жили Чеховы, испугавшись возможной катастрофы, предложил им покинуть его дом.

Антон Павлович умер в ночь на 2 июля. Последний его день прошел так. После трех тяжелых, тревожных дней ему к вечеру 1 июля стало легче и он попросил Ольгу Леонардовну прогуляться по парку. Когда же она пришла, Чехов стал беспокоиться, почему она не идет ужинать. Жена отвечала, что гонг еще не прозвонил.

Гонг, как оказалось после, они прослушали и Антон Павлович начал придумывать рассказ, описывая «необычайно модный курорт, где много жирных банкиров, здоровых, любящих хорошо поесть, красноще-ких англичан, американцев, и вот все они, кто с экскурсии, кто с катания, кто с пешеходной прогулки, — одним словом отовсюду, собираются, мечтая хорошо и сытно поесть после физической усталости. И тут вдруг оказывается, что повар сбежал и ужина никакого нет, — и вот как этот удар по желудку отразился на всех этих избалованных людях».

Антон Павлович импровизировал этот рассказ во

вкусе Антоши Чехонте, а Ольга Леонардовна, прикурнувши на диване, после тревоги последних дней, от души смеялась. Ей и в голову не могло прийти, что через несколько часов она будет стоять перед телом Чехова.

В начале ночи Чехов проснулся и в первый раз в жизни сам попросил послать за доктором. Ольга Леонардовна вспомнила, что в отеле живут знакомые русские студенты — два брата, и попросила одного из них сбегать за доктором, а сама пошла колоть лед. Пришел доктор. Чехов сказал ему по-немецки: «я умираю». Положили лед на сердце.

«На пустое сердце льда не кладут», — отозвался Чехов. Доктор велел выпить шампанского. Чехов взял стакан и сказал:

«Давно я не пил шампанского».

Улыбнулся, выпил весь стакан до дна, повернулся на бок и вскоре навсегда уснул *.

Тело его было перевезено в Россию. Везли через Петербург, и тут пошлость, неутомимым врагом которой был Чехов, отомстила ему, как писал М. Горький, «скверненькой выходкой — положив его труп, труп поэта, в вагон для перевозки устриц».

И было вообще что-то нелепое в этой сутолоке, которая началась на петербургском вокзале. Час прихода поезда с прахом не был известен, и на перроне собрались немногие — представители литературы почти отсутствовали.

---

* В Баденвейлере по инициативе немецких властей был поставлен в 1908 году памятник Чехову—работы русского вице-консула во Франкфурте—Шлейфера. В первые же дни мировой войны этот памятник под влиянием шовинистических настроений, переживаемых Германией, был уничтожен. Бронза бюста пошла на „военные нужды".

В Москве — иная картина. Здесь все было подготовлено к встрече траурного поезда. На особый комитет, образовавшийся во главе с В. А. Гольцевым при редакции «Русской мысли», редактором беллетристического отдела которой состоял Чехов в последние два года его жизни, была возложена организация похорон.

И похороны Чехова — памятный в истории Москвы день. Впечатление, оставленное известием о кончине Чехова, было потрясающее. Словно каждый переживал личное горе.

Чуть не с рассвета стала готовиться Москва к встрече праха Чехова.

С пяти часов утра по улицам, ведущим из города к Каланчевской площади, начали подъезжать фуры с бесчисленными венками и цветами. Платформа Николаевского (теперь Октябрьского) вокзала обратилась в оранжерею.

В шесть часов утра платформа начала наполняться. С первым дачным поездом прибыли студенты Сельскохозяйственного института — полным составом.

Собрались писатели, бывшие в Москве, артисты Художественного, Малого и других театров.

Гроб Чехова подняли студенты и на руках несли его до самого кладбища. В Новодевичьем монастыре — подле могилы отца — была приготовлена могила Антону Павловичу.

Когда гроб опустили в землю, тысячная толпа пропела «Вечную память».

Небо, хмурившееся еще с утра, стало заволакиваться тучами. К пяти часам вечера пошел мелкий дождь.

На могиле быстро вырос целый холм венков и цветов...



Могила А. П. Чехова на Новодевичьем кладбище в Москве

ЧЕХОВ — ПИСАТЕЛЬ

«...Как стилист, Чехов недосягаем, и будущий историк литературы, говоря о росте русского языка, скажет, что язык этот создали Пушкин, Тургенев и Чехов».

М. Горький (Литературные заметки, «Нижегородский листок» 30 января 1900 года)

Язык Чехова

Что прежде всего бросается в глаза даже при беглом изучении мастерства Чехова? То, что каждый персонаж чеховского рассказа или пьесы говорит своим собственным, только одному ему присущим языком, каждое действующее лицо имеет свой голос, свои собственные интонации.

Неудивительно, что Чехов во всех оттенках использовал речь интеллигента, но он также хорошо знает язык ремесленника, купца, солдата, монаха, мужика, язык ребенка и старика. Он считал, что писатель обязан быть точным и знать «словари» всех

профессий. Названиями морских снастей, военными командами и всей вообще терминологией военно-морского дела он пользуется в водевиле «Свадьба» с такой легкостью, как будто бы он всю жизнь вместе со своим отставным капитаном второго ранга Ревуновым-Карауловым провел на море среди матросов.

У него никогда не скажет художник о каком-нибудь облаке, что оно выпирает на картине, а непременно: «кричит»:

«...Так-с, это облако у вас кричит».

А какое богатство приказчичьего лексикона в его рассказе «Полинька»: гарнитурчик, аграмант французский восьмигранный, стеклярусные бонбошки, плюмаж из птичьего пера цвета канак, то есть бордо с желтым, кофточки джерсе — гладкие, сутажет со стеклярусом, ленты с пико, атаман с атласом и атлас с муаром и пр. и пр.

Знаменитая «Хирургия» вся построена на профессиональной речи — дьячковской и фельдшерской. Дьячок цитирует писание, а речь фельдшера — целая номенклатура хирургических инструментов: козья ножка, ключ, щипцы и, как высшее доказательство образованности, упоминание о «трактации по вертикальной оси».

Народная речь, которой пользуется Чехов, заслуживает особенно глубокого изучения. Критикуя рассказ молодого автора, Чехов написал ему, что «мыста и шашнадцать сильно портят прекрасный разговорный язык. Насколько могу судить по Гоголю и Толстому, — поясняет Чехов, — правильность не отнимает у речи ее народного духа». Именно этого правила и придерживался сам Чехов. Если в его ранних рассказах из крестьянской жизни мы кое-где еще и встречаемся с «пущай», «ефтот» и «энтот», то от

этой вульгаризации и нарочитости нет и следа ни в «Мужиках», ни в «Новой даче», ни «В овраге». Чтобы передать несколько затрудненную речь старика Чикильдеева в «Мужиках», он пользуется словечками вроде «добровольно», «значит», «известно», не к месту и не во время вставляемыми в его речь.

Никаких «специфических» мужицких слов и выражений мы у него не найдем. А между тем он чрезвычайно искусно пользуется интонациями крестьянской речи в том, например, случае, когда ему нужно показать, что мужик нахватался «умных слов».

Староста Антип Сидельников объясняет Чикильдееву: «От земского начальника все зависящее. В административном заседании 26 числа можешь заявить повод своему недовольству, словесно или на бумаге».

Деревенские дети говорят у Чехова, не искажая русской речи. В письме Ваньки Жукова, который пишет дедушке, всего только три слова произносятся по-деревенски — «и х н и й ребятенок», «е й н а я морда» и «б о ж е ц к а я милость», да есть еще чисто детский оборот в такой фразе: «И видал которые лавки, где ружья всякие на манер бариновых, так что небось рублей сто кажное».

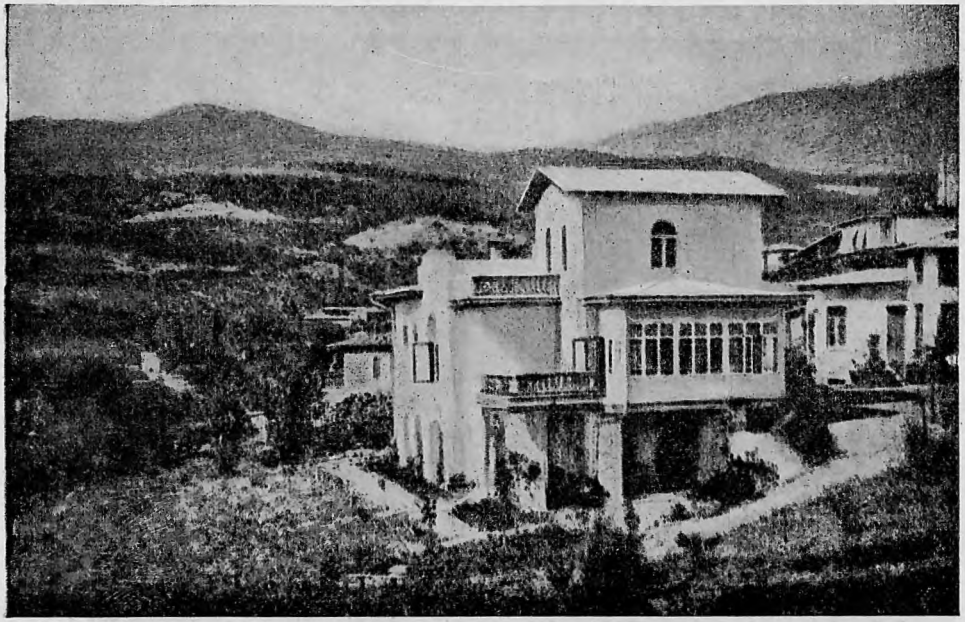
Чехов вообще тонко подмечал особенности детской речи: «я тебе зададу», «мне стало так неприлично», или слова одной девочки про свою тетю: «она очень красива, красива, как наша собака»; «кошка ощенилась»; «щенята, похожие на мышов». А другая девочка недоумевает, почему щенята слепые и говорит: «У них глаза слепые, как у нищих».

Манера произносить те или иные слова часто раскрывает социальную сущность действующих у Чехова персонажей. Так, становой, которого зовут в деревне «барином», говорит Чикильдееву: «Я спраши-



А. П. Чехов с О. Л. Книппер (1901 год)

Из собр. Лит. музея при б-ке СССР им. Ленина



Дача А. П. Чехова в Ялте

ваю тебе. Я тебе спрашиваю». И в этом «т е б е» вместо «т е б я» выражается барское, высшее презрение к мужику.

Монах Сысой в рассказе «Архиерей», человек угрюмый, вечно всем недовольный, но разговаривающий совершенно грамотно, только одно слово произносит неправильно: «не ндравится мне это». И это «н е н д р а в и т с я» как раз и определяет грубость и черствость Сысоя.

Юмористическое звучание чеховских рассказов достигается смелым пользованием «идиотизмами» речи: «землетрясение от испарения воды», «кавказский князь в белом шербете ехал в открытом фельетоне». А действительный статский советник, глядевший на красивый ландшафт, сказал: «Какое чудесное отправление природы». Восторженная барышня пишет знакомым: «Мы будем жить невыносимо близко от вас».

Его действующие лица постоянно употребляют поговорки, присловия, нарочито искажают слова и это придает особую выразительность их речи: «Недурственно», «здравствуйте пожалуйста», «вы не имеете никакого римского права», «он ахнуть не успел» и т. д.

Но с таким же вниманием, с каким вслушивается Чехов в речь глупца и пошляка, с такой же любовью записывает он слова, выражающие лирику русской речи: «какие чудесные названия «богородицыны слезки», «малиновки», «вороньи глазки» — заносит он, например, в свою записную книжку.

Импрессионизм

Л. Н. Толстой так определял основное свойство Чехова: «Чехова как художника нельзя даже и сравнить

с прежними русскими писателями — с Тургеневым, с Достоевским или со мной. У Чехова своя собственная форма, как у импрессионистов. Смотришь, как человек будто без всякого разбора мажет красками, какие попадаются ему под руку, и никакого отношения будто эти мазки между собою не имеют. Но отойдешь, посмотришь, и в общем получается удивительное впечатление. Перед нами яркая, неотразимая картина».

Импрессионизм Чехова особенно явственно выражается в пользовании сравнением и метафорой. Вот несколько примеров.

Туча — «имеет вид фортепиано».

Облако — «похожее на рояль».

Чувство — «похожее на белый молодой пушистый снег».

Лунный свет — «затуманился, стал как будто бы грязный, черные лохмотья слева уже поднимались кверху и одно из них, грубое, неуклюжее, похожее на лапу с пальцами, тянулось к луне».

Луна — «светила ярко, можно было разглядеть на земле каждую соломинку, и Лаптеву казалось, будто лунный свет ласкает его непокрытую голову, точно кто пухом проводит по волосам».

«И пока она пела — мне казалось, что я ем спелую, сладкую, душистую дыню».

Пейзаж Чехова оставляет неотразимое впечатление подбором красок. Закатное солнце, прячась за толпящиеся в беспорядке облака на горизонте, «красит их и небо во всевозможные цвета: в багряный, оранжевый, золотой, лиловый, грязно-розовый. Одно облачко похоже на монаха, другое на рыбу, третье на турка в чалме. Зарево охватило треть неба, блестит в церковном кресте и в стеклах господского дома,

отсвечивает в реке и лужах, дрожит на деревьях» (Рассказ «Красавицы»).

Чтобы запомнить эти краски, нужно было обладать совершенно исключительной памятью. Вернувшись из поездки на Сахалин, Чехов писал знакомому, что «вспоминает все до мельчайших подробностей: даже выражение глаз у пароходного ресторатора, отставного жандарма». Поэтому и мог Чехов заметить, что поспевший овес «отсвечивал на солнце, как перламутр».

Для передачи душевных ощущений Чехов не только находит нужные слова, но и заставляет их звучать страстно. Никогда не восклицающий, Чехов не стыдится этого пафоса, когда говорит о скорби: «О, как одиноко в поле ночью среди этого пения, когда сам не можешь петь, среди непрерывных криков радости, когда сам не можешь радоваться, когда с неба смотрит месяц, тоже одинокий, которому все равно — весна теперь или зима, живы люди или мертвы» («В овраге»).

Его пейзажи становятся всегда особенно выразительны, когда они раскрывают «человеческую музыку». Созерцание природы, как и всякой красоты, — лирично. Оно — источник тихой «ласковой грусти». В «Архиерее» именно таким и дан весенний пейзаж:

«Белые стены, белые кресты на могилах, белые березы и черные тени и далекая луна на небе, стоявшая как раз над монастырем, казалось, теперь жили своей особой жизнью, непонятной, но близкой человеку. Был апрель в начале, и после теплого весеннего дня стало прохладно, слегка подморозило и в мягком холодном воздухе чувствовалось дыхание весны. Дорога от монастыря до города шла по песку, надо было ехать шагом, и по обе стороны кареты, в лунном

свете, ярком и покойном, плелись по песку богомольцы. И все молчали, задумавшись, все было кругом приветливо, молодо, так близко все — и деревья, и небо, и даже луна, и хотелось думать, что так будет всегда».

В рассказе «Ионыч» доктор Старцев, которому назначили свидание на кладбище, увидел здесь лунною ночью то, «чего никогда не видывал в жизни»: «мир, не похожий ни на что другое, мир, где так хорош и мягок лунный свет, точно здесь колыбель, где нет жизни, нет и нет, но в каждом темном тополе, в каждой могиле чувствуются тайны, обещающие жизнь тихую, прекрасную, вечную. От плит и увядших цветов, вместе с осенним запахом листьев, веет прощением, печалью и покоем».

Тихий — становится любимым эпитетом Чехова. Там, где тишина, там и грусть. Нежной грустью охвачен Чехов, ощущая женскую красоту: «не желание, не восторг, не наслаждение возбуждала во мне Маша, а тяжелую, хотя и приятную грусть. Эта грусть была неопределенная, смутная, как сон. Почему-то мне было жаль и себя, и дедушки, и армянина, и самой армяночки, и было во мне такое чувство, как будто мы все четверо потеряли что-то важное и нужное для жизни, чего уж больше никогда не найдем» («Красавицы»).

Важны и ценны его «писательские советы»: «Описание природы должно быть прежде всего картинно, — говорит, например, Чехов, — чтобы читатель, прочитав и закрыв глаза, сразу мог вообразить себе изображаемый пейзаж; набор таких моментов, как сумерки, цвет свинца, лужа, сырость, серебристость то-

полей, горизонт с тучей, воробьи, далекие луга — это не картина, ибо при всем моем желании я никак не могу вообразить в стройном целом всего этого».

Об этом же условии впечатляемости, которая должна сразу овладеть читателем, говорит он в письме к Горькому: «Надо вычеркивать определения существительных и глаголов. У Вас так много определений, что вниманию читателя трудно разобраться, и он утомляется. Понятно, когда я пишу: «человек сел на траву» — это понятно потому, что ясно и не задерживает внимания. Наоборот, неудобопонятно и тяжеловато для мозгов, если я пишу: «высокий, узкогрудый, среднего роста человек с рыжеватой бородкой сел на зеленую, еще немятую пешеходами траву, сел бесшумно, робко и пугливо оглядываясь»... Это не сразу укладывается в мозгу, а беллетристика должна укладываться сразу, в секунду».

Л. А. Авиловой он советовал: «Вы не работаете над фразой. Фразу надо делать, в этом искусство, надо очищать фразу от «по мере того», «при помощи», надо заботиться об ее музыкальности и не допускать в одной фразе почти рядом «стал» и «перестала». Голубушка, ведь такие словечки, как «безупречная», «на изломе», «в лабиринте» — ведь это одно оскорбление. Я еще допускаю рядом «казался» и «касался», но «безупречная» — это шероховато, неловко и годится только для разговорного языка».

В письме к доктору Куркину Чехов говорит, что название научной статьи «Очерки санитарной статистики» неудачно, ибо здесь два иностранных слова, кроме того: «оно немножко длинно и немножко неблагозвучно, так как содержит много С и много Т. Вы назовите книгу попроще, напр. «Заметки врача» или что-нибудь в этом роде».

Еще в «осколочную» свою пору Чехов говорил, что: «искусство писать состоит собственно не в искусстве писать, а... в искусстве вычеркивать плохо написанное». И тогда же ему было ясно, что нужно «строить фразу, делать ее сочнее, жирнее. Надо рассказ писать пять, шесть дней и думать о нем все время, пока пишешь, иначе фразы никогда себе не выработаете. Надо, чтобы каждая фраза, прежде чем лечь на бумагу, пролежала в мозгу два дня и обмыслилась». (Из письма Чехова к А. С. Грузинскому).

Немузыкальные, устаревшие и провинциальные слова — вот что вызывает в Чехове отвращение. А. В. Жеркевичу он указывал, что такие провинциализмы, как «подборы», «хата» в небольшом рассказе кажутся «шероховатыми». Он по себе знал, как трудно избавиться от провинциализмов. В его ранних рассказах их очень много. Он говорит: «я соскучился за вами», «займите мне», «река Голтва представляла из себя», «что с меня толка», «скидайте шляпу», «чмокнул в пухленькую руку».

Его южное происхождение давало о себе знать, когда он писал о каком-то лабазнике, что это был кацап. Его деревенские девки выходили замуж за «парубков» и т. д. Но это только в ранних рассказах; тщательная авторедактура при включении рассеянных по журналам рассказов в отдельные сборники — редактура, к которой был всегда особенно внимателен Чехов, вытравила шероховатости и провинциализм его речи. Боролся он и с изобилием междометий и восклицаний, так же как с изобилием многоточий. Его сердили необдуманно поставленные знаки препинания, ибо они «ноты при чтении».

Большое внимание обращал он и на названия своих рассказов. В. М. Лаврову [37], печатавшему в «Рус-

ской мысли» его новый рассказ, он предложил шесть вариантов названия: 1) В Петербурге, 2) Рассказ моего знакомого, 3) Восьмидесятые годы, 4) Без заглавия, 5) Повесть без названия, 6) Рассказ неизвестного человека. Только шестой вариант показался ему подходящим. Примечательно, что первое название — «В Петербурге» — представлялось ему «скучным», а второе — «Рассказ моего знакомого» — «как будто длинным». Название же «Восьмидесятые годы» было решительно отвергнуто, как «претенциозное».

Черновики Чехова поучительны как образцы высокой взыскательности художника. Кропотливый, упорный, долгий труд. С такой же тщательностью он отделывал свои рассказы и в корректуре, настойчиво требуя незамедлительных присылок корректур.

«В рукописи я ничего не вижу, и отделываю рассказ только в корректуре», — писал он, например, Батюшкову. И рукописные, и корректурные правки основной своей целью имеют придать фразам композиционную законченность, музыкальную выразительность. Он хвалил Короленко за рассказ «Соколинец» главным образом потому, что это «выдающееся произведение последнего времени» написано как «хорошая музыкальная композиция».

Писательский метод

В воспоминаниях Ив. Щеглова о Чехове записаны примечательные слова о «писательской наблюдательности», которой Чехов придавал большое значение: «Писателю надо непременно в себе выработать зоркого неугомонного наблюдателя. Настолько, понимаете, выработать, чтобы это вошло прямо в привычку, сделалось как бы второй натурой».

Сам Чехов умел не только смотреть и запоминать, но обладал той способностью художественной отгадки, тем свойством «распознавания», которое раскрывает содержание явлений, ускользающее от глаз обычного наблюдателя.

«Простой человек смотрит на луну и умиляется, как перед чем-то страшно таинственным и непостижимым. Ну, а астроном смотрит на нее совсем другими глазами... у него уже нет и не может быть никаких иллюзий. И у меня, как медика, их тоже мало». Так сказал о себе Чехов.

На всем протяжении своего творческого пути Чехов только и делал, что разрушал иллюзии «нас возвышающего обмана».

Его писательский метод — метод аналитический, «химический».

Наброски его записной книжки поражают своим содержанием. Если это сюжет рассказа, то непременно рассказа внешне анекдотического; если это характеристика действующего лица, то обязательно наделенная гиперболическими чертами. Создается впечатление, что все эти люди, особые приметы которых зафиксированы писателем, — словно чудовищные призраки, где человеческое сведено к животному, и где животное поглотило человеческое.

«Толстая, пухлая трактирщица, помесь свиньи с белугой».

«Беременная дама с короткими руками и длинной шеей, похожая на кенгуру».

«Можно думать, судя по лицу, что под корсажем у нее жабры».

«Писатель должен быть объективен, как химик» — определял в одном своем письме писательское назначение Чехов. Но ведь химия разлагает целое на его

составные элементы. Так и Чехов разложил жизнь на ее атомы и людей показал в обнаженности их тайных побуждений.

Иногда, в результате такой операции, сквозь человеческую оболочку героев Чехова начинают ясно проглядывать черты животного. Про Наташу из «Трех сестер» Чехов сказал, что она напоминает «шершавое животное».

Черты бестиальности, какими наделяет он своих «шершавых» Наташ, Чехов выписывает с мельчайшими подробностями, с чисто анатомической точностью.

Вот Аксинья («В овраге»). «У нее были серые наивные глаза и на лице постоянно играла наивная улыбка». И в этих немигающих глазах и в маленькой голове на длинной шее, и в ее стройности было что-то «змеиное, зеленое». «С желтой грудью, с улыбкой, она глядела, как весной из молодой ржи глядит на прохожего гадюка: вытянувшись и подняв голову».

И как контраст гадюке-Аксинье дана Липа — «худенькая, слабая, бледная», о которой Чехов говорит, что она была похожа на жаворонка. Или вот семейная группа из рассказа «Супруга» — фамильный портрет, на который с отвращением и ужасом глядит доктор Николай Евграфыч: «Это была семейная группа: тесть, теща, жена доктора, Ольга Дмитриевна, когда ей было двадцать лет, и он сам, в качестве молодого счастливого мужа. Тесть, бритый, пухлый, водяночный тайный советник, хитрый, жадный до денег, теща — полная дама, с мелкими хищными чертами, как у хорька, безумно любящая свою дочь и во всем помогающая ей. Если бы дочь душила человека, то мать не сказала бы ей ни слова, и только заслонила бы ее своим подолом. У Ольги Дмитриевны тоже мелкие и хищные черты лица, но более вы-

разительные и смелые, чем у матери. Это не хорек, а зверь покрупнее».

Или старшина и волостной писарь в повести «В овраге» — мошенники, «не подписавшие ни одной бумаги, не отпустившие из волостного правления ни одного человека без того, чтобы не обмануть и не обидеть». Вот они сидят теперь рядом — «оба толстые, сытые, и казалось, что даже кожа на лице у них была какая-то особенная, мошенническая». Жена писаря — «женщина исхудалая, косая», привела с собой всех своих детей и, «точно хищная птица, косилась на тарелки и хватала все, что попадалось под руки и прятала себе и детям в карманы».

Озорной Володька Лычков («Новая дача»), пьяный, бьет старика-отца. Отец в свою очередь бьет сына: «Отец поднял палку и ударил ею сына по голове; тот поднял свою палку и ударил старика прямо по лысине, так что палка даже подскочила. Лычков-отец даже не покачнулся и опять ударил сына, и опять по голове. И так стояли, все стукали друг друга по головам. И это было похоже не на драку, а скорее на какую-то игру».

Можно было бы привести бесчисленные примеры этого беспощадного анализа, которым разлагает Чехов живую сущность своих персонажей.

Примечательно, что, рисуя заболевание своих героев, Чехов заставляет их видеть в окружающих то, что видел он сам, разложивший жизнь на атомы.

Поручик Климов в «Тифе» — больной, уже в полубреду, входит в помещение вокзального буфета. Его тошнит от запаха жареного мяса, а вид пьющих и едящих для него нестерпим. Вот красивая дама громко беседует с военным в красной фуражке. Дама и ее улыбка и зубы у нее — «великолепные, белые зу-

бы» — производят на Климова такое же впечатление, как окорок и котлеты.

«Он не мог понять, как это военному в красной фуражке не жутко сидеть возле нее и глядеть на ее здоровое, улыбающееся лицо».

В «Именинах» заболевшая Ольга Михайловна разливает на пикнике чай и замечает в окружающих то, чего раньше никогда не видела. Вот молодой человек шутник: «он пил чай в прикуску и приговаривал: «А люблю, грешный человек, побаловать себя китайской травкой». Никто не понимал, что все эти мелочи были мучительны для хозяйки, да и трудно было понять, так как Ольга Михайловна все время приветливо улыбалась и болтала вздор.

Чехов был в положении своих больных героев. Но те замечали шутника, «балующегося китайской травкой», только в минуту болезненной обостренности восприятий, а он, беспощадный аналитик, видел этого символического молодого человека везде и всюду. Он подбирал его словечки, прибаутки, шуточки. Рисовал его движения, поступки, ужимки.

И вероятно ему не раз было жутко, как Климову от сытого лица дамы с белыми зубами.

Но он не боялся изображать людей во весь их рост, и окруженные «горшочками для сметаны» и засохшими «кусочками колбасы для людей на кухне» («Учитель словесности»), они с их поговорочками, с их страстишками, пороками, с их опустошенными душонками — они уже становились гиперболой.

От этого ужаса его спасло лирическое постижение мира. Он знал молодость, красоту, сад, обрызганный росой, замечал снежинки, таявшие на длинных ресницах прекрасной, мелькнувшей на пути женщины, и тогда мир преображался. Тогда Анна Алексеевна ка-

залась влюбленному Алехину («О любви») «существом близким, уже знакомым, точно это лицо, эти приветливые умные глаза он видел уже когда-то в детстве в альбоме, который лежал на комоде у его матери».

Как художник Чехов для своего времени был подлинным революционером, сломавшим старые формы русской прозы. Он действительно проложил «новые пути», создав «маленький рассказ» со сгущенным содержанием, новеллу, насыщенную психологически, но лишенную действенно развивающегося сюжета.

Поколение дореволюционных писателей — Ив. Бунин, С. Сергеев-Ценский, Ив. Шмелев, Б. Зайцев, не говоря о сотнях Лазаревских, — прошло через чеховскую школу. Тот импрессионизм, который является её отличительным признаком, оставался надолго господствующим в русской художественной литературе. Русские символисты почерпнули у Чехова и смелость его метафор, и четкость скупого рисунка, и меткость сравнений, и рельефность образов, и краски пейзажа, и ритмичность его мужественной прозы, и музыкальность его лирики. Но по существу эти чеховские приемы были взяты механически, без проникновения в глубину содержания чеховского творчества.

Рассказы подражателей Чехова вялы, слащавы, лишены какого бы то ни было социального значения. В особенности был дурно понят Чехов-драматург, и сотни драмоделов, писавших «под Чехова», засорили репертуар русского театра пьесами, совершенно лишенными и внешнего и внутреннего действия. Это были произведения, в которых только и рассказывалось, как люди спят, едят, носят свои пиджаки.

Подражали Чехову и некоторые писатели пооктябрьского периода: нечто «чеховское» звучало и в ранних рассказах Б. Пильняка, и у Е. Замятина, и у В. Лидина. Но эти чеховские веяния, в которых было лишь внешнее подражательство приемам Чехова, должны были рассеяться. «Чеховская форма» переставала быть современной, делалась той необходимой ступенью, не перешагнув которую нельзя итти вперед. Современные русские писатели будут учиться у Чехова не «чеховским настроениям», а глубине его, его чудесному искусству вскрывать «подводное течение» человеческих чувств, его сжатому диалогу, его изумительному языку.

Чехов не был завершителем приемов классической русской литературы. На нем почти не отразился Гончаров, Тургенев, Толстой. Если можно найти у него влияние Гоголя, сказавшееся в работе над словом, то все же основное в чеховской манере, в манере построения «компактного маленького рассказа», идет, конечно, от западноевропейской классики, и в особенности от Мопассана, которого сам Чехов признавал своим учителем. В свою очередь творчество Чехова оказало большое влияние на западноевропейскую литературу. Чеховский импрессионизм был воспринят норвежцем Г. Бангом, «чеховское» звучало и у Б. Келлермана.

Особенно сильное воздействие оказывает Чехов на некоторых из современных английских писателей, например, на Катерину Менсфельд. «По-чеховски» изображает лишних людей мелкобуржуазной провинциальной Америки Шервуд Андерсон. Можно найти чеховское звучание и у Дос-Пассоса, и у Хемингуея, и у Джойса.

Охотно играют в Европе, в Америке и в Японии

и пьесы Чехова. Этот «возврат» к Чехову в зарубежных странах свидетельствует лишь о том, что «потерянное поколение», как назвал Хемингуей поколение, пережившее европейскую бойню и пребывающее в тисках кризиса и фашизма, находит в Чехове писателя, настроения которого созвучны с его собственным пессимизмом, усталостью и разочарованностью. Не столько Чехов, сколько «чеховщина» — вот что привлекает сейчас зарубежных читателей.

Чехов приходит сейчас на Запад таким, каким его видели хмурые и усталые люди нашей дореволюционной действительности. Чехов приходит на Запад в ореоле той «чеховщины», от которой мы давно избавили Чехова.

Чехов в современности

Каким же приходит Чехов к нам?

Чтобы ответить на этот вопрос перевернем страницу прошлого. Посмотрим на ту «икону», которую делали из Чехова писавшие о нем историки литературы, критики и «воспоминатели» дореволюционной поры.

Было два изображения Чехова. Создалось два трафарета, с истертых клише которых изготовлялись портреты Чехова. Под одним, выросшим на утверждениях о чеховском пессимизме и безыдейности, можно было сделать такую подпись:

«Поэт лишних людей пишет в сумерках о хмурой русской жизни».

Другое изображение рисует Чехова опять-таки «поэтом», но на этот раз — поэтом «сладкой мечты о той жизни, которая будет невообразимо прекрасной через двести-триста лет».



Антон Чехов перед своим портретом в Третьяковской галерее в Москве

С карикатуры Ал. Ал. Хотяинцевой

Как бы посмеялся сам Чехов над этими своими «портретами».

«Поэтами, милсдарь, считаются только те, которые употребляют такие слова, как «серебристая даль», «аккорд» или «на бой, на бой, в борьбу со тьмой». Это он сказал И. Бунину, когда тот попробовал назвать его поэтом.

Но даже такой исключительный мемуарист, как Короленко, и тот приписал Чехову какую-то «печаль о призраках».

С. Елпатьевский в свою очередь наделяет Чехова влечением «к тихим долинам с их мглою, туманными мечтами и тихими слезами».

Куприн заставляет Чехова произнести пышный монолог на тему о том, что «через триста лет вся земля обратится в цветущий сад».

Эти восторженные общие места, долженствующие дать представление о чеховском о п т и м и з м е, в сущности, столь ж фальшивы и лицемерны, как и суждения о чеховском п е с с и м и з м е.

И совершенно прав М. Е. Кольцов, который писал, что «Чехов должен быть разгримирован. Мы должны вернуть его в подлинном виде огромным массам нового, пролетарского читателя, как неиссякаемый источник художественных образов, как обличителя отмирающей, но еще живой «интеллигентщины» (в старом смысле), как беспощадного изобразителя всех слабых и отсталых, слякотных сторон формирующегося заново российского гражданина».

В фактах, приводимых в нашей книге, развертывалась биография мужественного человека, с успехом выдавливающего из себя по каплям раба, — человека, свой жизненный путь начавшего с преклонения перед чужими мыслями, но воспитавшего в себе чувство то-



А. П. Чехов (последние годы)

Фото с карандашного портрета художника Панова
Из собр. Лит. музея при б-ке СССР им. Ленина



Кабинет А. П. Чехова в Ялте

С рис. худ. Средина
Из собр. Лит. музея при б-ке СССР им. Ленина

го широкого кругозора, который утверждает, что человеку нужно не три аршина земли, необходимые трупу, а весь шар земной, на пространстве которого он может проявить свободу своего человеческого духа.

Мы видели, что путь внутреннего освобождения был путем трудным, извилистым и приводившим, казалось бы, в такие моральные тупики, откуда нельзя выбраться на широкую прямую дорогу. Но Чехов каждый раз призывал на помощь свою чуткость, свою ненависть к авторитетам, свое безграничное уважение к человеческому гению и находил выход.

Рассказ о его жизни был поэтому рассказом о морально выпрямившемся человеке. Но ведь этого мало для того, чтобы зачислить Чехова в число тех людей, жизнь и творчество которых достойны не только нашей любви или нашего восхищения, но и нашего изучения.

Каким представлялся нам Чехов? Человеком огромного социального оптимизма, натурой активной, деятельно проявившей себя хотя бы в скромной сфере культуртрегерства — в качестве земского врача, попечителя и строителя школ и пр. и пр. Это был человек большой воли, страстной жажды жизни и новых впечатлений, — отсюда его мечты о далеких путешествиях; человек, наконец, умеющий стоически переносить свои физические страдания.

Но выразителем чьей идеологии он был?

На этом надо остановиться для того, чтобы уяснить себе образ Чехова в диалектике его противоречий.

Вспомним: он вошел в литературу в эпоху полного разгрома народничества и народовольчества. Антоша Чехонте беззаботно смеялся в «Будильниках» и в «Осколках» в годы казней, ссылок, политического

террора, в годы, когда над русской жизнью серой летучей мышью распластывались крылья мракобеса Победоносцева.

Он ничего не воспринял от народничества, идеология которого была ему совершенно чужда, что и сказалось на цикле его крестьянских рассказов (в особенности в «Мужиках»), по которым был открыт обстрел со всех уцелевших народнических позиций.

Чехов стал писать в эпоху дворянского оскудения, замечательные картины которого он дал в целом ряде своих рассказов, завершив их «Вишневым садом». Но наряду с этими, хорошо изученными Чеховым общественными явлениями разложения помещичье-дворянского землевладения, в эти же годы выростало в стране рабочее движение и могуче развивался капитализм.

Но Чехов ни на одну минуту не стал марксистом, о марксизме он имел понятие крайне смутное, хотя уже и появились книги Плеханова и Ленина. Заметим здесь же, что, не примкнув ни к народникам, ни к марксистам, Чехов, как это мы это показали на целом ряде примеров в этой книге, не увлекся ни игрой в эстетические бирюльки, ни мистикой, ни религией. Он совершенно правильно оценивал «религиозное» увлечение русской интеллигенции, говоря, что она «в религию играет от нечего делать».

Материалист Чехов «только с недоумением», как писал он, глядел на всякого религиозно-мыслящего и чувствующего интеллигента. Сумел он избавиться и от толстовщины. Против «неделания», «непротивленчества» и «опрощенчества» направил Чехов идеологическое острие таких своих рассказов, как «Палата № 6», «Моя жизнь», «По делам службы» и др.

Нельзя отказать ему и в совершенно правильной

постановке вопроса о положении трудящихся. В повести «Моя жизнь» он писал, что «и в самый разгар освободительных идей так же, как и во времена Батыя, большинство кормит, одевает и защищает меньшинство, оставаясь само голодным, раздетым и беззащитным... Такой порядок прекрасно уживается с какими-угодно веяниями и течениями, потому что искусство порабощения тоже культивируется постепенно. Мы уже не дерем на конюшне наших лакеев, но мы придаем рабству утонченную форму. У нас идеи — идеями, но если бы теперь, в конце XIX века, можно было бы взвалить на рабочих еще также наши самые неприятные физиологические отправления, то мы взвалили бы и, потом, конечно, говорили бы в свое оправдание, что если, мол, лучшие люди, мыслители и великие ученые станут тратить свое золотое время на эти отправления, то прогрессу не может не угрожать опасность».

Но вот замечательный рассказ Чехова «Случай из практики». Доктор Королев вызван к заболевшей Ляликовой — молодой девушке, владелице огромной фабрики. Доктор, когда видел какую-нибудь фабрику издали или вблизи, «то всякий раз думал о том, что вот снаружи все тихо и смирно, а внутри должно быть непроходимое невежество и тупой эгоизм хозяев, скучный, нездоровый труд рабочих, дрязги, водка, насекомые». Глядя на корпуса и бараки, где спали рабочие, доктор опять думал о том, о чем думал всегда, когда видел фабрики:

«Пусть спектакли для рабочих, волшебные фонари, фабричные доктора, разные улучшения, но все же рабочие, которых он встретил сегодня, ничем не отличаются по виду от тех рабочих, которых он видел давно в детстве, когда еще не было фабричных спек-

таклей и улучшений. Он, как медик, правильно судивший о хронических страданиях, коренная причина которых была непонятна и неизлечима, на фабрики смотрел, как на недоразумение, причина которого была тоже неясна и неустранима, и все улучшения в жизни фабричных он не считал лишними, но приравнивал их к лечению неизлечимых болезней».

Для доктора Королева все это «недоразумение».

Но и для Чехова «коренная причина непонятна и неизлечима», потому что и Чехов не понимает сущности капиталистической системы. Он готов взывать к чувствам эксплоататоров, не постигая причин происхождения эксплоатации. Чехов не может вырваться из некоей ограниченности. Корни той мелкобуржуазной среды, из которой он вышел, питают его творчество.

Но Чехов не мирится со злом. Он желает улучшений, он предъявляет к человеку настойчивые требования: будь милосерден, будь человечен, будь справедлив, будь добр, пусть у твоего крыльца стоит человек с молоточком и стуком своим напоминает, что есть в мире несчастные.

Чехов выступает, как выразитель идеологии радикальной буржуазии. Он вместе с нею за культуру, за грамотность, за школы, он вместе с нею против унтера Пришибеева, против азиатчины, против бесправия, против самодержавия. И вместе с нею — с этой радикальной буржуазией, к которой он примкнул, пережив кризис своих переломных лет, он против революции. Он даже уверен, что революции в России никогда не будет.

Он весь на эволюционной точке зрения. И в этом смысле чрезвычайно выразителен спор, который в его повести «Три года» ведет молодой ученый Ярцев

с адвокатом Кочевым. Ярцев утверждает, что «вследствие разности климатов, энергии, вкусов, возрастов, равенство среди людей физически невозможно. Но культурный человек может сделать это равенство безвредным. Культура делает громадные успехи на наших глазах. И очевидно, настанет время, когда нынешнее положение фабричных рабочих будет представляться таким же абсурдом, как нам теперь крепостное право, когда меняют девок на собак». Ярцев свою философию подкрепляет ссылкой на какого-то ученого, который добился того, что у него «кошка, мышь, кобчик и воробей ели на одной тарелке, и воспитание, надо надеяться, будет делать то же самое с людьми».

На эти рассуждения Ярцева адвокат Кочевой возражает так:

«Но это будет нескоро, очень нескоро. Это будет тогда, когда Ротшильду покажутся абсурдом его подвалы с золотом, а до тех пор рабочий пусть гнет спину и пухнет с голоду». И Костя Кочевой думает, что «если кошка ест с мышью из одной тарелки, то это она делает потому, что ее заставили силой». Но Чехов весь на стороне не Кочевого, а Ярцева. Этот ученый Ярцев для него воплощение того идеала интеллигента, о котором он мечтал все время, презирая своих «пыжиков и нытиков» и противопоставляя им путешественника Пржевальского.

Ярцев для Чехова это один из тех «отдельных людей, разбросанных по всей России, которые — сила». Он верит в о т д е л ь н ы х л ю д е й и не верит в «лицемерную, фальшивую, истеричную, невоспитанную, ленивую интеллигенцию». Но и радикальная русская буржуазия, мечтавшая о конституции, не верила в эту чеховскую интеллигенцию, ибо она своей ленью,

истеричностью, фальшивостью мешала осуществлению политических идеалов российской радикальной буржуазии.

Исторический смысл и значение Чехова в том, что он нарисовал поистине потрясающую картину, имя которой «казенная страна Россия». И был совершенно прав Горький, который писал Чехову, что он делает «огромное дело маленькими рассказиками, возбуждая в людях отвращение к этой сонной, полумертвой жизни, — чорт бы ее побрал».

И тот же Горький, оценивая цикл последних произведений Чехова, куда можно причислить такие рассказы, как «Дама с собачкой», «Человек в футляре», «Крыжовник», «В овраге», — правильно указывал на то, что здесь «каждый новый рассказ Чехова все усиливает одну, глубоко умную и нужную для нас ноту — ноту бодрости и любви к жизни». М. Горький находил, что «бодрое и обнадеживающее» пробивается у Чехова «сквозь кромешный ужас жизни».

Вот эти ноты социальной бодрости, социального оптимизма Чехова мы и угадываем, читая его рассказы. Мы вместе с ним верим, что жизнь на земле станет невообразимо прекрасной, что земля наша покроется городами замечательными, чудесными фонтанами, что вся она станет цветущим садом. Правда, Чехов думал, что это будет лет через двести-триста, может быть через тысячу — дело не в сроке. Мы же каждой нашей новой пятилеткой эти сроки бесконечно ускоряем.

Читая такие рассказы, как «Человек в футляре» или «Крыжовник», мы испытываем чувство жгучей ненависти и к этому страшному призраку — живому мертвецу, в своих калошах, под зонтиком, в груде циркуляров и предписаний укрывшегося от живой



„Человек в футляре“

Современная гравюра по дереву художника Фрама

жизни, и к этому собственнику — Чимше-Гималайскому, восторгающемуся кислым, з а т о собственным крыжовником.

Чехов заражает нас ненавистью к пошлости — к этим горшочкам со сметаной, к этим засохшим кусочкам колбасы для «людей на кухне», к этой грязной жизни с клопами, к азиатчине, к подлой боязни жить настоящими, полными человеческими чувствами, к жирному собственничеству, к страшным городам, где нет ни одного честного человека, к быту жареного гуся и теплой перины. Мещанству нанес он неотразимый удар. Пошлость была его злейшим врагом.

Но это и есть «чеховщина», в атмосфере которой жили люди всего только тридцать лет тому назад. Жили, не замечая неудобств своего житьишка, не пытаясь даже бороться с ним, а только проливая лирические слезы и вздыхая о «небе в алмазах».

Современный читатель изучит биографию Чехова, противоречия его сознания, поставит их в связь с эпохой, в которой он жил, и поймет классовую ограниченность корней его творчества.

Но современный читатель вместе с тем сумеет отделить Чехова от чеховщины. Этот читатель улыбнется наивным мечтам о прекрасной жизни через триста лет, ибо он собственными руками строит те самые замечательные города с удивительными зданиями и прекрасными фонтанами, о которых мечтал Чехов.

Он примет Чехова для того, чтобы вместе с Чеховым продолжать жестокую схватку с «чеховщиной» и борьбу с той пошлостью, которая все еще кое-где дает о себе знать и сегодня.

В этой ненависти и в этой борьбе Чехов наш союзник. И он вместе с нами в наших гордых, прекрасных мечтах о человеческом счастье.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Чехов Александр Павлович (1855—1913). Старший брат Антона Павловича. Сотрудник юмористических журналов 80-х годов, писавший под псевдонимом «А. Седой», «Алоэ», «Агафопод», «Агафопод Единицын». Отдельно изданы книги «Птицы бездомные», «Святочные рассказы». Автор статей по специальным вопросам — об алкоголизме, о пожарном деле, о душевнобольных. Написал ряд воспоминаний об А. П. Чехове: «Чехов в греческой школе» («Вестник Европы» 1907, кн. 4), «Чехов-певчий» («Вестник Европы» 1907, кн. 10), «Антон Павлович Чехов-лавочник» («Вестник Европы» 1908, кн. 10), «Первый паспорт А. П. Чехова» («Русское богатство» 1911, кн. 3), «В Мелихове» («Нива» 1911, № 26), «В гостях у дедушки и бабушки» — изд. журнала «Детское чтение».

В нашей книге приводятся отрывки из неизданной рукописи Александра Чехова о Таганроге 70-х годов. Несколько любопытных штрихов, рисующих некоторые странности этого талантливого, разностороннего, но безвольного и опустившегося к концу жизни человека, находим в книге его сына Михаила Чехова — известного актера («Путь актера»).

[2] Чехов Николай Павлович (1859—1889). Брат Антона Павловича, талантливый художник. В 80-х годах работал в тех же юмористических журналах, в которых печатался и Антон Павлович. Под многими его рисунками и карикатурами текст А. П. Николай Чехов — автор обложки первого, не вышедшего в свет, сборника рассказов А. П. Чехова — «На досуге».

[3] Чехов Иван Павлович (1863—1921). Брат Антона Павловича, известный педагог. Им написаны воспоминания о брате (посещения Чеховым в гимназическую пору таганрогского театра)— приводятся в статье Л. А. Суллержицкого «Из воспоминаний об А. П. Чехове в Художественном театре», сборник «Шиповник», кн. 23. 1910.

[4] Чехова Мария Павловна. Сестра А. П. Чехова. Педагог, редактор шеститомного собрания писем А. П. Чехова. Эти письма — важнейший вклад в литературу о А. П. Чехове, ценнейший документ для его биографии. М. П. Чехова написала также воспоминания о брате: «Поездка Чехова на Сахалин» («Красная панорама» № 28, 1929). Верная помощница брата, хозяйка Мелихова, Мария Павловна приняла на себя, по смерти Антона Павловича, заботы по охране его дома в Ялте, ныне вошедшего в сеть домов-музеев, находящихся в ведении Наркомпроса РСФСР.

[5] Чехов Михаил Павлович. Младший брат А. П. Чехова, его биограф, автор биографических очерков, приложенных к шеститомному собранию .писем А. П. Чехова, изданных под редакцией М. П. Чеховой, а также ряда воспоминаний, статей и книг о брате: «Об А. П. Чехове» (сборник «О Чехове», М. 1910), «Об А. П. Чехове» («Новое слово», кн. 1, «Чехов и его сюжеты», «Антон Чехов. Театр, актеры и Татьяна Репина» — предисловие к пьесе А. П. Чехова «Татьяна Репина», изданной в 1904 г. М. П. Чеховым. Последней книгой М. П. Чехова являются его воспоминания — «Вокруг Чехова», изд. «Академия», 1934.

[6] Тан-Богораз Владимир Германович (род. в 1854 г.). Писатель, этнограф, исследователь Севера. Автор «Колымских», «Чукотских», «Американских» рассказов, очерков «В тундре», о «Духоборцах в Канаде» и др. Учился в той же таганрогской гимназии, что и А. П. Чехов. Его статьей «На родине Чехова» («Современный мир» 1910, кн. I, также «Чеховский юбилейный сборник», М. 1910) мы пользуемся в главе о таганрогской гимназии и учителях Чехова.

[7] Сергеенко Петр Алексеевич (род. в 1854 гг.). Публицист, беллетрист, драматург, автор известной книги «Как живет и работает Л. Н. Толстой». Учился одновременно с Чеховым в таганрогской гимназии. Им написаны воспоминания о Чехове (ежемесячные приложения к «Ниве» за июль 1904 г.).

[8] Гиляровский Владимир Алексеевич (род. в 1875 г.). Беллетрист, поэт и журналист. О своей интересной жизни, полной необычных приключений и встреч, рассказал в книге «Мои скитания» (изд. «Федерация», М. 1928) и др. Написал ряд очерков о Чехове — см., например, главу «Антоша Чехонте» в книге «Друзья и встречи» (изд. «Советская литература», М. 1934).

[9] «Уткины-кичеевы» — речь идет об издательнице «Будильника» Л. Н. Уткиной и Н. П. Кичееве — сотруднике «Будильника» и других юмористических журналов 80-х годов. Н. Кичеев — автор злобной рецензии о чеховском «Иванове».

[10] Левитан Исаак Ильич (1861—1900). Знаменитый пейзажист. Друг Николая Чехова, а впоследствии и А. П. Чехова.

[11] Григорович Дмитрий Васильевич (1822—1899). Известный писатель, один из первых писателей-дворян, давший картины мужицкой жизни (знаменитый рассказ «Антон-горемыка»). Крестьянская жизнь изображалась Григоровичем в тонах сантиментального барского либерализма.

[12] Скабичевский Александр Михайлович (1838—1910). Критик, автор «Истории новейшей русской литературы» (1848—1908). Здесь статьи Скабичевского о Чехове. Вопреки распространенному мнению о Скабичевском, как о критике, отрицавшем у Чехова наличие «идей», следует отметить, что статья его «Есть ли у Чехова идеалы?» отвечает на вопрос, признавая за Чеховым определенное художническое миросозерцание.

[13] Короленко Владимир Галактионович (1851—1921). Известный писатель-беллетрист и публицист. Крупный общественный деятель, соредактор журнала «Русское богатство». Написал о Чехове воспоминания: «Памяти Антона Павловича Чехова» («Сборник о Чехове», М. 1910). Издана переписка А. П. Чехова с В. Г. Короленко (Собрание музея имени А. П. Чехова в Москве). Редакция и вступительная статья Н. К. Пиксанова, рисующая взаимоотношения Чехова и Короленко (изд. И. Д. Сытина, М. 1923).

[14] Михайловский Николай Константинович (1842—1904). Публицист, критик, социолог, примыкавший к народническому направлению, и в начале 80-х годов очень близкий к народовольцам. Со смертью Некрасова был одним

из редакторов «Отечественных записок». Пользовались популярностью его социалистические очерки и статьи: «Что такое прогресс», «Теория Дарвина и общественная наука», «Борьба за индивидуальность», «Герои и толпа», «Десница и шуйца Льва Толстого», «Жестокий талант». Как социолог, Михайловский является продолжателем Лаврова. Его полное собрание сочинений издано в 1905 году. Здесь в четвертом томе статья о «Палате № 6» Чехова, а в шестом об «Иванове». Во втором томе сборника его статей «Отклики» — статья о «Мужиках» Чехова.

Михайловский рассматривал Чехова, как писателя такой «объективности», которая позволяет художнику относиться с «одинаковым вниманием и к самоубийце и к колокольчику» (См. статью Н. Клестова «Чехов и Михайловский» — «Современный мир», 1915, кн. 12).

15 Успенский Глеб Иванович (1840—1902). Известный писатель, автор очерков «Нравы Растеряевой улицы», «Власть земли», «Больная совесть», «Живые цифры» и др. Полное собрание сочинений Успенского, со статьей Михайловского и биографией, составленной Рубакиной, издано Марксом в 1908 году. Успенский — писатель-народник, один из самых страстных борцов за правду-справедливость». Болел тяжелым душевным недугом, умер в психиатрической больнице.

16 Буренин Виктор Петрович (1841—1926). Поэт, драматург, публицист. Сотрудник радикальных «Отечественных записок» и либерал 60-х годов, Буренин в 70-х годах переходит в реакционный лагерь и становится деятельнейшим участником «Нового времени», в котором печатает проникнутые духом шовинизма и национализма критические статьи и злостные памфлеты (под псевдонимом «Алексис Жасминов»).

17 Плещеев Алексей Николаевич (1825—1893). Поэт, участник кружка Петрашевского. Печатался в «Отечественных записках», затем в «Северном вестнике».

18 Полонский Яков Петрович (1819—1898). Известный поэт, написавший также ряд беллетристических произведений. Опубликованы его письма к А. П. Чехову в сборнике «Слово» (М. 1914). Полонский посвятил Чехову стихотворение «У двери», а Чехов посвятил ему рассказ «Счастье», о котором отзывался, как о своем «лучшем рассказе».

19 Лазарев-Грузинский Александр Семенович (1861—1927). Беллетрист, сотрудник юмористических из-

даний восьмидесятых-девяностых годов, «Нового времени», «Новостей дня», «Нивы». Близко знал Чехова эпохи «Антоши Чехонте» и написал о нем ряд воспоминаний, частью еще неопубликованных.

[20] Гнедич Петр Петрович (1855—1925). Беллетрист и драматург. Много писал о Чехове. См., например, «Из записной книжки» — в «Международном толстовском альманахе», составленном П. А. Сергеенко, и «Листки из записной книжки» в «Историческом вестнике» (1909 год, книга первая).

[21] Чайковский Петр Ильич (1840—1893). Знаменитый композитор. Его произведения проникнуты чувством гнетущей тоски, тревоги, одиночества, пессимизма. Социальные корни его творчества вскрыты в статьях А. В. Луначарского и во вступительной статье к «Переписке П. И. Чайковского с фон-Мекк» (изд. «Academia» [illegible]34). В сборнике «Слово» опубликованы письма П. И. Чайковского к Чехову. К таланту Чехова Чайковский питал восторженные чувства. Один из рассказов Чехова «Хмурые люди» посвящен Чайковскому.

[22] Линтварева Зинаида Михайловна. Чехов напечатал в »Новом времени» ее некролог. См. собрание сочинений Чехова кн. 20 (приложение к журналу «Огонек» за 1929 год).

[23] Гаршин Всеволод Михайлович (1855—1888). Известный писатель, рассказы которого проникнуты упадочническими настроениями русской интеллигенции 80-х годов. Сам В. М. Гаршин был жертвой сумеречных настроений своей эпохи. Он говорил о себе, что пишет «одними своими несчастными нервами и каждая буква стоит капли крови».

В таких рассказах, как «Надежда Николаевна», «Ночь», «Художники» Гаршин ставил наиболее острые вопросы своей эпохи. В «Художниках» поставлена проблема об «идейном художестве», причем Гаршин весь на стороне своего Рябова, который пишет картину «Глухарь», с исключительной силой изображающую физические страдания рабочего на производстве. Война нашла свое изображение в замечательных рассказах Гаршина «Четыре дня» и «Из воспоминаний рядового Иванова».

Гаршин очень увлекался рассказами Чехова, предсказывая ему громкую известность. «Степь» произвела на него особенно сильное впечатление. Буквально за несколько дней до своей трагической смерти он все твердил о чеховской повести,

говоря, что, прочитав ее, он чувствует себя так, «точно нарыв прорвался».

[24] Надсон Семен Яковлевич (1862—1887). Очень популярный в 80-х годах поэт, отражавший в своих стихах пессимистическое настроение интеллигенции. Он говорил о себе: «И посреди бойцов я не боец суровый, а только стонущий, усталый инвалид, смотрящий с завистью на их венец терновый». Его поэзия — это «мгла безнадежности», это песни об «облетевших цветах» и «догоревших огнях». Его стихотворения, выпущенные Литературным фондом, выдержали 27 изданий. Полное собрание произведений Надсона издано Марксом в 1917 году.

[25] Фофанов Константин Михайлович (1862—1911). Поэт, продолжатель «фетовских» настроений,— лирик, воспевший «искусство для искусства» и принципиально отвергавший в стихах гражданские и общественные мотивы. Сборник его стихотворений в пяти частях был издан в 1896 году, а лучший сборник его стихов — «Иллюзии» вышел в 1900 году в изд. Суворина.

[26] Ясинский Иероним Иеронимович (1850—1931). Беллетрист и критик, журналист. Многие его произведения вышли под псевдонимом «Максим Белинский». Им написана книга воспоминаний, в которой много страниц об А. П. Чехове — «Роман моей жизни» (ГИЗ, 1926).

[27] Минский (Виленкин) Николай Максимович (род. в 1885 г.). Поэт и драматург. Философ-идеалист, богоискатель, основатель Религиозно-философского общества. Создатель теории «меонизма», в которой утверждалось, что «истинной святыней может быть только внежизненная правда, только небытие». Ныне в эмиграции.

[28] Вересаев (Смидович) Викентий Викентьевич (род. в 1867 г.). Беллетрист. Собрание его сочинений издано Марксом в 1913 году и повторено «Книгоиздательством писателей в Москве». В 1896 году вспыхнула знаменитая стачка ткачей, оказавшая на складывающееся миросозерцание Вересаева решающее значение — он примкнул к литературному кружку марксистов. В таких своих больших произведениях, как «Без дороги» (1895), «Поветрие» (1897), «На повороте» (1902), «К жизни» (1908), «В тупике» (1922) Вересаев изобразил разнообразнейшие настроения русской интелли-

генции и в особенности той ее части, которая бродила сперва без дороги и сделала позже поворот, приведший ее к активному участию в борьбе за новые формы жизни.

Герои Вересаева целиком на стороне рабочего движения. «В тупике» изображает новый прилив колебаний и сомнений тех групп русской интеллигенции, которые после Октября почувствовали себя «в тупике». Широкой популярностью пользуются книги Вересаева «Пушкин в жизни» (он давний и усердный пушкинист) и «Гоголь в жизни». О Чехове им напечатаны воспоминания — «А. П. Чехов и встречи с ним» (в «Красной панораме» за 1929 год, № 28).

[29] Щеглов (Леонтьев) Иван Леонтьевич (1856—1911). Беллетрист и драматург. Его воспоминания о Чехове напечатаны в ежемесячном приложении к «Ниве» за 1905 год, № 6—7.

[30] Немирович-Данченко Владимир Иванович (род. в 1858 г.). Беллетрист, драматург, основавший вместе с К. С. Станиславским в 1897 году Московский Художественный театр.

Ему принадлежит историческая заслуга включения Чехова в репертуар МХАТа. Им также написаны вступительные статьи к книгам Н. Эфроса о пьесах Чехова в Художественном театре.

Товарищ Чехова по сотрудничеству в изданиях восьмидесятых годов, Немирович-Данченко был близок с Чеховым и позже. См. его воспоминания — «Гостеприимство Чехова» в журнале «Солнце России» («чеховский номер», 1914). Цитируемые в этой книге отрывки из воспоминаний Немировича-Данченко взяты из принадлежащих ему мемуаров. (В отрывках приведены в книге Юр. Соболева — «Вл. И. Немирович-Данченко», «Светозар», Птгр. 1917).

[31] Билибин Виктор Викторович. Сотрудник юмористических изданий, драматург и водевилист, секретарь «Осколков».

[32] Кеннан Джордж (1845—1924). Северо-американский писатель, автор книги «Сибирь и ссылка» (1891), запрещенной царской цензурой и ставшей доступной русским читателям лишь после 1905 года.

Гумбольт Александр (1769—1859). Знаменитый германский естествоиспытатель, путешественник, обследовавший также в 1829 году Нижний и Средний Урал.

33 Кони Анатолий Федорович (1844—1926). Известный судебный деятель либерального оттенка, академик, автор четырех томов воспоминаний под общим заглавием «На жизненном пути». Оставил о Чехове воспоминания, напечатанные в сборнике «А. П. Чехов», изд. «Атеней». Лнгр. 1925. Есть и отдельное издание — Лнгр. 1925.

34 Мережковский Дмитрий Сергеевич (род. в 1860 г.). Критик, публицист, поэт и романист. Пользовались популярностью его этюды о писателях (Пушкин, Достоевский, Гончаров, Плиний, Кальдерон, Сервантес, Ибсен) под общим заглавием «Вечные спутники». Выпустил исследования «Толстой и Достоевский», «Гоголь и чорт», «Лермонтов — поэт сверхчеловечества» и др. Исторические романы: трилогия «Христос и Антихрист» — «Отверженный», «Воскресшие боги», «Петр и Алексей» — затем роман «Александр I» и пьеса »Павел I».

Мережковский с 1900 года стал во главе «богоискательства» и так называемого «неохристианства», один из основателей Религиозно-философского общества. Философ-идеалист, поэт-символист, мистик, Мережковский вскоре после Октября эмигрировал за границу и является одним из непримиримейших врагов советской власти. Много писал о Чехове: «Старый вопрос по поводу нового таланта« («Северный вестник» 1898, кн. 11), «Творчество из ничего» («Весы», кн. 11, 1905), «Чехов и Горький» в сборнике «Грядущий хам» (1906), «Брат человеческий» в «Чеховском юбилейном сборнике» М. 1910.

35 Астырев Николай Михайлович (1857—1894). Писатель-народник, автор известной книги — «В волостных писарях». Прокламация, о которой говорит А. П. Чехов, была написана Астыревым и издана «группой народовольцев» под заглавием «Первое письмо голодающим крестьянам». Был привлечен к суду, пробыл в тюрьме и ссылке четыре года. Похороны его сопровождались политической демонстрацией. (См. статью М. С. Александрова «Группа народовольцев». «Былое» 1906, кн. 11 и первую часть книги Л. П. Меньшикова «Охрана и революция», М. 1925).

36 Гольцев Виктор Александрович (1850—1906). Публицист, редактор «Юридического вестника», «Русского курьера» и «Русской мысли», популярный либеральный

деятель. Написал о Чехове ряд статей в «Русской мысли», 1904, кн. 5, «Семья и школа» 1904, «Русских ведомостях», 1906, № 170. В девятисотых годах — один из близких Чехову людей.

[37] Лавров Вукол Михайлович (1852—1911). Издатель и редактор «Русской мысли», переводчик Сенкевича, Конопницкой, Ожешко и других польских писателей. В 90-х годах — приятель Чехова.

[38] Комиссаржевская Вера Федоровна (1864—1910). Известная драматическая артистка. Первая исполнительница роли Нины Заречной в «Чайке» на сцене Александринского театра. В основанном Комиссаржевской «Драматическом театре» с огромным успехом играла Соню в чеховском «Дяде Ване».

[39] Мопассан Гюи (1850—1893). Знаменитый французский писатель. В таких произведениях как «Жизнь», «Милый друг», «Монт Ореоль», «Сильна как смерть», «Наше сердце» он дает ярчайшую картину нравов французского общества и едко издевается над «традициями» буржуазии, которую ненавидит. Многие его произведения овеяны глубоко скорбными настроениями. Пессимизм Мопассана имеет своими истоками классовую ограниченность сознания Мопассана, не нашедшего выхода из тупика социальных противоречий, которые он остро чувствовал.

Мопассан — виднейший представитель новой формы повествования — новеллы. Мастерство Мопассана оказало огромное влияние на «маленький рассказ» Чехова. Чехов неустанно восхищался Мопассаном, говоря о нем, что «как художник слова Мопассан поставил такие огромные требования, что писать по старинке сделалось больше невозможным». А. С. Суворин записал в своем «Дневнике», что Чехов, достаточно изучивший французский язык, собирается переводить Мопассана. Наиболее полное собрание сочинений Мопассана в русском переводе издано «Шиповником», в тридцати томах (1914).

[40] Золя Эмиль (1840—1902). Знаменитый французский писатель, один из последователей натуралистической школы. В двадцати томах романов, составивших цикл «Ругон-Макары», с беспощадной силой изобразил время Наполеона III — «странную эпоху безумия и позора». «Ругон-Макары» — это естественная и социальная история одного семейства во время

Второй империи. В этом цикле особенно интересны романы: «Карьера Ругона», «Чрево Парижа», «Ошибка аббата Мурре», «Нана», «Страница любви», «Дамское счастье», «Жерминаль», «Творчество», «Земля», «Накипь», «Доктор Паскаль».

После Ругонов Золя создает цикл романов о городах: «Лурд», «Рим», «Париж», обличающих проделки католического духовенства и являющихся романами антиклерикальными. Сторонник демократии, Золя, однако, не понимал корней классовых конфликтов и верил в возможность «мирного договора» между капиталистами и рабочими.

Лучшее русское издание Золя вышло несколько лет назад в изд-ве «Земля и фабрика». Чехов высоко ценил выступление Золя в пользу невинно осужденного Дрейфуса. Узнав о смерти Золя, Чехов писал жене: «Сегодня мне грустно, умер Золя. Это так неожиданно и как будто некстати. Как писателя, я мало любил Золя, но зато как человека, в последние годы, когда шумело дело Дрейфуса, я оценил его высоко».

[41] Станиславский Константин Сергеевич (род. 1863). Знаменитый режиссер, основавший вместе с Вл. И. Немировичем-Данченко Московский Художественный театр. Постановщик пьес Чехова и исполнитель Тригорина, Астрова, Вершинина, Гаева и Шабельского в чеховских пьесах. В своей замечательной книге «Моя жизнь в искусстве» целый ряд глав—«Линия интуиции и чувства», «Приезд Чехова», «Поездка в Крым», «Три сестры», «Вишневый сад» — посвятил Чехову.

[42] Елпатьевский Сергей Яковлевич (1854—1933). Беллетрист. Изданы три тома собраний его сочинений в изд-вах «Общая польза» и «Знание». Ялтинский домовладелец, он был ближе к Чехову в его предсмертные годы и оставил о нем воспоминания (см. книгу «Близкие тени» — Успенский, Михайловский, Чехов, Гарин — и «Литературные воспоминания», М. 1918).

БИБЛИОГРАФИЯ И ИСТОЧНИКИ

1. Рукописные материалы

А. Седой (Ал. П. Чехов). Таганрогская гимназия за 1866—76 гг.

Александр Чехов. Письма к А. П. Чехову.

Чехова Ев. Як. Письма к Антону Чехову.

Чехов Павел Ег. Дневник.

Л. С. Мизинова. Письма к А. П. Чехову.

Документы, официальные повестки и пр.

Все перечисленные материалы — из личного архива А. П. Чехова, хранящегося в отделе рукописей Всесоюзной библиотеки имени В. И. Ленина.

Неопубликованная рукопись воспоминаний о Таганроге семидесятых годов В. В. Зелененко.

2. Печатные материалы

Биографии:

Измайлов А. А. Чехов А. П. (1860—1904). Жизнь — личность — творчество. Биографический набросок. Изд. Сытина. М. 1916.

Мускатблит Ф. Биография Чехова (с 1860 по конец 80-х годов) в сборнике «Русская быль» — А. П. Чехов. М. 1910.

Коган П. С. А. П. Чехов, биографический очерк. Изд. «Московский рабочий». М. 1929.

Фриче В. А. П. Чехов. Биографический очерк. В кн. I собрания сочинений А. П. Чехова. Приложение к журн. «Огонек», 1929 (и в повторенном ГИЗом собрании сочинений Чехова. М. 1930).

Материалы для биографии

Чехов Мих. П. Биографические очерки к каждому из шести томов писем А. П. Чехова, под ред. Марии Павл. Чеховой. Изд. «Товарищество писателей» в Москве. М. 1912—1916.

Чехов Мих. П. Вокруг Чехова, встречи и впечатления. Изд. «Академия». М.—Лнгр. 1933.

Чехов Мих. П. Антон Чехов и его сюжеты. М. 1923.

Книппер-Чехова О. Л. Несколько слов об А. П. Чехове (1898—1904 годы). Вступительная статья к сборнику «Письма А. П. Чехова к О. Л. Книппер-Чеховой». Книгоизд-во «Слово». Берлин 1924.

Горький М. Воспоминания. А. П. Чехов. Изд-во «Книга». Берлин 1923.

Кони А. Ф. Воспоминания о Чехове. Изд. «Атеней». Лнгр. 1925.

Суворина А. И. Воспоминания о Чехове. В сборнике изд-ва «Атеней». «А. П. Чехов. Затерянные произведения, неизданные письма, воспоминания, библиография». Труды Пушкинского дома при Российской академии наук.

Щепкина-Куперник Т. Л. В юные годы. (Мои встречи с Чеховым и его современниками.) В том же сборнике и в книге Т. Л. Щепкиной-Куперник «Дни моей жизни». Изд-во «Федерация» М. 1928.

Суворин А. С. Дневник. Ред., предисл. и примечания Мих. Кричевского. Изд. Л. Д. Френкеля. М. Птр. 1923.

Соболев Юрий. Вл. И. Немирович-Данченко. Изд-во «Светозар» Птр. 1918.

Станиславский К. С. Моя жизнь в искусстве. Изд-во «Академия» 1928.

Сергеенко П. А. Л. Н. Толстой и А. П. Чехов. В книге «Л. Н. Толстой». Сборник т-ва «Образование». М. 1910.

Соболев Юрий. Московский Художественный театр. Изд-во «Теакинопечать» М. 1929.

Суллержицкий Л. А. Из воспоминаний об А. П. Чехове в Художественном театре. Альманах 23-й «Шиповника».

Бельчиков Н. Ф. Неизвестный опыт научной работы Чехова. В сборнике «Чехов и его среда». Изд-во «Академия» 1930.

Мышковская Л. Чехов и юмористические журналы восьмидесятых годов. Изд-во «Московский рабочий». М. 1929.

Малинин. А. П. Чехов в Богимове, бывш. Тарусского уезда. Калуга 1931.

Опалов В. Чехов в Крыму. Крым. Госиздат 1930.

Дерман А. «Академический инцидент». (История ухода из Академии наук В. Г. Короленко и А. П. Чехова в связи с «разъяснением» М. Горького.) По материалам В. Г. Короленко. Крымиздат. Симферополь 1923.

Соболев Юрий. Из ранних критических отзывов о Чехове. В книге Соболева «Антон Чехов — неизданные страницы». Изд-во «Северные дни» М. 1916.

Груздев И. А. Максим Горький. Биографический очерк. Изд-во «Кубуч». Лнгр. 1925.

Ленин и Толстой. Сборник «Классики марксизма о Толстом». Изд-во «Коммунистическая академия». М. 1928.

Орлов В. И. Студенческое движение Московского университета в XIX столетии. Изд-во «Политкаторжан». М. 1934.

Щеголев П. Чехов и либералы в 1888 году. «Красная нива» № 29, 1929.

Потапенко И. Н. Несколько лет с А. П. Чеховым. Воспоминания. «Нива» №№ 26, 27, 28 — 1914.

Немирович-Данченко Вл. И. Гостеприимство Чехова. «Солнце России». № 228/25. 1914.

Сочинения и письма А. П. Чехова

Антон Чехов. Собрание сочинений. 24 книги. Приложение к журналу «Огонек» за 1929 г. Под ред. А. В. Луначарского и редколлегии в составе: С. Д. Балухатого, Е. Д. Зозули, М. Е. Кольцова и Г. Б. Сандомирского. С примечаниями, комментариями С. Д. Балухатого и статьями: Балухатый С. Д. «Мелкие журнальные произведения Чехова», Кольцов М. Е. «Чехов-фельетонист», Лейтнекер Е. Е. «Чеховские места и музеи», Луначарский А. В.— Предисловие, Сандомирский Г. Б. «Чехов и каторга», Соболев Ю. В. «Чехов-драматург», Теодорович И. А. «Чехов и крестьяне», Фриче В. М. «Биографический очерк», Яковлев А. С. «Как писал Чехов».

Это же собрание было повторено ГИЗом в 1930-31 гг. Вышло 10 томов. Указанные собрания — самые полные.

Письма А. П. Чехова, под ред. Мар. Павл. Чеховой, 6 то-

мов, Изд-во «Товарищество писателей в Москве» 1912—1916 гг. Первые три тома вышли повторными изданиями.

Письма А. П. Чехова к О. Л. Книппер-Чеховой, под ред. Е. Н. Коншиной. Книгоизд-во «Слово». Берлин 1924. В ближайшее время эти письма вместе с письмами О. Л. Книппер к А. П. Чехову выходят под ред. А. Б. Дермана в изд-ве «Мир», Москва.

А. П. Чехов. Неизданные письма. Предисл. В. И. Невского. Вступит. статья и ред. Е. Е. Лейтнеккера. Труды Публичной библиотеки СССР им. В. И. Ленина. Госиздат. 1930.

Основная библиография

Масанов И. Ф. Систематический указатель литературы о Чехове и его творчестве. Вводная статья и ред. А. Б. Дермана. Центральная книжная палата РСФСР. М. 1929.

Соболев Юрий. Указатель литературы о Чехове (1917—1929). Приложение — список всех отдельных книг о Чехове и всех сборников о нем с 1904 года. В «Чеховском сборнике». Труды общества имени А. П. Чехова и его эпохи. М. 1929. И в книге Юр. Соболева «Чехов». Изд-во «Федерация» 1930.

Фридкес А. М. Описание мемуаров о Чехове. Изд-во «Академия» 1930.

Кленский М. П. Библиографический список сочинений Чехова (1880—1904). В сборнике «А. П. Чехов». Труды Пушкинского дома при Рос. академии наук. Изд-во «Атеней». Лнг. 1925.

Сборник критических статей о Чехове

Вейнберг М. (составитель). Критическое пособие. Том IV. Вып. 2. М. 1914.

Лысков И. П. Чехов в понимании критики. (Материалы для характеристики его творчества.) М. 1905. В 1914 г. книга переиздана под заголовком «К десятилетию смерти Чехова».

Покровский В. И. А. П. Чехов. М. 1907.

Покровский Н. А. П. Чехов в значении русского писателя-художника. Из критической литературы о Чехове. М. 1906.

В этих сборниках даны — в выдержках отзывы критики о Чехове с 1885 по 1905 годы.

Сборники статей и воспоминаний о Чехове.

На памятник Чехову. СПБ. 1906: А. П. Чехов по воспоминаниям о нем — Батюшкова; стихотворения; из переписки А. П. Чехова.

О Чехове. Воспоминания и статьи. Изд. Чеховской библиотеки. М. 1910. См. Воспоминания — Авиловой, Бунина, Белоусова, Горького, Елпатьевского, Карпова, Короленко, Куприна, Ладыженского, Легра, Сергеенко, Тихонова, Чехова Михаила, Федорова.

Юбилейный сборник о Чехове. Изд. «Учительского дома». М. 1910. Составили Семенов Н. и Тулупов Н.

«Слово», сборник второй. К десятилетию смерти А. П. Чехова. Книгоиздательство писателей в Москве, 1914. См. письма к Чехову Григоровича, Михайловского, Чайковского, Полонского, Плещеева.

Львов-Рогачевский В. А. А. П. Чехов в воспоминаниях современников и его письмах. Историко-литературная библиотека под ред. Бродского и др. Вып. 3. Изд. «В. В. Думнова, насл. бр. Салаевых». М. 1923.

А. П. Чехов. Затерянные произведения, неизданные письма, воспоминания, библиография. Под ред. Беляева и Долинина. Труды Пушкинского Дома при Рос. академии наук. Изд. «Атеней». Лнг. 1925. См. неизданные письма Чехова к Меньшикову, Тихонову-Луговому, Гаршиной, Ясинскому, Урусову, Безобразову, Л. Л. Толстому; воспоминания Сувориной, Кони, Щепкиной-Куперник.

«Чехов» — из мемуарных материлов, составила Вал. Фейдер. Изд-во «Академия». 1928.

О Чехове в отдельных книгах и сборниках

Ольминский М. С. По вопросам литературы. Статьи 1900—1914 годов. Предисл. Лелевича. Изд. «Прибой». Л. 1926.

Луначарский А. В. Литературные силуэты. Сборник статей. Статья «Чем может быть А. П. Чехов для нас». Эту статью смотри также в журн. «Печать и революция», кн. V, 1924 г. и в сборниках: 1. «Чехов» — библиотека писателей для школ, изд. «Никитинские субботники»; 2. «Чехов» — пособие для школ, под ред. Фриче. ГИЗ. 1928.

Воровский В. Русская интеллигенция и русская литература. Статья о Чехове — «Лишние люди». Изд. «Пролетарий». Харьков. 1923.

Эту статью смотри также: 1) в Избранных произведениях Чехова, под ред. Львова-Рогачевского. ГИЗ 1928; 2) «А. П. Чехов» — сборник «Никитинские субботники»; 3) «Чехов» — пособие для школ, под ред. Фриче, и в книге Воровского «Литературные очерки». Изд. «Новая Москва» 1923.

Андреевич (Е. Соловьев). Книга о Горьком и Чехове. СПБ. 1900.

Дерман А. Б. Творческий портрет Чехова. Изд-во «Мир». М. 1927.

Соболев Юрий. Чехов. Творческий путь. Чехов-драматург. Как сделана «Попрыгунья». За чтением классиков. Чехов-декадент. Материалы и документы. Чеховиана. Библиография. Изд-во «Федерация» 1930.

А. П. ЧЕХОВ. ХРОНОЛОГИЧЕСКАЯ КАНВА

(Все даты приводятся по старому стилю)

1860 г. 17 января — рождение А. П. Чехова.

1869 Чехов поступает в Таганрогскую классическую гимназию.

1876 Апрель. Переезд П. Е. Чехова в Москву после продажи с аукциона дома. Чехов на три года остается один в Таганроге. Жизнь у Селиванова. Уроки. Занимается с племянником Селиванова, казаком Кравцовым. Летом гостит у него на степном хуторе.

1877 Декабрь. Чехов в первый раз приезжает на короткое время в Москву. Посылает брату Александру анекдоты и остроты для помещения в юмористическом журнале. Писание драмы «Безотцовщина» и водевиля «Недаром курица пела».

1879 Июнь. Окончание гимназии. Август. Переезд А. П. в Москву. Подает прошение на медицинский факультет.

1880 В «Стрекозе» (март) № 10 напечатано первое произведение Чехова — «Письмо к ученому соседу». Начало сотрудничества в «Стрекозе».

1881 Сотрудничество в «Зрителе», «Будильнике», «Стрекозе».

1882 Сотрудничество в «Будильнике», альманахе «Бу-

дильника», в «Мирском толке», «Свет и тени». Знакомство с Лейкиным и начало работы в «Осколках».

1883 Сотрудничество в «Будильнике», «Зрителе», «Осколках», «Природа и охота», «Новости дня». Сверстан сборник «На досуге» с рисунками М. П. Чехова. Напечатано несколько листов этой книги, которая из типографии не вышла, из-за неуплаты расходов по печатанию. Летом у брата Ивана Павловича в Воскресенске.

1884 Сотрудничество в «Будильнике», «Новостях дня» («Драма на охоте») «Развлечении», «Осколках», «Стрекозе». Выход первого сборника «Сказки Мельпомены». Окончание Московского университета. Работа в качестве врача в Чикинской земской больнице в г. Воскресенске и в Звенигородской больнице. Декабрь — первое кровохарканье.

1885 Сотрудничество в «Будильнике», «Новостях дня», в «Петербургской газете». Летом пребывание в Бабкине у Киселевых. Декабрь — первая поездка в Петербург.

1886 Работа в «Будильнике», «Осколках». Первый рассказ за подписью Ан. Чехов — «Панихида» в «Новом времени». Участие в «Петербургской газете», «Сверчке». Выход в свет сборника «Пестрые рассказы». На обложке Антоша Чехонте (А. Чехов). Летом — в Бабкине.

1887 Сотрудничество в «Будильнике», «Осколках», «Новом времени», «Петербургской газете». Март — поездка в Петербург. Апрель-май — поездка на юг и в Таганрог. Лето — в Бабкине. Август — выход сборника «В сумерках». Сентябрь — выход сборника «Невинные речи». Октябрь — работа над «Ивановым». Сборник «В сумерках» послан А. С. Сувориным в Академию на отзыв комиссии по присуждению Пушкинской премии. Знакомство с В. Г. Короленко. 19 ноября первое представление «Иванова» — в театре Корш.

1888 Сотрудничество в «Петербургской газете», «Новом времени», приглашение в «Северный вестник». Март — появление в третьей книге «Северного вестника» повести «Степь». Поездка в Петербург. Июнь — в шестой книге «Северного вестника» помещены «Огни».

Задуман «Леший». Лето в Сумах у Линтваревых. Июль — у Суворина в Крыму. Поездка на Кавказ. Октябрь — присуждение половинной премии имени Пушкина за сборник «В сумерках». Постановка «Медведя» в театре Корш.

1889 В «Новом времени» напечатана «Сказка» (1 января), в «Северном вестнике» (в третьем номере) драма «Иванов». 31 января первое представление «Иванова» в переработанном виде в Александринском театре. Большой и неожиданный успех. Лето на хуторе у Линтваревых. Закончен «Леший». Июль — смерть брата Николая. Поездка в Одессу, Ялту и к А. С. Суворину в Феодосию. Октябрь — Чехов срочно переписывает «Лешего» для постановки в театре Абрамовой (премьера без всякого успеха 27 декабря). В сборнике «Памяти Гаршина» — рассказ «Припадок». В одиннадцатой книге «Северного вестника» — «Скучная история».

1890 Апрель — сборы на Сахалин. Отъезд из Москвы в Нижний-Новгород. Май: Тюмень, Томск, Мариинск, Ачинск, Красноярск. Июнь: Иркутск, Благовещенск. Июль: Николаевск. Поездка по Сибири в очерках «Из Сибири» и «По Сибири» в «Новом времени». 11 июля: Сахалин. Обследование — статистическое и экономическое «каторжного населения», переписанного на особые карточки. Изучение флоры и фауны острова. 13 октября — отплытие из Сахалина. Октябрь-декабрь: Великий, Индийский океаны — Цейлон, Одесса. Рассказ «Гусев» в «Новом времени» в номере от 25 декабря. Под подписью автора — пометка «Коломбо», 12 ноября».

1891 11 марта — отъезд за границу: Вена, Венеция, Флоренция, Рим, Монте-Карло, Париж. В конце апреля — в Москве. Летом дача в имении Богимово, в двенадцати верстах от Алексина. Впечатления Богимова дали: «Дом с мезонином». Здесь начат «Остров Сахалин», написана повесть «Дуэль». В Богимове у Чеховых гостит Суворин.

1892 Участие Чехова в общественной помощи голодающим крестьянам. Закупка лошадей для безлошадных. Поездка по Нижегородской и Воронежской губер-

ниям, охваченным голодом. Покупка усадьбы в Мелихове. В «Северном вестнике», в январской книге — «Жена», в журнале «Север» — «Попрыгунья». В «Русской мысли» — «Палата № 6», в сборнике «Помощь голодающим» — очерк «Беглые на Сахалине». Заведует холерным участком в Мелихове.

1893 Зима в Мелихове. Поездки в Москву и в Петербург. В «Русской мысли» во второй и третьей книгах — «Рассказ неизвестного человека». В «Русской мысли» печатается «Остров Сахалин». Лето в Мелихове. Работа в земстве, забота о народном образовании, попечительство в сельских школах.

1894 Поездка в Крым, ухудшение здоровья, Ялта. Осенью в Южной Европе: Вена, Аббация, Милан, Генуя, Ницца. В журнале «Артист» — «Черный монах», в «Русской мысли» — «Бабье царство», в «Русских ведомостях» — «Скрипка Ротшильда», «Вечером» («Студент»), «Учитель словесности», «В усадьбе» и «Рассказ старшего садовника».

1895 Замысел «Чайки». Поездка в Ясную Поляну к Л. Н. Толстому. В «Русской мысли» — «Три года» (книга первая), «Убийство» (книга вторая), «Ариадна» (книга двенадцатая); в «Русских ведомостях», «Анна на шее», в сборнике «Почин» — «Супруга». Выход отдельным изданием «Острова Сахалина».

1896 Мелихово. Летом гостит у А. С. Суворина в его имении Максатихе близ станции Бологое. Проездом в Ярославле. Летом — второе путешествие на Кавказ. 17 ноября первое представление «Чайки» в Александринском театре. Провал пьесы. Освистанный Чехов уезжает в Мелихово. Участие Чехова в народной переписи. За деятельную работу получил медаль. В «Русской мысли» — «Дом с мезонином» (книга четвертая), «Чайка» (книга двенадцатая), в «Ниве» (№№ 8, 10, 11, 12) — «Моя жизнь».

1897 Мелихово. Постройка школы в селе Новоселки. В марте внезапное кровохаркание — за обедом с Сувориным в Эрмитаже. Чехов помещен в клинику. Констатирована бугорчатка легких. 10 апреля отъезд в Мелихово. Сборы за границу. Чехов — в Биаррице

и в Ницце. В сборнике изд. Суворина «Пьесы» помещен «Дядя Ваня», в «Руссской мысли» (книга четвертая) «Мужики», в «Русских ведомостях» — «Печенег», «В родном углу», «На подводе».

1898 Январь—март. Ницца. В марте — Париж. Процесс Дрейфуса-Золя. Чехов во всех подробностях изучает это дело и заявляет о своем сочувствии Золя. Охлаждение к Суворину, «Новое время» которого занимает непримиримую позицию против Дрейфуса и Золя. Переселение в Ялту. Октябрь — смерть отца Павла Егоровича. Постройка ялтинского дома. 17 декабря первое представление «Чайки», в Художественном театре.

1899 Сотрудничество в «Неделе», «Русской мысли», «Русских ведомостях», «Семье» (здесь напечатана «Душенька»: ее «удивительно читает Л. Н. Толстой»). Январь-апрель — постройка дома в Ялте. Август — продажа Марксу собрания сочинений. 26 октября — первое представление «Дяди Вани» в Художественном театре. Декабрь — появление в «Русской мысли» «Дамы с собачкой».

1900 Участие в журнале «Жизнь». Здесь напечатано «В овраге». Январь — избрание в почетные академики. Апрель — неделя гастролей Художественного театра в Ялте. 11 декабря — отъезд за границу (четвертая поездка). Жизнь в Ницце. Заканчивает «Три сестры».

1901 Январь — Ницца. Февраль — Рим. Возвращение в Ялту. 31 января первое представление «Трех сестер» в Художественном театре (в февральской книге «Русская мысль» пьеса напечатана). Май — поездка в Москву. 25 мая — венчание с О. Л. Книппер. Июнь — поездка с женою на кумыс в Аксеново. Июль — в Ялте. Сентябрь-октябрь — в Москве. Ноябрь-декабрь — в Ялте. Посещения Л. Н. Толстого в Гаспре.

1902 Участие в «Журнале для всех» («Архиерей»). Январь-май — в Ялте. Май — в Москве. Болезнь Ольги Леонардовны Книппер. Июнь — путешествие по Волге и Каме. Июль — в Любимовке, в имении Станиславского, близ станции Тарасовка, Ярославской ж. д.

Август — Ялта. 25 августа заявление о сложении с себя звания почетного академика, в связи с исключением М. Горького.

1903 Январь — Ялта. Заболевание плевритом. Апрель — в Москве. Лето в имении Якунчиковой близ станции Наро-Фоминское под Москвой. Июль — возвращение в Ялту. Начало работы над «Вишневым садом». 12 октября — окончание «Вишневого сада». 11 декабря — избрание временным председателем Общества любителей российской словесности. Поездка в Москву. Редактирование беллетристического отдела «Русской мысли». Сочинения Чехова выходят приложением к «Ниве».

1904 Январь в Москве. 17 января первое представление «Вишневого сада» в Художественном театре. 15 февраля возвращение в Ялту. Май — тяжелая болезнь. Приезд в Москву. Отъезд в Германию. Осмотр профессором Эвальдом. Отъезд в Шварцвальд на курорт Баденвейлер. В ночь на 2 июля смерть. 9 июля — погребение в Москве, в Новодевичьем монастыре.

Оглавление

	стр.
В Таганроге	
Род Чеховых	5
Детские годы Антоши	7
Антоша-лавочник	11
Воспитание	13
Каникулы и развлечения	16
В гимназии	20
Учителя	23
Разорение	30
Юношеский облик	37
Литература и театр	39
С гимназией покончено	44
В восьмидесятые годы	
Студент-медик	47
Эпоха «Антоши Чехонте»	54
«Литературная купель»	58
Воскресенск и Бабкино	65
Этика воспитанности	70
Первая книга	78
Маленькие рассказы	84
«Маленькие рассказы Чехова засверкали, как бриллианты...»	89
Годы перелома	
На родине	97
«Иванов»	100
«Степь» и замыслы романа	105
О «пользе водевиля»	110
Начало болезни	113

Стр.

Чехов-публицист 117
«В Литературе я — Потемкин...» 120
«Припадок» и «Скучная история» 124
«Я хотел бы быть свободным художником...» . . 129
Суворинская отрава 137
За Суворина и против «Нового времени» . . . 147
Фосфор и железо 155
На Сахалине 158
За границей 167
«Хоть кусочек общественной жизни...» 172

Зрелость

Помещик 177
Санитарный врач, строитель школ, гласный земства 183
Мир с либералами 190
В работе над «Чайкой» 197
Лика 203
«Нина Заречная» 211
«Чайка» освистана 214
В палате № 16 217
Дрейфус — Золя, Чехов — Суворин 219

Предсмертный Чехов

Перед открытием Художественного театра . . . 224
Второе рождение «Чайки» 228
Вечный автор Художественного театра . . . 231
Драматургия настроения 237
Продажа Марксу «права собственности» . . . 242
Рост общественного и политического сознания. . 245
Чехов и Горький 249
Почетный академик 254
О. Л. Книппер — А. П. Чехов 258
Л. Н. Толстой 262
«Академический инцидент» 268
Последние годы 271

Чехов — писатель

Язык 286
Импрессионизм 289
Писательский метод 295
Чехов в современности 302
Примечания 313
Библиография и источники 323
А. П. Чехов. Хронологическая канва 329